

Элизабет Вернер

Роковые огни



Элизабет Вернер

Роковые огни

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7758386

Аннотация

«Однажды серым, туманным осенним утром стая перелетных птиц улетала в теплые края. Как будто прощаясь с родными местами, она еще раз опустилась на вершины соснового леса, затем поднялась высоко в небо, повернула к югу и медленно скрылась в дали, затянутой туманом...»

Содержание

1	5
2	15
3	33
4	39
5	52
6	66
7	83
8	108
9	130
10	151
11	171
12	190
13	208
14	236
15	246
16	255
17	267
18	277
19	295
20	311
21	324
22	341
23	351

24	363
25	372
26	381
27	397
28	409
29	414
30	420
31	431

Элизабет Вернер

Роковые огни

1

Однажды серым, туманным осенним утром стая перелетных птиц улетала в теплые края. Как будто прощаясь с родными местами, она еще раз опустилась на вершины соснового леса, затем поднялась высоко в небо, повернула к югу и медленно скрылась в дали, затянутой туманом.

За ее полетом мрачно следил мужчина, стоявший вместе с другим господином у окна величественного, похожего на замок здания на опушке леса. Это был высокий коренастый человек с выразительными чертами лица, белокурыми волосами и голубыми глазами; но точно какая-то тень омрачала его лицо, а высокий лоб был изрезан гораздо более глубокими морщинами, чем это обычно бывает у людей его возраста. Он был в мундире, но и без этого, по одной его манере держаться, в нем можно было сразу узнать военного.

– Вот уже и птицы улетают, – сказал он, указывая на вереницу птиц. – Осень наступает и в природе, и в нашей жизни.

– Ну, в твоей еще нет, – возразил его собеседник. – Ты еще только на середине жизненного пути, в самом расцвете сил.

– По годам – да, но мне кажется, что я состарюсь гораздо

раньше других. Я частенько чувствую себя совершенно по-осеннему.

Другой господин (в штатском, среднего роста и тщедушный), по-видимому, немного постарше военного, недовольно покачал головой. Рядом с сильной фигурой соседа он казался почти незаметным, но его бледное лицо с резкими чертами выражало холодный расчет и спокойствие, а саркастически сжатые тонкие губы заставляли предполагать, что за его аристократической сдержанностью скрывается и еще кое-что, достойное внимания.

– Ты слишком серьезно относишься к жизни, Фалькенрид, – сказал он с неодобрением в голосе. – И вообще ты странно переменялся в последние годы. Никто из видевших тебя в былые времена молодым, жизнерадостным офицером не узнал бы тебя теперь. И отчего, скажи на милость! Тень, омрачившая когда-то твою жизнь, давно исчезла; ты – солдат и телом, и душой, тебя отмечают при каждом удобном случае, в будущем ты можешь рассчитывать на солидный пост и, что главное, ведь сын остался с тобой.

Фалькенрид ничего не ответил; скрестив руки, он продолжал смотреть вдаль. Его собеседник продолжал:

– За последние годы мальчик стал просто красавцем; я был поражен, когда увидел его. К тому же ты сам говоришь, что у него необыкновенные способности, а в некоторых отношениях он почти гениален.

– Я предпочел бы, чтобы у Гартмута было меньше способ-

ностей, зато больше характера, – сказал Фалькенрид почти жестким тоном. – Писать стихи, изучать языки – это ему семечки, но что касается серьезных наук, он оказывается позади всех, а в стратегии буквально ничего не смыслит. Ты не можешь себе представить, Вальмоден, к какой строгости мне постоянно приходится прибегать.

– Боюсь только, что ты немногого добьешься этой строгостью. Разумнее было бы последовать моему совету и отправить его в университет; для военной службы он не годится, ты же сам это видишь.

– Он должен годиться! Это единственно возможное поприще для такой своевольной натуры, которая не признает никаких авторитетов и любую обязанность воспринимает как притеснение. Университет и студенческая жизнь приведут Гартмута к полной распушенности; сдержать его может только железная дисциплина, которой он волей-неволей должен будет подчиняться на службе.

– Пока – да, но долго ли она будет в состоянии сдерживать его? Не обманывай себя на этот счет. К сожалению, это наследственные задатки, которые можно подавить, но не искоренить. Гартмут и внешне – точный портрет матери: у него ее черты, ее глаза.

– Да, – угрюмо проговорил Фалькенрид, – ее темные, демонические, огненные глаза, которым все покорялось.

– И которые были твоей погибелью, – прибавил Вальмоден. – Как я предостерегал тебя тогда, как уговаривал, но ты

ничего знать не хотел; эта страсть охватила тебя, как горячка; я никогда не мог этого понять.

– Верю! Ты, холодный, расчетливый дипломат, тщательно взвешивающий каждый свой шаг, застрахован от таких чар.

– Твой брак с самого начала носил в себе зародыш несчастья. Эта женщина – иностранка, чужой нам крови, дикая, страстная славянская натура, бесхарактерная, лишенная всякого понятия о том, что у нас называется долгом и нравственностью, и ты со своими стойкими принципами, со своим тонко развитым чувством чести... мог ли привести к иному концу подобный брак? И тем не менее, мне кажется, ты все-таки продолжал любить ее до самого развода.

– Нет! Очарование исчезло в первый же год. Я все видел, но меня пугала мысль, что, решившись на развод, я выставлю напоказ свои домашние неурядицы, и я терпел до тех пор, пока у меня уже не оставалось выбора, пока... Но довольно об этом!

Он порывисто отвернулся и снова стал смотреть в окно; в его резко оборвавшейся речи слышалась с трудом сдерживаемая мука.

– Да, нужно было хорошо постараться, чтобы выбить из колеи натуру, подобную твоей, – серьезно заметил Вальмоден. – Но ведь развод освободил тебя от этих цепей, а с ними тебе следовало бы похоронить и воспоминание о них.

– Таких воспоминаний не похоронишь. Они постоянно воскресают в моей памяти, и именно теперь... – тут Фаль-

кенрид вдруг замолчал.

– Именно теперь? Что ты хочешь этим сказать?

– Ничего. Поговорим о чем-нибудь другом. Итак, ты третий день в Бургсдорфе? Ты надолго здесь?

– Недели на две. У меня в распоряжении очень мало времени, и ведь, собственно говоря, я только формально опекун Виллибальда, так как дипломатическая работа заставляет меня жить большей частью за границей. Фактически опека находится в руках сестры, она всем заправляет.

– Регине эта обязанность вполне по плечу, – согласился Фалькенрид. – Она управляется с громадным именем и многочисленными рабочими, как мужчина.

– И командует с утра до вечера, как вахмистр, – добавил Вальмоден. – Я признаю все ее прекрасные качества, но чувствую, как у меня волосы встают дыбом каждый раз, когда заходит речь о моем визите в Бургсдорф, а возвращаюсь я оттуда всегда с расстроенными нервами. Там царит еще первобытный образ жизни. А Виллибальд – настоящий молодой медведь; при этом он, разумеется, олицетворяет собой идеал матери, которая делает все от нее зависящее, чтобы воспитать из него деревенского дворянчика. Тут никакие уговоры не помогают. Да, впрочем, и у него самого для этого есть все задатки.

Разговор был прерван приходом лакея, который подал визитную карточку. Фалькенрид взглянул на нее.

– Адвокат Эгерн? Хорошо, просите!

– У тебя дела? – спросил Вальмоден вставая. – В таком случае я не стану мешать.

– Напротив, я попрошу тебя остаться. Меня заранее предупредили об этом визите, и мне известна его цель: речь идет о...

Он не договорил, потому что дверь открылась, и вошел господин, о котором было доложено. Он был явно удивлен, что застал Фалькенрида не одного, как, вероятно, ожидал, но последний не обратил на это никакого внимания.

– Господин Эгерн – секретарь посольства фон Вальмоден, – представил он их друг другу.

Юрист с холодной вежливостью поклонился и занял предложенное место.

– Я уже имел честь встречаться с вами, господин майор, – заговорил он. – Как адвокат вашей супруги в бракоразводном процессе я имел удовольствие лично видеться с вами.

Он остановился и, казалось, ждал ответа, но майор Фалькенрид только молча утвердительно наклонил голову. Вальмоден вдруг стал очень внимателен; теперь ему стало понятно странное раздражение друга.

– И сегодня я представляю интересы своей бывшей клиентки, – продолжал адвокат. – Она поручила мне... Я могу говорить не стесняясь? – и он многозначительно посмотрел на Вальмодена, но майор коротко ответил:

– Господин фон Вальмоден – мой друг и посвящен в дело. Прошу вас не стесняться.

– Итак, моя клиентка после многих лет отсутствия вернулась в Германию и, разумеется, желает видеться с сыном. Она уже обращалась к вам по этому поводу письменно, но не получила ответа.

– Я полагал, что молчание было достаточно красноречивым ответом. Я не желаю этого свидания и не допущу его.

– Весьма резкий ответ! Во всяком случае госпожа фон Фалькенрид...

– Вы хотите сказать – госпожа Салика Роянова? – перебил его майор. – Насколько мне известно, вернувшись на родину, она снова взяла свою девичью фамилию.

– Не в этом дело. Речь идет только, о законном желании матери, в котором отец не может и не должен ей отказывать, даже если закон безоговорочно отдал ему сына.

– Не должен? А если я все-таки откажу?

– То вы превысите свои права. Но я попросил бы вас спокойно обсудить дело, прежде чем так решительно отказывать. Никакой приговор суда не в силах до такой степени лишить прав матери, чтобы ей можно было отказать даже в свидании с единственным ребенком. В данном случае закон на стороне моей клиентки, и она обратится к нему, если мое требование будет отвергнуто.

– Пусть попробует, я готов и на это. Мой сын не знает, что его мать жива, и пока не должен знать этого. Я не хочу, чтобы он виделся и говорил с ней, и сумею помешать этому свиданию. Я не изменю своего решения ни при каких обсто-

ятельстввах.

Это было произнесено тоном, не терпящим возражений; лицо Фалькенрида покрылось сероватой бледностью, а голос звучал глухо и грозно. Адвокат понял, что дальнейшие старания будут бесполезны, и пожал плечами.

– Если это ваше последнее слово, то моя миссия окончена, и нам остается принять свои меры. Весьма сожалею, что побеспокоил вас.

Он раскланялся с такой же холодной вежливостью, как и в начале визита.

Едва за ним закрылась дверь, Фалькенрид вскочил и возбужденно зашагал взад и вперед по комнате. Несколько минут в комнате царило тягостное молчание; наконец Вальмоден проговорил вполголоса:

– Этого не следовало делать! Салика едва ли согласится с твоим отказом; она и тогда упорно боролась за ребенка.

– Но я остался победителем; надеюсь, она этого не забыла.

– Тогда речь шла о том, кому достанется мальчик, – возразил Вальмоден, – теперь же мать просит только свидания, и ты не можешь воспрепятствовать ей, если она решительно потребует этого.

Майор резко остановился, и в его голосе послышалось нескрываемое презрение.

– После того, что было, она не посмеет требовать. Салика хорошо узнала меня еще тогда, когда мы разводились. Она побоится вторично доводить меня до крайности.

– Но она может попытаться тайком достичь того, в чем ты ей отказываешь.

– Это невозможно; дисциплина в нашем заведении слишком строга, и она не сможет ничего сделать, о чем бы я сразу же не узнал.

Вальмоден с сомнением покачал головой.

– Я считаю ошибкой с твоей стороны упорно скрывать от сына, что его мать жива. Что будет, если он узнает это от посторонних? И когда-нибудь да придется же ему сказать об этом.

– Может быть, через два года, когда он самостоятельно вступит в жизнь. Теперь он еще школьник, почти ребенок, я не могу рассказать ему о драме, когда-то разыгравшейся в отцовском доме.

– Так будь, по крайней мере, начеку. Ты знаешь свою бывшую жену и чего можно от нее ждать. Боюсь, что для этой женщины нет ничего невозможного.

– Да, я знаю ее, – с горечью сказал Фалькенрид, – и именно поэтому хочу оградить от нее своего сына. Он не должен дышать воздухом, отравленным ее присутствием. Я осознаю опасность, которая грозит нам с возвращением Салики, но, пока Гартмут возле меня, бояться нечего, потому что ко мне она не приблизится, даю тебе слово!

– Будем надеяться, – ответил Вальмоден, вставая и протягивая на прощанье руку. – Но не забывай, что наибольшая опасность кроется в самом Гартмуте; он до последней кле-

точки сын своей матери. Я слышал, послезавтра ты собираешься с ним в Бургсдорф?

– Да, он всегда проводит осенние каникулы у Виллибальда. Сам я, вероятно, пробуду там только один день, но в любом случае мы приедем вместе.

Вальмоден ушел, а Фалькенрид снова остановился у окна; его взгляд по-прежнему мрачно устремился на серые облака тумана.

«Сын своей матери»! Эти слова все еще раздавались в его ушах, но ему не было надобности слышать их от кого-то; он сам давно знал это; и именно от этих мыслей образовались такие глубокие морщины на его лбу и он так тяжело вздыхал. Он был из тех людей, которые смело встречают опасность, и уже много лет со всей своей энергией боролся с этим злополучным наследством в крови своего единственного ребенка, и боролся напрасно.

2

– А теперь серьезно прошу вас прекратить подобные бесчинства, потому что мое терпение, наконец, лопнуло! За последние три дня в Бургсдорфе все перевернулось вверх дном, будто все с ума сошли. Гартмут от макушки до пяток начинен шалостями, и как только срывается с узды, которую его папаша, по правде говоря, натягивает довольно туго, с ним нет никакого сладу, а ты, как дурак, всюду слепо следуешь за ним и послушно исполняешь все, что взбредет на ум твоему господину и повелителю. Славная парочка, нечего сказать!

Этот монолог весьма громким голосом произносила госпожа фон Эшенгаген, владелица Бургсдорфа, сидя за завтраком с сыном и братом. Большая столовая, расположенная на нижнем этаже старинного помещичьего дома, представляла простую, без всякого убранства комнату, из которой стеклянные двери вели на широкую каменную террасу, а оттуда в сад. Дюжина стульев с высокими спинками чинно, точно гранадеры, вытянулись в ряд вдоль стен; тяжелый обеденный стол и два старомодных буфета дополняли обстановку, очевидно, служившую уже многим поколениям. Предметов роскоши, вроде обоев, ковров и картин, не было; здесь довольствовались тем, что получали в наследство от предков, хотя Бургсдорф принадлежал к числу богатейших имений стра-

ны.

Внешность владелицы имения вполне соответствовала этой обстановке. Это была женщина лет сорока, высокая, крепкого телосложения, с ярким цветом лица и грубыми, полными энергии чертами. От ее зорких серых глаз ничто не ускользало. Темные волосы она гладко зачесывала назад, платье было простым, а руки, очевидно, умели делать всякую работу. В ее манерах и походке было что-то мужское.

Наследник и будущий владелец майората, которого так отчитывали, сидел против матери и слушал с должным вниманием, в то же время уплетая внушительную порцию ветчины и яиц. Это был симпатичный юноша лет семнадцати. Его внешность не говорила о присутствии в нем выдающегося ума, но зато дышала добродушием; на загорелом лице цвел здоровый румянец, в остальном же он мало походил на мать; Ему недоставало ее энергии, и даже голубые глаза и белокурые волосы были унаследованы, вероятно, от отца. Своей неловкой фигурой он напоминал молодого гунна и был полной противоположностью тщедушной, но аристократической внешности своего дяди Вальмодена, который сидел рядом с ним и говорил с легким оттенком насмешки в голосе:

– Ты поступаешь несправедливо, отчитывая Виллибальда за все эти шалости и проказы; он может служить образцом благовоспитанного сына.

– И я не советовала бы ему пробовать вести себя по-дру-

гому, у меня держи ухо востро! – воскликнула фон Эшенгаген, выразительно стукнув кулаком по столу.

– Без сомнения, ты заставишь уважать дисциплину, – ответил ей брат. – Но я посоветовал бы тебе, милая Регина, сделать еще что-нибудь для умственного развития сына. Я не сомневаюсь, что под твоим руководством из него выйдет превосходный землевладелец, но будущему хозяину имения нужно и еще кое-что, а домашних учителей Виллибальд уже перерос; пора послать его куда-нибудь на учебу.

– Ото... – Регина в безмерном удивлении положила на стол вилку и нож. – Отослать из дома? Куда же, черт возьми?

– Ну, сначала в университет, потом попутешествовать, чтобы посмотреть свет и людей.

– И чтобы он вконец испортился в этом свете и между этими людьми! Нет, Герберт, этому не бывать, заранее говорю тебе! Я воспитала своего мальчика в страхе Божиим и не намерена отпускать его в этот Содом и Гоморру, которые Господь Бог щадит только по Своему долготерпению, хотя они уже сто раз заслужили, чтобы Он послал на них серный дождь.

– Но ведь ты только понаслышке знаешь этот Содом и Гоморру, – саркастически заметил Герберт Вальмоден. – Со времени замужества ты безвыездно жила в Бургсдорфе; ведь твоему сыну придется когда-нибудь вступить в жизнь как мужчине; ты сама должна это понимать.

– Ничего я не понимаю! – упрямо заявила фон Эшенга-

ген. – Из Вилли должен выйти хороший помещик; для этого он и так грамотный, и ему вовсе не нужен твой ученый хлам. Или, может быть, ты хочешь взять его к себе и сделать из него дипломата? Вот была бы штука!

Она во все горло захохотала, и Вилли присоединился к ней. Вальмодену это шумное проявление веселья сильно подействовало на нервы, и он только пожал плечами.

– Такого намерения у меня и в мыслях нет; стараться сделать из него дипломата было бы напрасным трудом. Но я и Виллибальд – единственные представители нашего рода, и, если я останусь холостяком...

– «Если»? Уж не думаешь ли ты жениться на старости лет? – перебила его сестра.

– Мне сорок пять лет; у мужчин это еще не считается старостью, – несколько смущенно возразил Вальмоден. – Я вообще сторонник поздних браков; в этом случае обе стороны руководствуются рассудком, а не страстью, как это сделал, к несчастью, Фалькенрид.

– Господи, спаси и помилуй! Эдак, пожалуй и Вилли следует тянуть с женитьбой до тех пор, пока ему будет пятьдесят лет, и волосы станут седыми?

– Нет, потому что на него, как на единственного сына и наследника майората, возложены определенные обязательства. Впрочем, это зависит от него. Ты какого мнения на этот счет, Виллибальд?

Тем временем юноша управился с ветчиной и яйцами и

принялся за колбасу. Он был, очевидно, крайне удивлен тем, что спрашивают его мнения; обычно этого никогда не было, а потому, подумав, он ответил:

– Да, мне, конечно, придется когда-нибудь жениться, но когда понадобится, жену мне найдет мама.

– Разумеется, найдет, мой мальчик! – согласилась фон Эшенгаген. – А до тех пор ты останешься в Бургсдорфе, у меня на глазах. Об университете да путешествиях и болтать нечего!

Она бросила на брата вызывающий взгляд, но тот в это время с ужасом смотрел на огромную порцию колбасы, которую его племянник уже второй раз клал себе на тарелку.

– У тебя всегда такой завидный аппетит, Вилли? – спросил он.

– Всегда, – самодовольно успокоил его Вилли.

– Да, мы здесь, слава Богу, еще не страдаем несварением желудка, – несколько язвительно заметила Регина. – Мы честно зарабатываем свой хлеб; сначала молимся и работаем, а потом уже едим и пьем, но зато основательно, и это поддерживает равновесие тела и души. Взгляни-ка на Вилли, как он славно выглядит! Я думаю, ему не стыдно выйти на люди.

Она по-товарищески ударила брата по плечу, но это выражение дружеских чувств было столь бесцеремонным, что Вальмоден поспешно отодвинул свой стул от сестры. Что касается Вилли, то он, очевидно, также считал себя необычно-

венно славным и с весьма довольным видом принял похвалу матери, которая между тем сердито продолжала:

– А Гартмут опять не пришел к завтраку! Он, кажется, нарочно нарушает порядок, но я серьезно поговорю с ним, когда он соизволит явиться, и объясню ему...

– Он здесь! – послышался голос из сада, а вслед за тем на освещенном солнцем полу обрисовалась тень, и в окне внезапно появился высокий, стройный юноша, вспрыгнувший из сада на подоконник.

– Да ты с ума спятил, что ли, что лезешь через окно? – возмутилась фон Эшенгаген. – Для чего же существуют двери?

– Для Вилли и прочих благовоспитанных людей! Я всегда иду кратчайшей дорогой, а на этот раз она пролегла через окно.

С этими словами Гартмут Фалькенрид одним прыжком соскочил с довольно высокого подоконника в комнату.

Он находился в том возрасте, который называют переходным, но достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться, что он во всех отношениях опередил своего ровесника Виллибальда. На нем ловко сидел кадетский мундир, и тем не менее в его фигуре было что-то, не гармонировавшее со строгой военной формой. Стройный, высокий, он был олицетворением юности и красоты, но в этой красоте было что-то чужеземное, в движениях и во всей внешности – что-то дикое, необузданное. Ни одна черта в нем не напоминала мо-

гучей фигуры отца и его серьезного спокойствия. На большой лоб падали густые вьющиеся волосы; их иссиня-черный цвет и смуглый оттенок кожи делали его похожим скорее на дитя юга, чем на уроженца Германии. Глаза у него были загадочные, темные как ночь, и в то же время полные горячего, страстного огня; как ни хороши они были, в них таилось что-то странное, производившее почти неприятное впечатление, а смех хотя и звучал очень весело, но не был беззаботным, чистосердечным смехом ребенка.

– Нельзя сказать, чтобы ты вел себя особенно этично, – резко заметил Вальмоден. – Ты, кажется, пользуешься тем, что в Бургсдорфе не заботятся об этикете, но я не думаю, чтобы отец позволил тебе так появиться в столовой.

– Да при нем он и не осмелится ни на что подобное, – добавила Регина. – Итак, ты наконец явился, Гартмут; но мы уже окончили завтракать. А ведь тот, кто опаздывает, ничего и не получает; ты это знаешь?

– Знаю, – беззаботно возразил Гартмут. – Потому-то я и попросил себе завтрак у ключницы. Тебе не удастся уморить меня голодом, тетя Регина, я в очень хороших отношениях с твоими слугами.

– Вот как! А потому ты думаешь, что можешь безнаказанно позволять себе все? – гневно крикнула хозяйка. – Нарушать заведенный в доме порядок, не давать покоя никому и ничему, переворачивать вверх дном весь Бургсдорф! Но мы положим этому конец! Завтра же я пошлю человека к твоему

отцу и попрошу его забрать своего сына, которого невозможно заставить быть аккуратным и послушным.

Угроза подействовала. Своевольный мальчик испугался и решил уступить.

– Ведь все это – только шалости! Неужели же я не могу воспользоваться своими непродолжительными каникулами...

– Для того, чтобы проделывать всякие глупости? – перебила его тетка. – Вилли за всю свою жизнь не натворил столько, сколько ты за эти три дня. В конце концов ты своим дурным примером испортишь мне его и научишь непокорности.

– О, Вилли невозможно испортить, все мои усилия напрасны, – откровенно признался Гартмут.

Действительно, молодой наследник майората совсем не был склонен к баловству; он спокойно кончал завтрак и, доев очередной бутерброд, принялся за новый. Но его мать замечание Гартмута вывело из себя.

– А тебе, кажется, очень жаль, что это так? – крикнула она. – Разумеется, ты в этом не виноват, ты достаточно старался испортить Вилли! Итак, решено, завтра же пишу – твоему отцу!..

– Чтобы он меня забрал? Ты не сделаешь этого, тетя Регина, ты слишком добра. Ты знаешь, как строг папа, как сурово он наказывает; ты не пожалуешься на меня, ты никогда этого не делала.

– Отвяжись от меня со своей проклятой манерой ластить-

ся!

Лицо у Регины было еще очень сердитое, но в голосе слышалось колебание, и Гартмут сумел этим воспользоваться. Он с непринужденностью ребенка обнял ее за шею.

– Я думал, что ты хоть немножко любишь меня, тетя Регина, а я... я задолго до каникул предвкушал удовольствие побывать в Бургсдорфе! Я чуть не заболел от тоски по лесу, озеру, по зеленым лугам, по простору голубого неба. Я был так счастлив здесь... но, конечно, если ты хочешь, я сейчас же уеду.

Его голос понизился до мягкого, ласкающего шепота, а большие темные глаза говорили еще красноречивее слов; они умели просить и, казалось, действительно обладали особенной силой; фон Эшенгаген, непреклонная повелительница Вилли и всего Бургсдорфа, пошла на уступку.

– Ну, так постарайся исправиться, проказник! – сказала она. – Что же касается того, чтобы я тебя удалила отсюда, то... к сожалению, ты слишком хорошо знаешь, что в тебя все влюблены – и Вилли, и прислуга, и я в придачу!

Гартмут громко вскрикнул от радости и в приливе благодарности поцеловал Регине руку. Потом он повернулся к товарищу, который, одолев последний бутерброд, в немом изумлении следил за происходившей сценой.

– Кончишь ли ты когда-нибудь завтракать, Вилли? Идем на пруд! Да не будь же ты таким несносным мямлей! До свиданья, тетя Регина! Я вижу, дяде Вальмодену не по вкусу то,

что ты смилостивилась надо мной. Ура! В лес! – и Гартмут, как буря, вылетел на террасу, а оттуда в сад.

В этой необузданности чувствовался такой избыток молодых сил и жизнерадостности, что она производила чарующее впечатление. Юноша был весь как живчик. Вилли затрусил за ним рысцой, словно молодой медведь, и они скрылись за деревьями.

– Точно вихрь! – сказала Регина, глядя им вслед. – Налетел, и уже нет его! Гартмута ничем не удержишь, раз он сорвался с узды.

– Опасный малый! – заметил Вальмоден. – Он умеет покорять даже тебя, а ты обычно крепко держишь бразды правления. На моей памяти ты впервые прощаешь непослушание и неаккуратность.

– В Гартмуте есть что-то особенное, он просто околдовывает человека. Когда он смотрит так своими черными, огненными глазами и при этом просит и ластится – желала бы я видеть человека, у которого хватило бы духу отказать ему. Ты прав, это опасный юноша.

– Да, но оставим Гартмута, речь идет о воспитании твоего сына. Ты, действительно, решила...

– Оставить его дома. Не трудись, Герберт; может быть, ты и величайший из дипломатов и всю политику держишь в кармане, но своего мальчика я тебе не отдам. Он принадлежит мне одной, а потому останется при мне – и баста!

Это «баста» скрепилось сильным ударом по столу. Затем

повелительница Бургсдорфа встала и направилась к двери, а брат пробормотал вполголоса:

– Ну, так пусть остается деревенщиной! Пожалуй, оно и лучше.

Тем временем Гартмут и Виллибальд были уже в лесу, принадлежавшем имению, и направлялись к пруду, ярко освещенному солнцем. Молодой наследник майората, выбрав себе тенистое местечко на берегу, стал удить рыбу, а непоседа Гартмут рыскал вокруг, то вспугивая птиц, то собирая цветы и ломая тростник. Наконец он принялся выделывать фортели у ствола дерева, стоявшего чуть ли не до половины в воде.

– Неужели ты не можешь и минуту спокойно посидеть на месте? Ты разгоняешь мне рыб! – с недовольством сказал Вилли. – Я еще ничего не поймал.

– Как тебе не надоедает часами сидеть на одном месте и подстергать глупых рыб! Впрочем, ты можешь круглый год бродить по лесу и по полям куда вздумается; ты свободен! Свободен!

– А ты в плену, что ли? Вы ведь с товарищами каждый день гуляете.

– Но никогда не остаемся одни, без надзора и понуканий. Мы вечно на службе, даже в часы отдыха. О, как я ненавижу эту службу, проклятую жизнь раба!

– Если бы это слышал твой отец, Гартмут!

– Он, как всегда, наказал бы меня. У него ведь для меня

нет ничего, кроме строгости и наказаний. Хотя мне все равно, я уже привык! – и Гартмут во весь рост растянулся на траве.

Как ни жестко и легкомысленно звучали его слова, в них слышалась дрожащая нотка страстной, горькой жалобы. Виллибальд только задумчиво покачал голове и, насаживая на крючок червяка.

Вдруг что-то темное быстро, как молния, упало с высоты; неподвижная вода пруда всколыхнулась и заплескалась, и в следующее мгновение в воздух плавно поднялась цапля с трепещущей серебряной рыбкой в клюве.

– Bravo! Вот так меткость! – крикнул Гартмут вскакивая, Вилли же сердито заворчал:

– Проклятый разбойник опустошил весь наш пруд! Вот я скажу лесничему, пусть подстережет его.

– Разбойник? – повторил Гартмут, следя глазами за цаплей, которая уже исчезала за вершинами деревьев. – Да, конечно, разбойник, но как хороша должна быть такая разбойничья жизнь там, высоко в небе! Как молния, броситься с облаков, схватить добычу и улететь с ней туда, где тебя никто не достанет, – вот это охота! Игра стоит свеч.

– Гартмут, мне, право, кажется, что ты завидуешь такой разбойничьей жизни, – сказал Вилли с негодованием благовоспитанного мальчика.

– Если бы это и было так, то кадетский корпус давно вырвал бы все с корнем! У нас ведь послушание и дисципли-

на – альфа и омега всего воспитания, так что в конце концов этому непременно научишься. Вилли, тебе никогда не хотелось иметь крылья?

– Мне? Крылья? – переспросил Вилли. – Какие глупости! Кому же придет в голову желать невозможного?

– А мне хотелось бы их иметь! – с увлечением воскликнул Гартмут. – Мне хотелось бы быть соколом, от которого происходит наша фамилия. Я поднялся бы высоко-высоко в небо, летел бы все выше и выше, навстречу солнцу, и никогда не вернулся бы на землю!

– По-моему, ты спятил, – равнодушно произнес Вилли-бальд. – Опять ничего не поймал! Рыба не клюет сегодня, беда, да и только. Надо попробовать на другом месте.

С этими словами он собрал свои рыболовные снасти и пошел на другую сторону пруда, а Гартмут снова растянулся на земле.

Был один из тех немногих осенних дней, когда в короткие полуденные часы кажется, будто возвратилась весна. Лучи солнца были золотые, воздух – мягкий, лес – свежий и душистый; тысячи сверкающих искр, точно алмазы, дрожали на светлой поверхности маленького пруда, тихо и таинственно шелестел тростник.

Гартмут неподвижно лежал на земле и, казалось, прислушивался к этому шелесту и шепоту ветра. Исчезли дикая страстность и огонь, почти жутко пылавший в его глазах, когда он говорил о хищной птице; теперь эти глаза были меч-

тательно устремлены в лучистую синеву неба, и в них выражалась глубокая тоска.

Вдруг послышались легкие шаги, и в кустах раздался шорох, подобный шелесту шелкового платья, задевающего ветви; кусты раздвинулись, из них бесшумно выскользнула женская фигура и остановилась, не сводя глаз с молодого мечтателя.

– Гартмут!

Юноша вздрогнул и быстро вскочил на ноги. Он не знал ни этого голоса, ни этой женщины, но перед ним была дама, и он рыцарски-вежливо поклонился.

– Сударыня?..

Тонкая, дрожащая рука быстро опустилась на его руку, как бы приказывая молчать.

– Тише! Не так громко! Твой товарищ может услышать, а мне надо поговорить с тобой, Гартмут!

Незнакомка отступила назад и жестом пригласила юношу следовать за ней. Одно мгновение Гартмут колебался. Каким образом эта незнакомка под густой вуалью очутилась здесь? И что означало это «ты» в устах особы, которую он видел впервые? Однако таинственность этой встречи подстрекнула любопытство Гартмута, и он пошел за дамой.

Они остановились в чаще, где кусты закрывали их со всех сторон; незнакомка медленно откинула вуаль. Она была уже не очень молода, лет тридцати с лишним, но ее лицо с темными, жгучими глазами обладало своеобразным очарованием,

и то же очарование было в ее глубоком, мягком голосе. По-немецки она говорила бегло, но с иностранным акцентом.

– Гартмут, взгляни на меня! Неужели ты в самом деле не помнишь меня? У тебя не сохранилось ни малейших воспоминаний из времен детства, которые подсказали бы тебе, кто я?

Юноша медленно отрицательно покачал головой, но в нем вдруг проснулось какое-то воспоминание, смутное, неуловимое – ему показалось, что он не впервые слышит этот голос, видит это лицо, что он видел его когда-то давно-давно. Растерянный, но точно очарованный, смотрел он на незнакомку; вдруг она протянула к нему обе руки.

– Сыночек мой, мое единственное дитя! Неужели ты не узнаешь своей матери?

Гартмут вздрогнул и отступил.

– Моя мать умерла! – произнес он вполголоса.

Незнакомка горько засмеялась. Странно, ее смех звучал совершенно так же, как тот жесткий смех, который недавно срывался с губ Гартмута.

– Вот как! Меня объявили умершей! Тебе не хотели оставлять даже воспоминания о матери! Это неправда, Гартмут; я жива, я стою перед тобой. Посмотри на меня, посмотри на мои черты, ведь это – твои черты. Дитя мое, неужели ты не чувствуешь, что ты мой?

Гартмут все еще стоял не двигаясь и смотрел на это лицо, в котором, как в зеркале, видел собственные черты. У дамы

были те же густые иссиня-черные волосы, те же большие, как ночь, темные глаза; да, даже странное демоническое выражение, горевшее пламенем во взгляде матери, уже тлело, как искра, в глазах сына. Это сходство говорило о кровном родстве и в душе юноши проснулся голос крови. Он не потребовал ни объяснений, ни доказательств; смутное, неуловимое воспоминание детства вдруг прояснилось, и после короткого колебания он бросился в объятия, раскрывавшиеся ему навстречу.

– Мама!

В этом восклицании выразилась вся пылкая нежность мальчика, который никогда не знал материнской любви, но тем не менее тосковал по ней со всей страстностью своей натуры. Мать! Он был в ее объятиях, она осыпала его горячими ласками, сладкими, нежными именами, которых он никогда еще не слышал. Все прочее исчезло для него в потоке бурного восторга.

Прошло несколько минут; Гартмут высвободился из рук, все еще обнимавших его.

– Почему же ты никогда не приезжала ко мне, мама? – напряженно спросил он. – Почему мне сказали, что ты умерла?

Салика отступила на несколько шагов. В ее глазах вспыхнула дикая ненависть. Она почти прошипела в ответ:

– Потому что твой отец ненавидит меня, потому что он не хотел оставить мне даже любовь моего единственного ребенка, когда оттолкнул меня от себя!

Гартмут молчал ошеломленный. Правда, он знал, что в присутствии отца нельзя произносить имя матери, потому что тот строго и резко остановил его, когда юноша осмелился однажды обратиться к нему с расспросами о ней; но он был еще настолько ребенком, что не раздумывал над причиной этого.

Салика и теперь не дала ему времени на размышления. Она откинула густые волосы с его высокого лба, и по ее лицу пробежала тень.

– У тебя его лоб! – медленно сказала она. – Но это – единственное, чем ты напоминаешь его; все остальное мое, только мое. Каждая черточка доказывает, что ты мой; я так и знала!

Она снова сжала сына в объятиях, нашептывая слова нежности, на которые Гартмут отвечал так же страстно. Он был как в чаду от счастья; это было как в чудной сказке, которой он так часто грезил, и он, ни о чем не спрашивая, ни о чем не раздумывая, поддался очарованию.

Вдруг на противоположном берегу пруда показался Вилли; он громко звал товарища, напоминая ему, что пора домой. Салика вздрогнула.

– Мы должны расстаться! Пусть никто не знает, что я виделась и говорила с тобой, особенно же твой отец! Когда ты вернешься к нему?

– Через неделю.

– Только через неделю? О, до тех пор мы будем видеться

каждый день. Завтра, в этот же час, будь здесь, у пруда, а от товарища избавься под каким-нибудь предлогом, чтобы он не мешал нам. Ты ведь придешь, Гартмут?

– Конечно, мама, но...

– Главное, никому не говори, ни одной душе! Не забывай этого! Прощай, дитя мое, мой единственный, любимый сын! До свидания!

Салика еще раз пылко поцеловала Гартмута в лоб и снова нырнула в кусты так же беззвучно, как и пришла. Она ушла как раз вовремя, потому что тут же появился Вилли.

– Почему ты не отвечаешь? – спросил он. – Я звал три раза. Уж не спал ли ты? У тебя такой вид, будто ты только что видел сон.

Гартмут в самом деле стоял точно оглушенный и смотрел на кусты, в которых исчезла его мать. Он повернулся и провел рукой по лбу.

– Да, я видел сон, – медленно проговорил он, – странный, чудесный сон!

– Лучше бы удил рыбу, – заметил Вилли. – Посмотри, какое чудо я поймал! Человек не должен видеть сны среди бела дня; он обязан делать что-нибудь путное – так говорит моя мать, а моя мать всегда права.

3

Семьи Фалькенрид и Вальмоден с давних пор были в дружеских отношениях. Их имения находились по соседству, и они часто виделись; дети их росли вместе, и множество общих интересов все больше скрепляли эту дружескую связь. Но так как их имения были невелики, то сыновьям по окончании образования пришлось самостоятельно прокладывать себе дорогу в жизни; майор Гартмут фон Фалькенрид и Герберт фон Вальмоден поступили именно так.

Они вместе играли в детстве и, став взрослыми, остались верны старой дружбе; они даже чуть не породнились, потому что их родители мечтали женить Фалькенрида, тогда лейтенанта, на Регине Вальмоден. Молодые люди, по-видимому, были полностью согласны с этим планом, и все шло как нельзя лучше, как вдруг случилось событие, внезапно все разрушившее.

За несколько лет до этого один из Вальмоденов, двоюродный брат Герберта, неисправимый вертопрах, сделавший невозможным свое пребывание в отечестве всякими сумасбродными выходками, отправился рыскать по белу свету. После долгой скитальческой жизни искателя приключений он попал в конце концов в Румынию и стал управляющим в имении богатого помещика. После смерти владельца ему удалось жениться на его вдове и таким образом снова до-

стичь положения, которым он когда-то легкомысленно пренебрег. Тогда он вместе с женой приехал погостить к родственникам, с которыми не виделся больше десяти лет.

Госпожа фон Вальмоден уже давно отцвела и была пожилой дамой, но с ней приехала ее дочь от первого брака Салика Роянова.

Молоденькая славянка с огненным темпераментом, которой едва исполнилось семнадцать лет, окруженная ореолом чужеземной красоты, появилась, как сияющий на небосклоне метеор, и изменила до сих пор спокойную, размеренную жизнь немецких провинциалов.

Салика резко выделялась в этом кругу, обычаями и воззрениями которого она пренебрегала, и окружающие смотрели на нее как на чудо, явившееся к ним из неизвестного им мира. Многие серьезно качали головами и лишь потому не высказывали вслух своего неодобрения, что считали девушку случайной гостьей в своих краях, которая исчезнет так же внезапно, как и появилась.

В это время Гартмут Фалькенрид приехал из гарнизона в имение отца и в семье друзей познакомился с их новыми родственниками. Он увидел Салику, и судьба его была решена. Им овладела та безумная страсть, которая возникает внезапно, почти с быстротой молнии, походит на какое-то опьянение, одурение и часто оплачивается раскаянием в течение всей остальной жизни. Были забыты желания родителей и собственные мечты, забыта спокойная сердечная привязан-

ность к подруге детства, Регине; он больше не замечал этого скромного, свежего, только что распустившегося лесного цветка. Он вдыхал лишь опьяняющий аромат чудной розы, выросшей под чужим небом, остальное больше для него не существовало; и однажды, оставшись наедине с Саликой, он признался ей в любви.

К удивлению, она ответила взаимностью. Было ли это новым доказательством справедливой поговорки, гласящей, что противоположности сходятся, и Салику, действительно, влекло к человеку, который во всех отношениях представлял полную противоположность ее натуре, или, может быть, ей льстила мысль, что один ее взгляд, одно слово могли воспламенить серьезного, спокойного и тогда уже несколько угрюмого молодого человека, – как бы то ни было, но она приняла его предложение.

Известие об этой помолвке подняло бурю в обеих семьях. Со всех сторон сыпались уговоры, предостережения, даже мать и отчим Салики были против этого брака, но всеобщее сопротивление только раздувало страсть Молодых людей; несмотря ни на что, они настояли на своем, и через полгода Фалькенрид ввел в свой дом молодую жену.

Но за коротким периодом опьянения счастьем последовало самое горькое разочарование. Со стороны Фалькенрида было роковой ошибкой воображать, что женщина, подобная Салике, выросшая среди безграничной свободы и привыкшая к беспорядочной, расточительной жизни богатых семей

в своем отечестве, могла когда-нибудь подчиниться немецкому педантизму и условиям жизни в Германии. Часами носиться верхом на полудиком коне в обществе мужчин, знающих только охоту да карточную игру, вести самые непринужденные разговоры, окружать себя в своем доме, всегда переполненном гостями, внешним блеском, в то время как имения, обремененные долгами, приходят в страшный упадок – вот жизнь, которую только и знала до сих пор Салика и которая соответствовала ее наклонностям. Понятие о долге было ей так же чуждо, как вообще все в новой для нее обстановке.

И эта женщина должна была вести хозяйство молодого офицера, располагавшего лишь весьма ограниченными средствами, должна была приравниваться к условиям жизни в маленьком немецком гарнизонном городке! Первые же недели показали, что это невозможно. Салика начала с того, что постаралась поставить свой дом на широкую ногу и принялась самым безумным образом проматывать свое весьма значительное приданое. Напрасно просил и уговаривал муж, она ничего не хотела слышать. Долг, общественное мнение вызывали в ней только насмешки; строгие нравоучения мужа о чести и приличии заставляли ее пожимать плечами. Скоро дело дошло до страшных ссор, и Фалькенрид должен был сознаться, что поступил опрометчиво.

Несмотря на все предостережения, указывавшие на различие их происхождения, воспитания и характеров, он на-

деялся на всемогущество любви; теперь же он окончательно убедился, что Салика не любила его, что их сблизили только каприз или, может быть, мимолетная страсть, которая угасла так же скоро, как и вспыхнула. Теперь она не видела в нем ничего, кроме надоедливого спутника жизни, который портил ей всякое удовольствие своим глупым педантизмом и смешными понятиями о чести и всюду мешал ей; но она боялась этого человека с его энергией, всегда подчинявшего себе ее бесхарактерную натуру.

Рождение маленького Гартмута уже не могло ничего поправить в этом глубоко несчастном браке, но оно заставило супругов сохранять, по крайней мере, внешний вид благополучия. Салика страстно любила ребенка и знала, что муж ни за что его не отдаст, если дело дойдет до развода; одно это удерживало ее возле мужа, а Фалькенрид, затаив страдание, терпеливо переносил свою горькую домашнюю жизнь и прилагал все усилия, чтобы скрыть ее, по крайней мере, от окружающих.

Но правду все-таки узнали, узнали даже обстоятельства, о которых не подозревал муж. Наконец настал день, когда повязка спала с глаз обманутого человека, и он узнал то, что давно уже не было тайной ни для кого, кроме него. Непосредственным следствием этого открытия была дуэль; противник Фалькенрида погиб, а сам он был приговорен к продолжительному заключению в крепости, но, впрочем, очень скоро помилован: ведь все знали, что оскорбленный муж за-

щищал свою честь. В то же время был начат процесс о разводе. Салика не противилась; вообще она не смела даже приближаться к мужу, потоку что дрожала перед ним с того момента, когда он привлек ее к ответу; но она делала отчаянные попытки оставить себе ребенка и вела за него борьбу не на жизнь, а на смерть.

Все оказалось напрасно; Гартмут был безоговорочно отдан отцу, а тот не допускал никаких его связей с матерью. Салика не могла даже видаться с сыном и наконец убедившись, что ничего не добьется, вернулась на родину, к матери. Казалось, она навсегда исчезла с горизонта своего бывшего мужа, как вдруг совершенно неожиданно снова появилась в Германии, где майор Фалькенрид занимал теперь видное положение в привилегированном военно-учебном заведении вблизи столицы.

Прошло около недели со времени приезда Гартмута в Бургсдорф. Регина фон Эшенгаген сидела в гостиной, а напротив нее расположился майор. Очевидно, предмет разговора был серьезный и неприятный, потому что Фалькенрид слушал хозяйку с мрачным лицом.

Регина продолжала:

– Перемена в Гартмуте бросилась мне в глаза уже на третий или на четвертый день. В первое время он шалил так, что с ним не было сладу, и я однажды даже пригрозила отправить его домой; и вдруг он совсем сник. Он перестал затевать глупости, начал часами бродить один по лесу, а возвратившись домой, буквально ходил как сонный. Герберт решил, что он становится благоразумнее, я же сказала: «Дело нечисто! Тут что-то кроется!» – и принялась за своего Вилли, который тоже казался мне каким-то странным. Действительно, он оказался в заговоре: он застал их однажды в лесу, и Гартмут взял с него слово, что будет молчать. И мой мальчик в самом деле молчал. Он признался только тогда, когда я пристала к нему, как с ножом к горлу. Ну, в другой раз он этого не сделает, об этом я позаботилась.

– А Гартмут? Что он сказал?

– Ничего, потому что я и не заикалась об этом; он, разумеется, спросил бы меня, почему ему нельзя видаться с род-

ной матерью, а на такой вопрос может ответить только отец.

– Вероятно, он уже получил ответ от другой стороны, – с горечью проговорил Фалькенрид. – Только едва ли ему сказали правду.

– И я этого боюсь, а потому, как только узнала всю эту историю, не теряя ни минуты, известила вас. Что же теперь делать?

– Ну, конечно, я приму меры. Благодарю вас, Регина. Я предчувствовал беду, когда получил ваше письмо, так настойчиво зовущее меня сюда. Герберт был прав: мне не следовало ни на один час отпускать от себя сына; но я думал, что в Бургсдорфе он в безопасности. Гартмут так радовался поездке, так страстно мечтал о ней, что у меня не хватило духу лишить его этого удовольствия. Ведь он вообще только тогда весел, когда далеко от меня.

В последних словах слышалась глухая боль, но Регина фон Эшенгаген только пожала плечами.

– Не он один виноват в этом, – откровенно сказала она. – Я тоже держу своего Вилли в ежовых рукавицах, но тем не менее он знает, что у него есть мать, которой он дорог, Гартмут не может сказать того же о своем отце; он знает вас только как строгого и неприступного человека. Если бы он подозревал, что в глубине души вы его обожаете...

– То сейчас же воспользовался бы этим, чтобы обезоружить меня своей нежностью и ласками. Неужели я должен допускать, чтобы он командовал и мной так же, как всеми,

кто только имеет с ним дело? Товарищи слепо повинуются ему, хотя из-за его шалостей часто получают взбучку. Ваш Вилли у него в полном подчинении, даже учителя относятся к нему с особой снисходительностью. Я – единственный человек, которого он боится и потому уважает.

– И вы надеетесь одним страхом справиться с мальчиком, которого мать осыпает безумными ласками? Не увеливайте, вы знаете, что я никогда не произносила при вас даже имени Салики, но теперь, когда она опять появилась, поневоле приходится говорить о ней, и я откровенно скажу вам, что ничего другого и нельзя было ожидать с тех пор, как она здесь. Ни на шаг не отпускать от себя Гартмута тоже не выход, потому что семнадцатилетнего юношу уже нельзя уберечь как ребенка; мать нашла бы к нему дорогу, и, в сущности, она права. Я поступила бы точно так же.

– Права? – вспыхливо воскликнул майор. – И это говорите вы, Регина?

– Это говорю я, потому что знаю, что значит иметь единственного ребенка. То, что вы отняли мальчика у жены, было в порядке вещей; такая мать не годится в воспитательницы; но то, что вы теперь, через двенадцать лет, запрещаете ей видеться с сыном, это жестокость, которую может внушить только ненависть. Как бы ни была велика вина, наказание слишком сурово.

Фалькенрид мрачно смотрел в пол, вероятно, чувствуя справедливость этих слов; наконец он проговорил;

– Невозможно поверить, что именно вы на стороне Салики. Ради нее я горько оскорбил вас, разорвав союз...

– Который еще не был заключен, – поспешно перебила его Регина. – Это был план наших родителей, и только.

– Но мы с детства знали о нем, и он нам нравился. Не старайтесь оправдать меня, я хорошо знаю, какое зло причинил тогда вам и самому себе.

Регина спокойно смотрела на него своими ясными серыми глазами, и они увлажнились, когда она ответила:

– Ну, хорошо, Гартмут, теперь, когда мы оба давно уже не молоды, я, конечно, могу сказать правду. Я любила вас, и, вероятно, вы сделали бы из меня не совсем то, кем я теперь стала. Я всегда была своенравной и не легко кому-нибудь подчинялась, но вам я подчинилась бы. Когда, через три месяца после вашей свадьбы, я пошла к алтарю с Эшенгагеном, то вышло иначе: я взяла в руки бразды правления и начала командовать; с тех пор я основательно изучила это искусство. Однако оставим эти старые, давно прошедшие дела! Мы все-таки остались друзьями, и если теперь вам нужна моя помощь или совет – я готова.

– Я знаю это, Регина, но в таком деле я должен решать и действовать один. Прошу вас, позовите ко мне Гартмута, я поговорю с ним.

Регина встала и вышла из комнаты бормоча:

– Если только это не будет поздно! Тогда она сумела обойти отца, а теперь наверняка успела заручиться поддержкой

сына.

Минут через десять вошел Гартмут. Он запер за собой дверь, Но остановился у порога. Фалькенрид обернулся к нему говоря:

– Подойди ближе; мне надо с тобой поговорить.

Юноша медленно приблизился. Он уже знал, что Виллибальд вынужден был сознаться и что о его встречах с матерью все известно, но к робости, которую он всегда чувствовал к отцу, сегодня присоединилось несомненное упорство, и это не осталось незамеченным.

Майор долгим мрачным взглядом посмотрел на своего красавца-сына и начал:

– Тебя, кажется, не удивляет мой неожиданный приезд? Может быть, ты даже знаешь, почему я здесь?

– Да, отец, я догадываюсь.

– Хорошо! В таком случае мы обойдемся без предисловий. Ты узнал, что твоя мать жива, она пришла к тебе, и ты с ней встречаешься; все это я уже знаю. Когда ты увидел ее в первый раз?

– Пять дней тому назад.

– И с тех пор говорил с ней ежедневно?

– Да, у бургсдорфского пруда.

Вопросы и ответы звучали коротко и сдержанно. Гартмут привык к этой чисто военной манере даже в разговорах с отцом, потому что тот не терпел лишних слов и колебаний или уклонений в ответах. И сегодня майор говорил тем же то-

ном, пытаюсь этим скрыть от неопытных глаз сына свое мучительное волнение. Сын в самом деле видел только серьезное, неподвижно-спокойное лицо, слышал в голосе лишь холодную строгость. Майор продолжал:

– Я не упрекаю тебя, потому что никогда не запрещал тебе этого. Между нами даже никогда не возникал этот вопрос. Но если дело зашло так далеко, я не могу больше молчать. Ты считал, что твоя мать умерла, а я молчал, потому что хотел избавить тебя от воспоминаний, которые отравили мою собственную жизнь; я хотел, чтобы, по крайней мере, твоя молодость была свободна от них. Я вижу, что сейчас больше нельзя молчать, и ты должен узнать правду. Еще молодым офицером я страстно полюбил твою мать и женился на ней против воли своих родителей, которые не ждали ничего хорошего от этого брака с женщиной чужой крови. Они оказались правы: наш брак был в высшей степени несчастным и кончился разводом по моему требованию. Я имел неоспоримое право требовать его, и суд отдал сына мне. Большого я тебе не скажу, потому что не могу обвинять мать перед сыном.

Как ни коротко было это объяснение, оно произвело удивительное впечатление на Гартмута. Отец не хотел обвинять перед ним мать, в то время как он ежедневно выслушивал от нее самые горькие жалобы и обвинения против отца. Салика, разумеется, свалила всю вину в разводе на мужа и его неслыханное тиранство и нашла в сыне даже чересчур хоро-

шего слушателя, так как его темпераментная натура тяжело страдала под гнетом строгости отца. И все-таки теперь скупые серьезные слова майора подействовали сильнее, чем все страстные излияния матери; Гартмут инстинктивно почувствовал, на чьей стороне была правда.

– Теперь к делу! – снова заговорил Фалькенрид. – О чем вы ежедневно беседовали?

Гартмут явно не ожидал подобного вопроса; горячий румянец залил его лицо, он молча опустил глаза.

– Ты не смеешь мне об этом сказать? Но я требую, отвечай, я приказываю!

Но Гартмут продолжал молчать, и его глаза с выражением мрачного упорства встретили взгляд отца.

– Ты не хочешь говорить? – воскликнул тот. – Может быть, тебе запретили? Ну, все равно, твое молчание говорит больше чем слова. Я вижу, как тебя уже настроили против меня, и я окончательно потеряю тебя, если допущу, чтобы это влияние продолжалось еще хоть некоторое время. Твои свидания с матерью должны прекратиться, я запрещаю их. Ты сегодня же уедешь со мной домой и будешь под моим надзором. Может быть, это покажется тебе жестоким, но так должно быть, и ты обязан подчиниться.

Однако майор ошибался, полагая, что сын покорится простому приказанию: за последние дни мальчик прошел школу, в которой ему систематически внушалось сопротивление отцу.

– Ты не можешь, не имеешь права приказывать мне это! – вскрикнул он с горячностью. – Это моя мать, которую я наконец-то нашел и которая одна в целом свете любит меня! Я не позволю опять отнять ее у меня, как это сделали раньше! Я не позволю принуждать меня ненавидеть ее только потому, что ее ненавидишь ты! Угрожай, наказывай, делай что хочешь, но на этот раз я не буду подчиняться!

Вся необузданная страстность юноши вылилась в этих словах. Неприятный огонь снова пылал в его глазах, руки были сжаты в кулаки, каждый нерв дрожал в нем в порыве возмущения; очевидно, он решился вступить в борьбу с отцом, которого прежде боялся.

Но взрыва гнева не последовало; Фалькенрид смотрел на него серьезно и молча, с выражением тяжелого упрека во взгляде.

– Одна в целом свете любит тебя! – медленно повторил он. – Ты, верно, забыл, что у тебя есть еще отец?

– Который не любит меня! – крикнул Гартмут с безграничной горечью. – Только теперь, когда я нашел мать, я знаю, что такое любовь!

– Гартмут!

При звуке этого странного, дрожащего от боли голоса, который, он слышал впервые, юноша удивленно уставился на отца и слова замерли на его губах.

– Ты сомневаешься в моей любви, потому что не видел от меня нежностей, потому что я воспитывал тебя серьезно

и строго? – продолжал Фалькенрид. – А знаешь ли ты, чего стоила мне эта строгость с любимым ребенком?

– Отец!..

Это восклицание прозвучало робко и нерешительно, но это были уже не прежняя робость и страх; в голосе Гартмута слышались зарождающееся доверие и радостное изумление, а его глаза, как прикованные, не отрывались от отца.

Между тем майор положил руку ему на плечо и тихонько притягивал его к себе продолжая:

– Когда-то и у меня было честолюбие, были гордые надежды, великие планы и намерения; со всем этим я покончил, когда меня поразили тот удар, от которого я никогда не оправлюсь. Если я еще живу и работаю, то, кроме сознания долга, меня побуждает к этому лишь одно: мысль о тебе, Гартмут. В тебе все мое честолюбие, сделать твое будущее великим и счастливым – это единственное, чего я еще хочу от жизни. И оно может быть великим, Гартмут, потому что ты одарен необыкновенными способностями, а твоя воля тверда и в дурном, и в хорошем. Но в твоей натуре есть и плохие качества, это твоя беда, а не вина, и они должны быть вовремя подавлены, если ты не хочешь, чтобы они пересилили тебя и привели к несчастью. Я был обязан быть строгим, чтобы обуздать эти опасные наклонности, но это было совсем нелегко.

Лицо юноши пылало; затаив дыхание, он ловил каждое слово отца и теперь проговорил шепотом, за которым чув-

ствовался еле сдерживаемый восторг:

– Я не смел до сих пор любить тебя! Ты был всегда так холоден, так замкнут, и я...

Он замолчал и опять взглянул на отца, который обнял его и крепко прижал к себе. Их взгляды встретились, и они поняли друг друга. Голос майора, всегда сдержанный, прерывался, когда он тихо проговорил:

– Ты – мой единственный сын, Гартмут, единственное, что мне осталось от мечты о счастье, исчезнувшей как сон, и сменившейся разочарованием и горечью. Тогда я много потерял, но перенес потерю; если бы мне пришлось потерять тебя, я бы не пережил этого!

Он снова крепко обнял сына, который рыдая бросился к нему на грудь, и в этом горячем, страстном объятии исчезло все. Оба забыли, что между ними грозно стояла тень, выступившая из прошлого и разлучавшая их.

Тем временем внизу, в столовой, Регина фон Эшенгаген отчитывала своего Вилли. Молодой наследник майората имел очень сокрушенный вид; он чувствовал себя виноватым и перед матерью, и перед товарищем в одно и то же время, а между тем, в сущности, во всей этой истории был совершенно ни при чем. Как почтительный сын он терпеливо выслушивал упреки и только время от времени бросал тоскливый взгляд на ужин, который уже давно стоял на столе, но мать не замечала, что сын голоден.

– Так бывает всегда, когда дети действуют за спиной у

родителей! – закончила свою проповедь фон Эшенгаген. – Гартмуту там намылят голову, майор не станет с ним нежничать, а ты, я думаю, тоже не станешь впредь принимать участие в заговорах да разыгрывать роль укрывателя.

– Да я вовсе не разыгрывал такой роли! Я только обещал молчать и должен был сдержать слово.

– От матери ты не должен был скрывать, мать всегда и везде исключение, – решительно возразила Регина.

– Да, мама, очевидно, и Гартмут так думал, когда речь шла о его матери, – заметил Виллибальд.

Против такого справедливого замечания возразить было нечего, но тем сильнее рассердило оно Регину.

– Это совсем другое дело! – отрезала она.

– Почему же другое?

– Ты выведешь меня из терпения своими вопросами да рассуждениями! – гневно крикнула мать. – Это вещи, которых ты не понимаешь да и не должен понимать. И то уже скверно, что Гартмут натолкнул тебя на них. Изволь молчать и не думать о них! Понял?

Вилли покорно замолчал. Впервые в жизни его упрекали в излишней любознательности и желании рассуждать. Кроме того, в комнату вошел дядя Вальмоден, только что вернувшийся откуда-то домой.

– Мне сообщили, что Фалькенрид уже приехал, – сказал он, подходя к сестре.

– Да. Он приехал сразу же, как только получил мое пись-

мо.

– Как же он принял известие?

– Внешне довольно спокойно, но я прекрасно видела, что у него на душе. Теперь он говорит с Гартмутом, и, должно быть, там будет буря.

– Жаль! Но я это предсказал, как только услышал о возвращении Салики. Фалькенриду следовало тогда же поговорить с сыном; боюсь, что за первой его ошибкой последует вторая, и он попытается разлучить их насильно. Какое упрямство и прямолинейность! Это в данном случае совершенно неуместно.

– Мне кажется, их переговоры тянутся чересчур долго, – озабоченно сказала Регина. – Я пойду посмотрю, как обстоят дела. Подожди здесь, Герберт, я сейчас вернусь.

Она вышла из комнаты. Вальмоден принялся беспокойно ходить взад и вперед, а племянник продолжал одиноко сидеть у стола перед ужином, о котором до сих пор никто не вспомнил. Приняться за него один он не решался, потому что мамаша была настроена в высшей степени немилостиво. К счастью, через несколько минут она вернулась, и на этот раз ее лицо сияло.

– Все в порядке! – коротко сказала она. – Он держит сына в объятиях, а тот висит у него на шее; остальное само собой уладится. Слава Богу! Можешь есть, Вилли, буря, нарушившая весь порядок в доме, кончилась.

Вилли поспешил воспользоваться полученным разреше-

нием. Но Вальмоден покачал головой и заметил вполголоса:
– Если только она, действительно, кончилась!

5

Фалькенрид и Гартмут не заметили, что дверь тихонько приоткрылась и так же тихо опять закрылась. Гартмут все еще обнимал отца; его робость и сдержанность исчезли и уступили место бурной нежности; он был чарующе мил, и, может быть, отец не без основания опасался, чтобы его ласки не лишили его твердости. Майор почти не говорил, но часто прижимался губами ко лбу сына и не сводил глаз с его прелестного, полного жизни лица. Наконец Гартмут тихо проговорил:

– А... моя мать?

– Твоя мать уедет из Германии, когда убедится, что ты и впредь должен оставаться вдали от нее, – сказал майор на этот раз без всякой жесткости в голосе, но твердо. – Ты можешь ей писать; я разрешаю переписку с некоторыми ограничениями, но личных отношений я не могу и не должен допускать.

– Отец, подумай...

– Я не могу, Гартмут, это невозможно!

– Неужели ты так ненавидишь ее? – с упреком спросил юноша. – Ты пожелал развода, а не она; я знаю это от нее самой.

Губы Фалькенрида дрогнули. Горькие слова готовы были сорваться с его языка; он хотел сказать, что развод был во-

просом чести, но взглянул на вопросительно устремленные на него глаза сына, и слова замерли на его губах; он не мог обвинять мать перед сыном.

– Оставь это! – мрачно ответил он. – Я не могу ответить тебе на этот вопрос. Может быть, позднее ты узнаешь и поймешь руководившие мной мотивы; теперь же я не могу избавить тебя от жестокой необходимости сделать выбор: ты должен принадлежать только одному из нас, с другим надо расстаться. Смотри на это как на волю судьбы.

Гартмут опустил голову; он чувствовал, что в настоящую минуту ничего больше не добьется. Он и раньше знал, что свидания с матерью должны будут прекратиться, когда он вернется домой, к строгой дисциплине учебного заведения; теперь отец разрешал переписку – это было больше, чем он смел надеяться.

– Я скажу это матери, – ответил он убитым голосом. – Теперь, когда ты все знаешь, я, конечно, могу идти к ней открыто.

Майор остолбенел; он совершенно не думал о возможности такого вывода.

– Когда же ты собираешься увидеться с ней?

– Сейчас у пруда; она, наверно, уже там.

Фалькенрид боролся с собой. Какой-то голос в его душе убеждал его не допускать этого свидания, но он чувствовал, что запретить его было бы жестоко.

– Ты вернешься через два часа? – спросил он наконец.

– Конечно, отец, даже раньше, если ты потребуешь.

– Так иди. – Майор глубоко вздохнул. Видно было, какой борьбы стоило ему это согласие, на которое заставило решиться чувство справедливости. – Как только ты вернешься, мы поедem домой, ведь твои каникулы заканчиваются.

Гартмут вдруг остановился; слова отца напомнили ему о том, о чем он совсем забыл в последние полчаса, – о гнеде и строгости ненавистной службы, которая опять ожидала его. До сих пор он не смел открыто выказывать отвращение к ней, но этот час безвозвратно унес с собой его робость перед отцом, а с ней сорвал и печать молчания с его уст. Уступая минутной слабости, он вернулся и обнял отца за шею.

– У меня к тебе просьба, – прошептал он, – большая-большая просьба, которую ты непременно должен выполнить! Я знаю, ты согласишься в доказательство того, что действительно любишь меня.

– А тебе еще нужны доказательства? Ну, говори!

Гартмут еще крепче прижался к отцу; его голос опять зазвучал той неотразимой, чарующей лаской, благодаря которой отказать ему в чем-нибудь было почти невозможно, а темные глаза смотрели с горячей мольбой.

– Позволь мне не быть военным, отец! Я не люблю службы и никогда не полюблю ее. Если я до сих пор покорялся твоей воле, то с отвращением, с затаенным гневом. Я чувствовал себя безгранично несчастным, только не смел тебе признаться.

Морщинка между бровей Фалькенрида стала глубже; он медленно выпустил сына из объятий.

– Другими словами, ты не хочешь подчиняться! – сурово сказал он. – А между тем тебе это нужнее, чем кому бы то ни было.

– Но я не в силах выносить гнет, – страстно воскликнул Гартмут, – а военная служба – не что иное, как постоянный гнет, каторга! Вечно подчиняться, никогда не иметь собственной воли, изо дня в день соблюдать железную дисциплину, которая убивает всякую самостоятельность, – я не могу выносить этого! Все во мне рвется навстречу свободе, свету и жизни! Отпусти меня, отец! Не держи меня больше на цепи; она душит меня, я умираю!

Эти неосторожные слова для преданного военной службе человека прозвучали как оскорбление. Отец вдруг выпрямился и, оттолкнув его от себя, резко сказал:

– Я полагал, что военная служба – не каторга, а честь! Хорошо, нечего сказать, что мне приходится напоминать об этом собственному сыну! Свобода, свет, жизнь! Уж не думаешь ли ты, что имеешь право в семнадцать лет очертя голову броситься в водоворот жизни и упиваться ее благами? Для тебя эта желанная свобода была бы только распущенностью, гибелью!

– А если бы и так! – крикнул Гартмут вне себя. – Лучше погибнуть на свободе, чем жить в такой кабале! Для меня служба – каторга, рабство!..

– Молчать! Ни слова больше! – крикнул Фалькенрид так грозно, что юноша замолчал, несмотря на страшное возбуждение. – У тебя нет больше выбора, потому что ты уже на службе и принял присягу, и горе тебе, если ты забудешь об этом! Ты должен сначала получить офицерский чин и исполнять свой долг, как все твои товарищи; потом, когда ты достигнешь совершеннолетия и я не смогу помешать тебе, – выходи, если хочешь, в отставку, хотя то, что мой единственный сын уклонился от военной службы, для меня будет смертельным ударом.

– Отец, неужели ты считаешь меня трусом? – вспыхнул Гартмут. – Во время войны, в сражении...

– Ты проявлял бы безумную смелость и слепо подвергался бы опасности. Ты действовал бы на собственный страх и своим своеволием, которое не признает дисциплины, погубил бы и себя, и своих подчиненных. Я знаю это дикое стремление к свободе и жизни, которое не уважает никаких границ, ни во что ставит долг; я знаю, от кого ты его унаследовал и к чему оно ведет. А потому я буду держать тебя «на цепи». Ты должен научиться повиновению, пока еще не ушло время, и научишься – даю тебе слово!

Его голос звучал по-прежнему непреклонно и сурово, в его чертах не осталось ни малейшего следа мягкости и нежности, и Гартмут слишком хорошо знал отца, чтобы продолжать просить или настаивать. Он не ответил ни слова, но в его глазах загорелась демоническая искра, а крепко сжатые

губы зло искривились. Он молча повернулся и направился к двери.

Майор следил за ним взглядом. В его душе снова шевельнулось предчувствие несчастья. Он окликнул сына.

– Гартмут, ты ведь вернешься через два часа? Ты даешь мне слово?

– Да, отец!

– Хорошо. Я смотрю на тебя как на взрослого, и спокойно отпускаю тебя под честное слово. Будь же аккуратен.

Через несколько минут после ухода юноши в комнату вошел Вальмоден.

– Ты один? – с удивлением спросил он. – Я не хотел тебе мешать, но только что увидел, как Гартмут пробежал через сад. Куда он отправился так поздно?

– К матери, проститься с ней.

Вальмоден остолбенел от удивления, услышав этот неожиданный ответ.

– С твоего согласия? – быстро спросил он.

– Разумеется. Я позволил.

– Какая неосторожность! Ты только что убедился, что Салика умеет настаивать на своем, и тем не менее опять позволяешь ей влиять на сына.

– На какие-нибудь полчаса. Не мог же я не дать ему проститься. И чего ты боишься? Уж не насилия ли с ее стороны? Гартмут – не ребенок, которого можно на руках отнести в экипаж и увезти, несмотря на его сопротивление.

– А если он не будет сопротивляться?

– Он дал мне слово вернуться через два часа.

– Слово семнадцатилетнего юноши!

– Который воспитан для военной службы и знает, что значит честное слово. Это нисколько не беспокоит меня, я опасаюсь совсем другого.

– Регина сказала мне, что вы наконец поладили, – заметил Вальмоден, бросая взгляд на сильно озабоченного друга.

– На несколько минут, а потом мне опять пришлось быть строгим, суровым отцом, и именно этот час показал мне, какая трудная задача покорить и воспитать эту необузданную натуру; но, что бы там ни было, я с ней справлюсь.

Вальмоден подошел к окну и стал смотреть в сад.

– Уже смеркается, а до бургсдорфского пруда, по крайней мере, полчаса ходьбы, – проговорил он вполголоса. – Если это последнее свидание неизбежно, то тебе следовало разрешить его не иначе как в твоём присутствии.

– Чтобы встретиться с Саликой? Это невозможно! Я не могу и не хочу встречаться с ней.

– А если это прощание кончится иначе, чем ты думаешь? Если Гартмут не вернется?

– В таком случае он был бы негодяем, клятвопреступником, дезертиром, потому что он уже носит оружие! – воскликнул Фалькенрид. – Не оскорбляй меня подобным предположением, Герберт, ведь ты говоришь о моем сыне.

– Гартмут в то же время – сын Салики. Впрочем, не будем

спорить, тебя ждут в столовой. Ты собираешься сегодня же уехать?

– Да, через два часа, – твердо и спокойно ответил майор. – К тому времени Гартмут вернется, я ручаюсь за это.

Тем временем смеркалось. Короткий осенний день приближался к концу, а из-за тяжелых туч, заволакивавших небо, ночь наступала раньше обычного.

По берегу бургсдорфского пруда беспокойно ходила взад и вперед Салика. Она вся превратилась в слух и напряженно ждала, не появится ли сын, но было тихо.

С того дня, когда Виллибальд застал ее и Гартмута в лесу и они вынуждены были посвятить его в тайну, Салика перенесла встречи с сыном на вечер, когда в лесу было совершенно пустынно, но они всегда расставались до наступления сумерек, чтобы позднее возвращение Гартмута в Бургсдорф не возбудило каких-либо подозрений. До сих пор он всегда был аккуратен, а сегодня мать ждала напрасно уже целый час. Задержался ли он случайно или же их тайна была открыта? С тех пор, как о ней знало третье лицо, можно было постоянно ожидать неприятностей.

В лесу стояла мертвая тишина. Под деревьями уже легли ночные тени, а над прудом колебался туман; по ту сторону пруда, над лугом, скрывавшим под своей обманчивой зеленой болото, туман клубился еще гуще и расползлся по сторонам. Оттуда веяло сыростью и холодом, как из могилы.

Наконец послышался слабый звук шагов, и вскоре пока-

залась стройная фигура юноши, которую едва можно было различить в темноте. Салика бросилась ему навстречу, и в следующую минуту сын был в ее объятиях.

– Что случилось? – спросила она, осыпая его бурными ласками. – Отчего ты так поздно? Я уже потеряла было надежду увидеться с тобой сегодня. Что тебя задержало?

– Я не мог прийти раньше, – с трудом ответил Гартмут, задыхаясь от быстрой ходьбы. – Я прямо... от отца.

– От отца? – вздрогнула Салика. – Он знает?..

– Все!

– Он в Бургсдорфе? Когда он приехал? Кто его известил? Юноша торопливо стал рассказывать, что случилось, и едва он закончил, раздался горький смех матери.

– Понятно! Все, все они в заговоре, когда речь идет о том, чтобы отнять у меня мое дитя! А отец? Он, конечно, опять сердился, грозил и заставил тебя дорогой ценой искупить тяжкое преступление – свидание с матерью!

Гартмут покачал головой. Воспоминание о той минуте, когда отец привлек его к себе на грудь, было еще свежо в его памяти, несмотря на горечь заключительной сцены.

– Нет, – тихо сказал он, – но он запретил мне видеться с тобой и неумолимо требует нашей разлуки.

– И тем не менее ты здесь! О, я знала это! – В ее тоне слышалось ликование.

– Не радуйся слишком рано, мама! – с горечью проговорил юноша. – Я пришел только проститься с тобой.

– Гартмут!

– Отец знает об этом, он позволил мне пойти проститься, а потом...

– А потом он увезет тебя к себе, и ты будешь потерян для меня навеки. Не так ли?

Гартмут молча обеими руками обхватил мать и громко зарыдал.

Между тем наступила холодная, мрачная осенняя ночь без лунного света и сияния звезд. Луг, с которого перед этим подымались белые клубы тумана, вдруг ожил, там вспыхнуло какое-то голубоватое сияние; вначале оно лишь тускло просвечивалось сквозь туман, потом постепенно стало яснее и ярче и загорелось, как пламя. Это пламя то исчезало, то снова вспыхивало, а вслед за ним появилось другое, третье, блуждающие огни начали свой призрачный танец, от которого на душе становилось жутко.

– Ты плачешь? – Салика прижала сына к себе. – Я давно это предвидела. Даже если бы молодой Эшенгаген не выдал нас, все равно в день отъезда из Бургсдорфа к отцу ты был бы поставлен перед выбором или расстаться со мной, или... решиться.

– На что решиться? – озадаченно спросил Гартмут. Салика понизила голос до шепота.

– Неужели ты без всякого сопротивления подчинишься этой тирании, позволишь разорвать священную связь между матерью и ребенком и растоптать нашу любовь? Если ты в

состоянии так поступить, то в твоих жилах нет ни капли моей крови, ты не мой сын. Он послал тебя проститься со мной, и ты покорно принимаешь эту последнюю милость? Ты в самом деле пришел проститься на много лет?

– Я должен! – с отчаянием возразил Гартмут. – Ты знаешь отца и его железную волю; разве есть какая-нибудь возможность противиться ей?

– Если ты вернешься к нему, то нет. Но кто же заставляет тебя возвращаться?

– Мама! Бога ради! – с ужасом вскрикнул Гартмут, но руки матери не выпускали его, а над его ухом продолжал раздаваться страстный шепот:

– Что так пугает тебя в этой мысли? Ведь ты всего лишь уйдешь к матери, которая безгранично любит тебя и с этой минуты будет жить для тебя одного. Ты столько раз жаловался, что ненавидишь службу, к которой тебя принуждают, что с ума сходишь от тоски по свободе. Если ты вернешься к отцу, у тебя уже не будет выбора: он будет неумолимо держать тебя на цепи и не освободит, даже если будет знать, что ты умрешь.

Салике не было надобности уверять в этом сына, Гартмут знал это лучше нее. Всего какой-нибудь час тому назад он имел возможность убедиться в непреклонности отца; в его ушах еще звучали суровые слова: «Ты должен научиться повиновению и научишься!». Его голос стал почти беззвучным от прилива горечи, когда он ответил:

– И все-таки я должен вернуться; я дал слово быть в Бургсдорфе через два часа.

– В самом деле? Так я и знала! То тебя считали ребенком, который шага ступить не может самостоятельно; каждая твоя минута была рассчитана, ты не смел иметь ни одной собственной мысли; но как только речь зашла о том, чтобы удержать тебя, за тобой вдруг признали самостоятельность взрослого человека! Ну, хорошо, так покажи же, что ты взрослый не только на словах, действуй как взрослый! Обещание под принуждением ничего не стоит; разорви же невидимую цепь, на которой тебя хотят удержать! Освободись!

– Нет! нет! – пробормотал Гартмут, возобновляя попытку вырваться из ее рук.

Ему это не удалось, он смог только отвернуть лицо и стал смотреть в темноту. Перед ним были только лес и болото, на котором блуждающие огни продолжали водить свои призрачные хороводы. Теперь там всюду вспыхивали дрожащие огненные язычки; они колеблясь летали над землей, гоняясь друг за другом, то убегая, то погружаясь в волны тумана и угасая, то снова загораясь. Эта таинственная игра производила странное, жуткое впечатление, но в то же время притягивала к себе; она обладала демоническими чарами бездны, скрытой под обманчивым зеленым ковром.

– Пойдем со мной, Гартмут! – попросила Салика тем ласкающим, неотразимым тоном, который делал ее, как и сына, почти всемогущей. – Я давно все предвидела и приготовила;

я ведь знала, что настанет день, подобный сегодняшнему. До моего экипажа полчаса ходьбы, он отвезет нас на ближайшую станцию железной дороги, и, прежде чем в Бургсдорфе заподозрят, что ты не вернешься, курьерский поезд уже унесет нас далеко-далеко! Там свобода, жизнь, счастье! Я пове-
ду тебя в великий, свободный мир, и только тогда, когда ты его узнаешь, ты вздохнешь полной грудью и почувствуешь восторг освобожденного из темницы узника. Я знаю, каково бывает на душе у такого счастливица, ведь и я носила эти цепи, которые сама сковала себе в безумном ослеплении... Но я разорвала бы их в первый же год, если бы не было тебя. О, как хорошо быть свободным. Ты тоже почувствуешь это.

Она умела убедить. Свобода, жизнь, счастье! Эти слова отзывались в душе юноши тысячеголосым эхом. Светлой, чарующей картиной, залитой волшебным сиянием, открывалась перед ним жизнь, которую обещала ему мать. Стоило ему протянуть руку – и она принадлежала бы ему.

– Я дал слово... – пробормотал он, делая последнюю попытку вырваться. – Отец будет презирать меня, если...

– Если ты достигнешь большого прекрасного будущего? – страстно перебила его Салика. – Тогда ступай к нему и спроси, осмелится ли он презирать тебя! Он хочет удержать тебя на земле, тогда как природа дала тебе крылья, которые унесут тебя в высь! Он не понимает твоей натуры и никогда не поймет. Неужели ты хочешь погибнуть из-за пустого обещания? Пойдем со мной, мой Гартмут, со мной, с матерью, для

которой ты все! Пойдем на свободу!

Салика увлекала сына медленно, но неудержимо. Он еще противился, но ему не удавалось вырваться, и мало-помалу мольбы и ласки матери отняли у него последние силы к сопротивлению. Он пошел за ней.

Через несколько минут мать и сын исчезли; кругом царили мрак и тишина. Только над болотом, в тумане, все еще кипела та же беззвучная, призрачная жизнь; таинственные огни бездны качались в воздухе, разгорались, исчезали и снова вспыхивали, продолжая свою беспокойную игру.

6

Опять наступила осень. Теплые, золотые лучи ясного сентябрьского солнца заливали своим светом зеленое море леса, расстилавшееся без границ во все стороны, насколько мог видеть глаз.

Этот величественный лес был остатком еще древних лесов, покрывавших некогда всю южную Германию; столетние гиганты были здесь не редкостью. Страна вообще была горной; лес рос по холмам и долинам, постоянно сменявшим друг друга. В то время как железная дорога усердно ткала свою сеть, захватывая одну местность за другой, «тор» (так назывался в народе этот обширный округ) все еще стоял отрезанным от мира, словно зеленый остров, не тронутый шумом и суетой жизни.

То там, то сям среди зелени леса выглядывали селение или старинный замок с полуразрушенными стенами. Только одно величественное здание, стоявшее на возвышенности и господствовавшее над всей окрестностью, составляло в этом отношении исключение. Это был Фюрстенштейн, охотничий замок герцога, а в настоящее время местопребывание главного лесничего. Замок был выстроен в начале прошлого столетия и отличался громадными размерами, свойственными тому времени, когда охотничьему замку часто приходилось принимать в своих стенах на несколько недель весь придвор-

ный штат. Издали Фюрстенштейн был едва виден, потому что лес покрывал всю замковую гору, и его серые стены, башни и балконы едва выглядывали из-за зеленых вершин сосен. Только стоя в воротах можно было получить представление об истинных размерах старинного здания, к которому примыкало еще множество меньших пристроек более позднего времени. Замок заботливо поддерживали и подновляли; многочисленные покои верхнего этажа всегда были готовы принять герцога, который приезжал сюда каждый год осенью. Нижний этаж, также весьма обширный, был отведен лесничему Шонау, который жил здесь уже много лет и умел скрасить одиночество, радушно принимая у себя гостей и часто в свою очередь посещая соседей.

И теперь у него гостила невестка, Регина фон Эшенгаген, а на днях ожидали и ее сына. Обе сестры Вальмоден сделали хорошие партии: старшая вышла, за владельца бургсдорфского майората, а младшая – за Шонау, происходившего из очень богатой южно-германской дворянской семьи. Несмотря на разделявшее их значительное расстояние, сестры постоянно поддерживали сердечные отношения и даже после смерти младшей дружба между семьями не распалась.

Впрочем, эта дружба отличалась оригинальностью, потому что лесничий был постоянно в контрах со своей невесткой. У обоих были одинаково грубоватые и прямолинейные натуры, и потому они при малейшем недоразумении ссорились; правда, они каждый раз мирились и давали слово боль-

ше не делать этого, но каждый раз нарушали обещание.

Однако в настоящую минуту, когда они сидели на маленькой террасе перед гостиной, между ними царило необыкновенное согласие. Лесничий был еще статный мужчина с крупными чертами лица и с седоватыми, но еще густыми волосами и бородой. Он небрежно откинулся на спинку стула и слушал невестку, которая, как всегда, задавала тон в разговоре. Теперь ей было уже за пятьдесят, но она почти не изменилась за последние десять лет. Правда, на лице появились кое-где морщинки, а в волосах серебрились отдельные нити, но серые глаза ничуть не утратили своего блеска и пронзительности, голос звучал так же громко и уверенно, осанка была такой же статной как раньше.

– Так что Вилли приедет через неделю, – продолжала она. – Он еще не совсем закончил уборку хлеба, но на следующей неделе она будет завершена, и он может ехать к невесте. Хотя это дело между нами уже давно слажено, но я настаивала на отсрочке, потому что у девушки шестнадцати-семнадцати лет голова, конечно, еще набита всякими глупостями, и она не сможет как следует вести хозяйство. Теперь же Тони двадцать лет, а Вилли – двадцать семь; как раз то, что надо. Ты ведь согласен обручить их теперь, Мориц?

– Совершенно согласен, – ответил лесничий. – И по другим вопросам мы одинакового мнения. Половина моего состояния перейдет сыну, другая половина – дочери, а приданым, которое я дам ей сейчас, ты тоже останешься довольна.

– Да, ты на него не поспешил. Что касается Вилли, то он уже три года владеет бургсдорфским майоратом; остальное наследство, согласно завещанию, пока в моих руках, но после моей смерти, разумеется, тоже перейдет к нему. Терпеть нужду молодым не придется, об этом нечего беспокоиться. Итак, можно считать дело решенным?

– Можно считать решенным. Сейчас мы отпразднуем помолвку, а весной и свадьбу.

Регина, покачав головой, возразила диктаторским тоном:

– Это не годится. Свадьба должна быть зимой, весной Вилли будет некогда.

– Вздор! Для свадьбы всегда найдется время, – заявил Шонау столь же безапелляционным тоном.

– В деревне – нет! – стояла на своем Регина. – У нас на первом плане работа, а потом удовольствие. Так заведено истари, и Вилли привык следовать этому правилу.

– Но я попрошу его сделать исключение для жены, а не то пусть убирается к черту! – сердито крикнул лесничий. – Вообще, ты знаешь мое условие, Регина; девочка не видела твоего сына два года; если он ей не понравится – я принуждать ее не стану.

Этими словами он задел самое чувствительное место невестки. Уязвленная в своей материнской гордости, она закинула голову назад и воскликнула:

– Надеюсь, что у твоей дочери есть некоторый вкус. Впрочем, я настаиваю на добром старом обычае, по которому бра-

ки устраиваются родителями; так было в наше время, и мы при этом отлично себя чувствовали. Ну что смыслит молодежь в таком серьезном деле! Ты же с самого раннего детства предоставил детям полную свободу; сразу видно, что в доме нет матери.

– Разве это моя вина? – раздраженно спросил Шонау. – Может быть, по-твоему, мне следовало привести в дом мамаху? Правда, раз я хотел сделать это, да ты не пожелала, Регина.

– Нет, с меня довольно и одного раза!

Этот сухой ответ еще сильнее рассердил лесничего.

– Ну, полагаю, на покойного Эшенгагена тебе нечего жаловаться; он плясал под твою дудку вместе со всем своим Бургсдорфом. Конечно, у меня тебе не так легко было бы забрать власть.

– Не более как через месяц она была бы в моих руках, – спокойно объявила Регина, – и ты первый подчинялся бы моим командам, Мориц!

– Что? И ты говоришь это мне в лицо? Хочешь – попробуем? – закричал Шонау, приходя в ярость.

– Покорно благодарю! Я не намерена второй раз выходить замуж. Не трудись!

– И не собираюсь! Будет с меня и одного отказа! Тебе не придется вторично оставлять меня с носом!

Лесничий в бешенстве оттолкнул свой стул и отошел. Регина преспокойно продолжала сидеть; через некоторое вре-

мя она заговорила совершенно дружеским тоном:

– Мориц! Когда должен приехать Герберт с женой?

– В двенадцать, – послышался сердитый голос с другого конца террасы.

– Я очень рада, что он приедет. Мы ведь с ним не виделись с тех пор, как его назначили посланником в вашу столицу. Я всегда говорила, что Герберт – гордость нашей семьи и нигде не ударит в грязь лицом. Теперь он прусский посланник при вашем дворе, его превосходительство...

– И притом жених в пятьдесят шесть лет, – насмешливо закончил лесничий.

– Да, нельзя сказать, чтобы он поторопился жениться, но зато он сделал блестящую партию. Для человека его лет не шутка найти себе такую жену как Адельгейда – молодую, красивую, богатую...

– Но мещанского происхождения, – вставил Шонау.

– Какой вздор! Кто в наше время интересуется родословной, когда перед ним миллион? Герберту нужны деньги; он всю жизнь испытывал нужду, а расходы, обязательные для посланника, превышают его жалование. Впрочем, ему нечего стыдиться своего тестя, Штальберг был одним из первых промышленников в нашей стране и притом честнейшим человеком. Жаль, что он умер сразу же после замужества дочери. Во всяком случае Адельгейда сделала очень разумный выбор.

– Вот как! Ты называешь разумным выбором, когда во-

семнадцатилетняя девушка выходит замуж за человека, который годится ей в отцы? Впрочем, что ж, она ведь стала дворянкой, превосходительством и играет первую роль в обществе как супруга прусского посланника! Мне эта прелестная, холодная Адельгейда с ее «разумными» взглядами, которые сделали бы честь какой-нибудь древней старухе, в высшей степени несимпатична. Мне гораздо больше по сердцу «неразумная» девушка, которая влюбляется по уши и объявляет родителям: или за него, или ни за кого!

– Прекрасные рассуждения для отца семейства! – возмутилась Регина. – Счастье, что Тони пошла в мою сестру, а не в тебя, иначе ты, пожалуй, дождался бы такой сцены от собственного отпрыска. Нет, Штальберг лучше воспитал свою дочь; я знаю от него самого, что, выходя за Герберта, она руководствовалась прежде всего желанием отца. И это вполне в порядке вещей, так и должно быть. Но ты ничего не смыслишь в воспитании детей.

– Как! Я, муж и отец, ничего не смыслю в воспитании? – закричал лесничий, покраснев от гнева.

Они были готовы уже опять сцепиться, но, к счастью, им помешали; на террасу вошла девушка, дочь хозяина.

Антонию фон Шонау, строго говоря, нельзя было назвать красивой, но у нее была стройная фигура отца и свежее, цветущее лицо с ясными карими глазами. Ее темные волосы были просто заплетены в косы и обвиты вокруг головы, а платье поражало простотой. Впрочем, Антония была в таком воз-

расте, когда молодость сама по себе прекрасна, а потому, когда она вошла на террасу, свежая, здоровая, сильная и телом и духом, то показалась Регине такой подходящей женой для ее Вилли, что она тотчас перестала спорить и ласково кивнула ей головой.

– Отец, экипаж возвращается со станции, – сказала девушка каким-то спокойным, даже тягучим голосом. – Он уже под горой, через четверть часа дядя Вальмоден будет здесь.

– Черт возьми, как же они быстро ехали! – воскликнул лесничий, физиономия которого при этом известии тоже прояснилась. – Комнаты готовы?

Тони кивнула головой так равнодушно, точно это само собой разумелось.

В то время как ее отец поспешил к дверям, чтобы идти встречать экипаж, Регина спросила, бросая взгляд на корзину, которую девушка держала в руке:

– Я вижу, ты опять не теряла времени даром, Тони!

– Я была в фруктовом саду, милая тетя. Садовник уверял, будто груши еще не поспели; я пошла сама посмотреть, и вот набрала целую корзину.

– Прекрасно, дитя мое! Хозяйский глаз и хозяйские руки везде нужны, никогда не следует полагаться на прислугу. Из тебя выйдет прекрасная хозяйка! Однако пойдем тоже вниз встречать дядю.

Шонау уже спускался по широкой лестнице, ведущей во двор. В это время, из дверей флигеля вышел какой-то чело-

век; увидев лесничего, он остановился и почтительно снял шляпу.

– А! Штадингер! Что вам понадобилось в Фюрстенштейне? – крикнул ему лесничий. – Идите же сюда!

Штадингер подошел. Он был седой как лунь, но шел бодро и держался прямо, а его черные глаза на темном грубом лице смотрели зорко.

– Я был у кастеляна, – ответил он, – приходил просить его выделить мне несколько рабочих на помощь, потому что у нас в Родеке теперь все вверх дном и рук не хватает.

– Ах, да, ведь принц Эгон вернулся из путешествия по Востоку. Слышал, слышал! – сказал Шонау. – Но что это ему вздумалось поселиться в Родеке, этом маленьком лесном гнезде, в котором такая теснота и нет никаких удобств?

– Это одному Богу известно! У нашего молодого принца никогда не следует спрашивать о причине его поступков. Внезапно была получена весть, что он едет, и мы впопыхах бросились приводить замок в должный вид. Чего мне стоило сделать все за два дня!

– Воображаю! Ведь Родек уже сколько лет стоит пустой. Но таким образом старое здание опять хоть немножко оживится.

– Да, только при этом его перевернут вверх дном, – проворчал управляющий. – Если бы вы видели, что у нас делается! Охотничий зал битком набит львиными и тигровыми шкурами, чучелами всяких зверей, а живые обезьяны и по-

пугаи сидят во всех комнатах. Обезьяны корчат рожи, а гам стоит такой, что иной раз собственного голоса не слышишь. А сегодня принц объявил мне, что к нам везут еще целое стадо слонов и большую водяную змею. Я думал, что меня хватит удар, и отбояривался и руками, и ногами. «Ваша светлость, – сказал я, – нам больше некуда девать всех этих зверей, особенно же водяную змею, потому что ведь такой твари нужна вода, а у нас в Родеке даже пруда нет. Что же касается слонов, то нам придется разве привязать их к деревьям в лесу, другого выхода я не вижу». «Хорошо, – сказал принц, – привяжем их к деревьям, это будет иметь очень живописный вид, а водяную змею отдадим пока в пансион, в Фюрстенштейн, замковый пруд достаточно велик». Как вам это нравится? Он хочет все окрестности заселить чудовищами!

Лесничий громко расхохотался и хлопнул по плечу старика, видимо, пользовавшегося его особой симпатией.

– Неужели вы в самом деле поверили, Штадингер? Разве вы не знаете своего принца? Очевидно, он возвращается таким же ветрогоном, каким уехал.

– Да, совершенно таким же! – вздохнул Штадингер. – А чего не придет в голову его светлости, то придумает господин Роянов. Этот еще в десять раз хуже. И надо же было такому сумасброду свалиться нам на голову!

– Роянов? Это кто такой? – спросил Шонау.

– Собственно говоря, никто точно не знает, кто он, но у нас он – все, потому что его светлость жить без него не мо-

жет. Он подобрал этого «друга» где-то там, в языческих странах; да, наверно, господин Роянов и сам полуязычник или турок, по крайней мере, похож своим смуглым лицом и черными, жгучими глазами. А уж командовать он мастер и гоняет прислугу так, что та с ног сбивается, исполняя его приказания; он держит себя в Родеке как хозяин. Но зато красив, как картина, почти красивее нашего принца, и принц отдал строжайшее приказание во всем повиноваться его другу, как ему самому.

– Очевидно, какой-нибудь проходимец, обирающий молодого принца! – пробормотал Шонау, а вслух прибавил: – Ну, помогай вам Бог, Штадингер! Я иду встречать своего шурина. А что касается водяной змеи, то не волнуйтесь из-за нее и, если принц опять станет грозить вам ею, скажите, что я с удовольствием приму ее в фюрстенштейнский пруд, только пусть сначала покажет ее мне живьем.

Он смеясь кивнул головой старику и пошел к воротам. Между тем подошла и Регина Эшенгаген с племянницей, а потом на широкой лесной дороге показался экипаж и через несколько минут въехал во двор замка.

Регина первая бросилась здороваться. Она так сердечно сжала и тряхнула руку брата, что тот, слегка вздрогнув, поспешил отнять ее. Лесничий был сдержаннее; он несколько робел перед своим шурином-дипломатом и втайне боялся его сарказма. Что касается Тони, то ни высокопоставленный дядюшка, ни его супруга не могли вывести ее из состояния

равнодушия.

Для Герберта Вальмодена годы прошли не так бесследно, как для его сестры; он сильно постарел, его волосы стали совершенно седыми, а саркастическая складка в уголках тонких губ углубилась. В остальном это был прежний холодный, корректный дипломат, разве, пожалуй, с возрастом стал еще холоднее и сдержаннее, чем раньше. Казалось, будто, достигнув высокого положения, он удвоил осторожность, с которой относился ко всему окружающему.

Незнакомый Человек принял бы молодую женщину, сидевшую рядом с посланником, за его дочь. Нельзя было не признаться, что он проявил большой вкус, выбрав Адельгейду. Она была, действительно, красива, однако той серьезной, холодной красотой, которая обычно возбуждает в окружающих лишь такое же холодное удивление; но зато Адельгейда оказалась вполне подходящей во всех отношениях партией для общественного положения, в котором очутилась благодаря замужеству. Ей недавно исполнилось девятнадцать лет, и она всего шесть месяцев была замужем, но, тем не менее, проявляла такую уверенность в поведении и самообладании, как будто полвека провела возле своего престарелого супруга.

Вальмоден по отношению к своей молодой жене был олицетворением вежливости и внимания. Он предложил ей руку, чтобы отвести в ее комнату, сам же через несколько минут вернулся к сестре, которая ждала его на террасе.

Отношения между братом и сестрой отличались большой оригинальностью. Герберт и Регина по натуре были совершенно разными и всегда и во всем придерживались противоположного мнения, но кровное родство все-таки сказывалось в горячей привязанности, которую они чувствовали друг к другу. Это ясно проявлялось теперь, когда они встретились после долгой разлуки.

Правда, Герберт немного нервничал во время разговора, потому что Регина не считала нужным смягчать свои грубые манеры и то и дело ставила его в затруднительное положение своими бесцеремонными вопросами и замечаниями. Но он давно привык принимать это как нечто неизбежное, а потому и теперь со вздохом покорился.

Сначала разговор шел о предстоящей помолвке Вилли-балда с Тони, и Вальмоден вполне одобрил ее. Потом Регина перешла к другой теме.

– Ну, как же ты чувствуешь себя женатым человеком, Герберт? – спросила она. – Правда, ты порядком запоздал с женитьбой, но лучше поздно, чем никогда, и, надо сказать правду, тебе с твоими седыми волосами чертовски повезло.

Намек на его годы был, очевидно, очень неприятен посланнику, и он ответил несколько резко:

– Не мешало бы быть немножко тактичнее в своих выражениях, милая Регина! Я сам прекрасно знаю, сколько мне лет, но уважение и почет, окружающие жену благодаря мне, в какой-то мере вознаградят ее за разницу в возрасте.

– Ну, мне кажется, приданое, которое она принесла тебе, тоже чего-нибудь да стоит, – заметила Регина. – Ты уже представил жену во дворе?

– Только две недели тому назад, в летней резиденции герцога. Траур по тестю до сих пор не позволял нам выезжать, но зимой мы будем жить открыто, как этого требует мое положение. Я был в высшей степени приятно поражен тем, как Адельгейда держала себя при дворе. Она вела себя в этой совершенно незнакомой ей обстановке так уверенно и спокойно, что это достойно удивления. Я еще раз убедился, как удачен мой выбор. Но мне хотелось бы узнать от тебя, что здесь нового. Прежде всего, как поживает Фалькенрид?

– Ну, об этом ты, кажется, ничего интересного от меня не узнаешь, вы ведь с ним переписываетесь.

– Да, но его письма становятся все короче. Я подробно писал ему о своей женитьбе, а в ответ получил лишь лаконичное поздравление. Вероятно, ты часто видишь его с тех пор, как он служит в военном министерстве, ведь город близко.

Веселое лицо Регины омрачилось; она слегка покачала головой.

– Ты ошибаешься: полковник почти не показывается в Бургедорфе. Он становится все холоднее и неприступнее.

– К сожалению, я это знаю. Но ты всегда была для него исключением, и я надеялся на твое влияние, с тех пор как он опять живет неподалеку от вас. Неужели ты не пробовала возобновить старые отношения?

– Вначале пробовала, но потом оставила все попытки, потому что увидела, что это ему в тягость. Тут ничего не поделаешь, Герберт! Со времени той катастрофы, которую мы пережили вместе с ним, он превратился в камень. Ты несколько раз видел его и знаешь, что в нем все умерло.

– Да, этот мальчишка Гартмут ответит за него перед Богом. Но с тех пор прошло уже десять лет, и я надеялся, что Фалькенрид мало-помалу вернется к жизни.

– Я никогда не надеялась на это, – серьезно сказала Регина. – Эта история подкосила его. Никогда в жизни я не забуду того несчастного вечера в Бургсдорфе, когда мы ждали и ждали, сначала с тревогой, а потом со страхом. Ты сразу же понял, что произошло, но я не хотела допускать такой мысли, а уж о Фалькенриде и говорить нечего. Я будто сейчас вижу, как он стоит у окна, глядя в темноту, бледный, со стиснутыми зубами, а на все наши догадки и опасения отвечает только: «Он придет! Он должен прийти! Он дал мне слово!». А когда Гартмут все-таки не пришел, когда наступила ночь и мы наконец узнали на станции, что они сели в курьерский поезд и уехали, Боже мой, какое лицо было у Фалькенрида, когда он молча, точно окаменелый, повернулся к двери! Я тогда дала себе слово не отходить от него, потому что боялась, что он пустит себе пулю в лоб.

– Плохо же ты знаешь его! – уверенно сказал Вальмоден. – Фалькенрид считает трусостью наложить на себя руки даже в том случае, когда жизнь становится для него пыткой; он

не покинет своего поста, даже потеряв надежду отстоять его. Но что было бы, если бы ему дали тогда выйти в отставку, не берусь судить.

– Я знаю, он подал в отставку потому, что, по его понятиям о чести, не мог продолжать служить после того, как его сын стал дезертиром. Это был шаг, продиктованный отчаянием.

– Конечно. Счастье, что начальство не захотело лишиться такого опытного работника. Начальник генерального штаба лично взялся за это дело и доложил о нем королю; в конце концов было решено отнестись к этому неприятному происшествию как к глупой мальчишеской выходке, жертвой которой мог стать такой заслуженный офицер, как Фалькенрид. Его заставили взять назад прошение об отставке, перевели в отдаленный гарнизон и по возможности замяли дело. Теперь, через десять лет, оно в самом деле всеми забыто.

– Кроме одного человека, – прибавила Регина. – У меня сердце обливается кровью, когда я вспоминаю, кем был когда-то Фалькенрид и кем стал теперь. Конечно, горький опыт, приобретенный им в семейной жизни, сделал его серьезным и необщительным, но все-таки присущая ему теплота и сердечность иногда брали верх, и он становился прежним милым, добрым человеком. Теперь ничего этого нет; он знает только холодное, непоколебимое чувство долга, все же остальное в нем умерло и похоронено. Даже старые дружеские отношения ему в тягость. Нужно оставить его в покое. –

Она вздохнула и, положив руку на плечо брата, закончила: – Пожалуй, ты прав, говоря, что в более зрелом возрасте человек разумнее подходит к выбору жены. Тебе нечего бояться судьбы Фалькенрида, у тебя хорошая жена. Я знавала Штальберга, он пробился в жизни единственно своим умом и трудолюбием и, превратившись в миллионера, все-таки остался честным человеком; Адельгейда же – дочь своего отца. Ты в полной безопасности, и я от души рада твоему счастью.

Маленький охотничий замок Родек, принадлежавший принцу Адельсбергу, находился в двух часах езды от Фюрстенштейна, в глубине леса. Небольшое здание состояло из дюжины комнат, обветшалое убранство которых было теперь наскоро приведено в порядок. Замок уже много лет пустовал и имел довольно заброшенный вид, но стоило выйти из-под темных сосен на освещенную солнцем лужайку и издали посмотреть на старое серое здание с высокой остроконечной черепичной крышей и четырьмя башенками по углам – и заброшенный замок казался сказочным теремком в лесной глуши.

Адельсберги были когда-то богатым княжеским родом; они давно потеряли права на наследство, но сохранили княжеский титул, громадные богатства и обширные поместья. Когда-то многочисленный род имел в настоящее время лишь немногих представителей, а главная ветвь – всего одного, принца Эгона, который, в качестве владельца всех родовых поместий и как близкий родственник герцогского дома по матери, пользовался большим авторитетом среди аристократии страны.

Молодой принц слыл сорванцом; он всегда следовал своим наклонностям, часто весьма эксцентричным, и очень мало заботился о княжеском этикете, когда дело касалось его

очередной фантазии. Правда, отец держал его в ежовых рукавицах, но смерть старого князя очень рано дала возможность Эгону делать все на свое усмотрение.

Молодой князь только что возвратился из путешествия по Востоку, где провел почти два года, и, вместо того, чтобы поселиться в княжеском дворце в столице или в одном из своих замков, отделанных с большим вкусом, изяществом и удобствами для пребывания в них летом и осенью, вздумал посетить маленький полузабытый Родек, который вовсе не был подготовлен к приему хозяина. Старик Штадингер был прав: никогда не следовало спрашивать принца о причинах его поступков, у него все зависело от сиюминутного каприза.

Было солнечное утро осеннего дня. На лужайке стояли два господина в охотничьих костюмах и разговаривали со Штадингером; в стороне, на усыпанной песком дороге, ожидал готовый к отъезду легкий открытый экипаж.

Молодые люди с первого взгляда казались похожими друг на друга. Оба были высокого роста, стройные, сильно загорелые, с веселыми глазами; но, присмотревшись, можно было убедиться, что они совершенно разные. У младшего, которому могло быть около двадцати четырех лет, этот южный цвет лица был только следствием продолжительного пребывания в жарких странах, потому что выющиеся белокурые волосы и голубые глаза обличали в нем немца. Белокурая бородка обрамляла открытое лицо, которое, впрочем, нельзя было назвать классическим: лоб был несколько низок, черты – недо-

статочно правильны; но в этом лице было что-то, что действовало как солнечный свет и подкупало всякого, кто его видел. В лице его товарища не было и следа этого солнечного света, но оно чем-то к себе притягивало. Он был так же строен, как и младший, но выше его, а его кожа была смуглой не только от одного загара. Это была та матовая смуглость, благодаря которой даже цветущие жизнью лица кажутся бледными, а иссиня-черные волосы, падавшие на лоб, еще резче подчеркивали эту кажущуюся бледность. Это лицо с благородными, гордыми, твердыми и энергичными чертами было прекрасно, но под глазами были такие темные круги, какие редко встречаются в таком молодом возрасте. В больших темных глазах было что-то мрачное, говорившее о пылкой, необузданной страстности; в них сверкал огонь, в одно и то же время и отталкивающий и странно притягивающий. Они точно опутывали человека какой-то демонической силой, и вообще во всем облике молодого человека было что-то, жутко влекущее к себе.

– Ничем не могу помочь тебе, Штадингер, – сказал младший. – Присланные вещи должны быть распакованы и помещены, а куда – это твое дело.

– Но, ваша светлость, это абсолютно невозможно! – возразил управляющий. – В Родеке нет больше ни одного свободного уголка. Немалого труда мне стоило разместить прислугу, а теперь, что ни день, приходят новые и новые ящики, и я только и слышу: «Распаковывай, Штадингер! Ищи место,

Штадингер!»». А в это время в других замках целые дюжины комнат стоят пустыми...

– Не ворчи, старый леший, а ищи место! – перебил его молодой принц. – Присланные вещи останутся в Родеке, по крайней мере, пока. В крайнем случае ты уступишь собственную квартиру.

– Конечно, в квартире Штадингера достаточно места, – вмещался второй. – Я сам все вымеряю и распределяю.

– Ему может помочь Ценца, – поддержал принц предложение товарища. – Она ведь дома?

Штадингер смерил спрашивающего взглядом с ног до головы и сухо ответил:

– Нет, ваша светлость, Ценца уехала в город.

– Как же так? Ты ведь хотел, чтобы внучка всю зиму провела в Родеке.

– Я передумал. Дома только моя сестра, старая Рези. Если вам будет угодно воспользоваться ее помощью, господин Роянов, то она сочтет это для себя большой честью.

Роянов бросил на старика недружелюбный взгляд, принц же ворчливо сказал:

– Послушай, Штадингер, ты поступаешь с нами непростительно! Теперь ты отослал даже Ценцу, единственное, на что еще стоило поглядеть; всем женщинам в Родеке перевалило за шестьдесят и они трясут головами, а кухарки, которых ты взял на помощь из Фюрстенштейна, просто оскорбляют все наши понятия о красоте.

– Вашей светлости нет никакой надобности смотреть на них, – возразил Штадингер. – Я позаботился, чтобы они не являлись в замок, но ваша светлость сами изволите заходить на кухню...

– Должен же я время от времени присматривать за прислугой! Впрочем, во второй раз я не пойду на кухню, об этом ты позаботился. Я подозреваю, что ты собрал здесь в честь моего прибытия всех уродов, каких только нашел в бору. И не стыдно тебе, Штадингер?

Старик пристально посмотрел в глаза своему господину и вы: разительно ответил:

– Я нисколько не стыжусь, ваша светлость! Покойный князь, ваш батюшка, отправляя меня сюда на покой, сказал: «Смотри за порядком в Родеке, Штадингер! Я полагаюсь на тебя». Ну, я и смотрел за порядком и в замке, и в своем доме в течение двенадцати лет и буду смотреть за ним и впредь. Не прикажете ли еще чего, ваша светлость?

– Нет, старый грубиян! – воскликнул молодой принц не то смеясь, не то сердито. – Убирайся! Мы не нуждаемся в твоих нравоучениях!

Штадингер поклонился и зашагал прочь. Глядя ему вслед, Роянов насмешливо пожал плечами.

– Удивляюсь твоему терпению, Эгон! Ты чересчур много позволяешь этому человеку.

– Штадингер – исключение, – сказал Эгон. – Он может позволить себе все, и, в сущности, он не так уж неправ, уда-

лив Ценцу. Я думаю, что на его месте и сам сделал бы то же.

– Но ведь этот старик уже не впервые принимается буквально наставлять тебя на путь истинный. Если бы его господином был я, он сию же минуту получил бы отставку.

– Плохо пришлось бы мне, если бы я попробовал дать ему отставку! – засмеялся принц. – Эдакое наследственное старье, которое служит уже третьему поколению и носило тебя в детстве на руках, требует, чтобы с ним обращались почтительно. Мои приказания и запрещения ничего не дадут, Штадингер всегда сделает все так, как ему угодно, да еще прочтет мне нотацию, если ему заблагорассудится.

– Потому что ты это разрешаешь. Я совершенно не понимаю этого.

– Ты и не можешь понимать этого, Гартмут, – Эгон стал серьезным. – Ты знаешь только рабскую угодливость слуг в твоём отечестве и на Востоке. Там слуга кланяется при каждом удобном случае и обкрадывает своего господина, где только может. Штадингер – грубиян каких мало, частенько говорит мне в лицо самые неприятные вещи, но я могу поручить ему сотни тысяч, и ни один пфенниг из них не пропадет, а если Родек будет охвачен пламенем, а я буду в доме, то старик, несмотря на свои семьдесят лет, не задумываясь бросится в огонь спасать меня. У нас в Германии это иначе, чем у вас.

– Да, у вас в Германии! – медленно повторил Гартмут, и его глаза мечтательно устремились в чащу леса.

– Неужели ты все еще так ее не приемлешь? – спросил Эгон. – Сколько мне пришлось просить, чтобы ты поехал со мной, – ты не хотел даже ступить на немецкую землю.

– О, как бы мне хотелось не ступить на нее! – мрачно проговорил Роянов. – Ты знаешь...

– Что с ней связаны для тебя горькие воспоминания? Да, ты говорил мне. Но тогда ты был, вероятно, еще ребенком; неужели старый гнев в тебе еще не улегся? Вообще все, что касается этой истории, ты так упорно скрываешь, что я до сих пор не знаю, что именно...

– Эгон, прошу тебя, оставь! – резко оборвал его Гартмут. – Я раз и навсегда объяснил тебе, что не могу и не хочу отвечать тебе на этот вопрос. Если ты не доверяешь мне, отпусти меня, но этих расспросов и выпытываний я не потерплю.

Эгон только пожал плечами и сказал примирительно:

– Какой ты стал опять раздражительный! Мне кажется, ты прав, утверждая, будто воздух Германии расстраивает тебе нервы; ты совсем другой с тех пор, как приехал сюда.

– Очень может быть! Я сам чувствую, что мучу и тебя, и себя своим настроением, а потому отпусти меня!

– И не подумаю! Неужели я для того с таким трудом заманил тебя сюда, чтобы дать тебе опять улететь? Не проси, Гартмут, я ни за что не отпущу тебя.

– А если я захочу уехать?

– То я удержу тебя вот так, – Эгон невыразимо милым движением обхватил рукой плечи друга, – и спрошу: неуже-

ли у гадкого, упрямого Гартмута хватит духу бросить меня одного! Мы почти два года прожили вместе как братья, делили опасности и удовольствия, и вдруг теперь ты хочешь опять пуститься в путь без меня? Неужели я так мало для тебя значу?

В словах принца звучала такая искренняя просьба, что гнев Роянова тут же рассеялся. По его глазам было видно, что он с не меньшей теплотой отвечал на страстную привязанность к нему молодого принца, хотя в их взаимоотношениях всегда задавал тон.

– Ты думаешь, я поехал бы в Германию в угоду кому-нибудь другому? – тихо спросил он. – Прости, Эгон! Уж такая у меня непостоянная натура, я не могу долго выдержать на одном месте... с самого детства.

– Так научись постоянству здесь, на моей родине. Я, собственно, для того приехал в Родек, чтобы показать тебе его во всей красе. Это старинное здание, притаившееся среди дремучего леса, точно сказочный замок, полно поэзии, которой ты не найдешь ни в одном из остальных моих замков. Я знаю твой вкус. Однако мне пора отправляться! Ты так-таки и не поедешь со мной в Фюрстенштейн?

– Нет, я буду наслаждаться твоей хваленой поэзией, которая, очевидно, успела уже надоесть тебе, потому что ты собираешься наносить визиты.

– Да, я не поэт, как ты, и не в состоянии мечтать целыми днями, – смеясь возразил Эгон. – Мы целую неделю ве-

ли жизнь настоящих отшельников, а мне нужно общество. Лесничий Шонау – почти единственный наш сосед и притом прекраснейший человек и веселый малый.

Принц знаком подозвал ожидавший его экипаж, пожал руку товарищу и уехал. Роянов некоторое время смотрел ему вслед, а потом повернулся и пошел по одной из дорог, ведущих в лес.

За плечами у него было ружье, но он и не помышлял об охоте, а шел, погруженный в думы, все дальше и дальше без всякой цели, не глядя, куда идет.

Принц Адельсберг был прав: он знал привычки своего друга. Гартмутом овладели чары поэзии леса. Наконец он остановился и прислонился к одному из деревьев, но тень, омрачавшая его лицо, не исчезла. В его прекрасных чертах было что-то беспокойное, безотрадное, и вся красота окружающей природы была не в состоянии изменить это выражение.

Гартмут видел эти места впервые. Его родина была далеко отсюда, в северной Германии, здесь ничто не напоминало ему о прошлом; и все-таки именно здесь в нем проснулось чувство, давно, казалось, умершее в его душе, молчавшее все те годы, когда он странствовал по суше и морям, когда волны жизни вздымались вокруг него, и он жадно, полными глотками пил из чаши свободы, ради которой пожертвовал всем.

Старый немецкий лес! Он шелестел здесь, на юге, совер-

шенно так же, как там, на севере; по этим елям и дубам пробежало то же дыхание ветра и шептало в вершинах сосен; это был тот же голос, который был когда-то хорошо знаком мальчику, лежавшему в лесу на» его мшистом ковре. С тех пор он слышал много других голосов: манящих, ласкающих, опьяняющих и воодушевляющих, но этот голос звучал для него удивительно приятно – это со своим блудным сыном говорила родина.

Вдруг в кустах что-то зашуршало. Гартмут равнодушно оглянулся в ту сторону, думая, что там пробежала какая-то дичь, но вместо дичи сквозь ветви увидел светлое платье; по узкой тропинке ему навстречу шла дама. Она остановилась, очевидно, не уверенная, что идет по той дороге, по какой следует. Роянов вздрогнул. Эта неожиданная встреча вывела его из мечтательного настроения. Незнакомка также заметила его и казалась также удивленной; но она смутилась лишь на мгновение, затем подошла ближе и сказала с легким поклоном:

– Не можете ли вы показать мне дорогу в Фюрстенштейн? Я не местная и заблудилась во время прогулки. Боюсь, что я сильно отклонилась в сторону.

Гартмут быстрым взглядом окинул даму и сразу решил предложить ей себя в проводники. Правда, он мог лишь приблизительно сообразить, в каком направлении находился замок, но это очень мало его смущало. Он с изысканной вежливостью поклонился.

– Я к вашим услугам. До Фюрстенштейна, действительно, довольно далеко, и вы никак не найдете дороги одна, а потому я должен просить вас взять меня в проводники.

Дама, очевидно, рассчитывала, что ей просто покажут дорогу, и предложение проводить ее было не совсем ей по вкусу, но, с одной стороны, она, вероятно, боялась снова заблудиться, а с другой – безупречная вежливость, с которой было сделано предложение, не оставляли ей выбора. После минутного колебания она слегка наклонила голову и ответила:

– Я буду вам очень благодарна. Пойдемте.

Роянов плотнее подтянул ремень своего ружья, указал на узкую тропинку, приблизительно державшуюся направления, в котором находился Фюрстенштейн, и пошел по ней, решив оправдать свою репутацию проводника, потому что приключение показалось ему романтическим.

Особа, доверившаяся его покровительству, была очень хороша собой. Нежный овал лица, высокий лоб, обрамленный белокурыми волосами, черты лица – все отличалось идеальной правильностью; но в строгих пропорциях этого лица было что-то ледяное, а ярко выраженные энергия и сила воли не только не смягчали этого впечатления, но еще увеличивали его. Этой даме могло быть, самое большее, лет восемнадцать-девятнадцать, но в ней не было и капли той несказанной прелести, которая обычно свойственна этому юному возрасту, ни следа веселости и непринужденности, придающих очарование молодому существу, не тронутому жизнью

с ее проблемами, и делающих его похожим на цветок, только что раскрывающийся навстречу солнцу. Ее большие голубые глаза смотрели так холодно и серьезно, точно вовсе не были знакомы с девичьими мечтами, и той же гордой, холодной серьезностью были проникнуты все ее манеры, свидетельствовавшие о том, что незнакомка принадлежала к высшему кругу общества.

Роянов имел достаточно времени рассмотреть ее, пока шел то впереди, то позади нее, отклоняя в сторону низко нависшие ветви и предупреждая о неровностях почвы. Узкую лесную тропинку нельзя было назвать удобной. Платье незнакомки не раз цеплялось за колючий кустарник, вуаль ее шляпы то и дело повисала на ветвях, а мшистая почва была очень сырой, и местами было просто грязно; но дама переносила все это с полнейшим равнодушием, что не мешало Гартмуту чувствовать, что он не особенно блистательно выполняет принятую на себя роль проводника.

– Мне очень жаль, что приходится вести вас по такой неудобной дороге, – любезно начал он. – Боюсь, что вы устанете. Но мы в лесу, и выбора нет.

– Я не так легко устаю, – последовал спокойный ответ, – и вообще мало забочусь об удобствах дороги, лишь бы она вела к цели.

Эти слова в устах девушки звучали как-то странно. Роянов, немного насмешливо улыбнувшись, повторил:

– Лишь бы она вела к цели! Совершенно справедливое

замечание, я и сам того же мнения. Но дамы обычно думают иначе, они, как правило, хотят, чтобы их вели в обход или же осторожно переносили через препятствия.

– Неужели? Есть женщины, которые предпочитают идти одни и не позволяют вести себя, как ребенка.

– Это уже исключение. Я очень благодарен случаю, доставившему мне удовольствие встретить такое восхитительное исключение...

Гартмут собирался сказать весьма смелый комплимент, но вдруг замолчал, потому что голубые глаза посмотрели на него с такой строгостью, что слова застряли у него в горле.

В эту минуту вуаль снова зацепилась за колючую ветку. Дама остановилась, но не успел ее спутник протянуть руку, чтобы отцепить нежную ткань, как она быстрым движением головы освободилась сама; куски вуали повисли на кусте, но зато посторонняя помощь оказалась совершенно излишней.

Роянов прикусил губу: дело принимало совсем другой оборот, чем он ожидал. Он собирался смело разыграть роль любезного кавалера, и вдруг при первой же попытке начать любезничать его поставили на место одним взглядом! Ему весьма ясно показали, что он должен быть только проводником и никем больше. Кто была эта девушка, которая в восемнадцать или девятнадцать лет уже держала себя с уверенностью великосветской дамы и умела быть недосягаемой? Он решил во что бы то ни стало выяснить этот вопрос.

Они вышли на прогалину, по другую сторону которой

снова начинался лес. Нелегко было найти здесь дорогу человеку, мало знакомому с местом, но теперь Гартмут уже окончательно не мог признаться в своем неведении. Он уверенно придерживался прежнего направления и выбрал одну из дорог, по которой через лес возили дрова. Должны же они были когда-нибудь выбраться на такое место, с которого будут видны окрестности, и они смогут сориентироваться.

Более широкая дорога теперь позволяла Гартмуту спокойно идти рядом, и он сразу воспользовался этим, чтобы завязать разговор, до сих пор немислимый на узкой тропинке.

– Я еще не имел чести представиться вам, – начал он. – Моя фамилия Роянов, а в Родек я приглашен к принцу Адельсбергу, который имеет счастье быть вашим соседом. Ведь вы живете в Фюрстенштейне?

– Нет, я тоже здесь только в гостях, – ответила молодая дама.

По-видимому, она осталась равнодушна как к соседству принца, так и к имени своего спутника; во всяком случае она не нашла нужным назвать свое имя и ответила на представление Гартмута гордым аристократическим кивком головы, что было, очевидно, ее обычной манерой поведения.

– А, так вы, вероятно, живете в столице и воспользовались прекрасной осенней погодой для того, чтобы прокатиться?

– Да.

Этот лаконичный ответ не поощрял к дальнейшему разговору, но Роянов был не из тех, кто позволил бы себя оттолк-

нать. Он привык всюду производить впечатление, особенно на женщин, и чувствовал себя почти оскорбленным тем, что в данном случае это не удалось. Но именно это и подстрекало его вызвать свою спутницу на разговор, который ее явно не интересовал.

– Как вам нравится Фюрстенштейн? – продолжал он. – Я видел замок только издали, но он единственный во всей окрестности. Впрочем, надо иметь особый вкус, чтобы найти подобный ландшафт красивым.

– А у вас, кажется, другое мнение?

– По крайней мере, я не люблю однообразия, а здесь, куда ни взглянешь, всюду одно и то же: лес и лес, ничего кроме леса; иной раз приходишь в отчаяние.

В тоне Гартмута слышался сдержанный гнев. Бедный немецкий лес был виноват в том, что он мучил вернувшегося беглеца своим шорохом и шелестом, так что тот уже не раз готов был снова обратиться в бегство. Он был не в состоянии выносить эту серьезную, монотонную мелодию далекого прошлого, которую напевали ему вершины деревьев. Но его спутница услышала в его замечании только насмешку.

– Вы иностранец? – спокойно спросила она.

По лицу Гартмута опять пробежала мрачная тень, и он холодно ответил:

– Да!

– Я так и думала, судя по вашей фамилии и внешности. В таком случае ваше суждение понятно.

– По крайней мере, это откровенное суждение, – сказал Гартмут, рассерженный упреком, который почувствовал в последних словах. – Я немало повидал на свете и только что вернулся с Востока. Кто знает океан с его лучистой, прозрачной синевой, с его грандиозными бурями, кто наслаждался роскошью тропического мира и упивался яркостью его красок и игрой света, тому эти вечнозеленые чащи лесов, все эти немецкие ландшафты вообще покажутся только холодными и бесцветными.

Снисходительное пожатие плеч говорившего, казалось, вывело его спутницу из хладнокровного спокойствия; по ее лицу пробежало выражение недовольства, и она с волнением ответила:

– Это дело вкуса. Я не видела Востока, но все же знаю хоть южную Европу. Эти пронизанные солнцем, блестящие красками ландшафты вначале опьяняют, но потом утомляют; им недостает свежести, силы. В такой обстановке можно наслаждаться и мечтать, но нельзя жить и работать. Впрочем, к чему спорить? Вы не понимаете нашего немецкого леса.

Гартмут улыбнулся с несомненным чувством удовлетворения – ему удалось-таки проломить лед сдержанности своей спутницы. Вся его любезность скользнула по броне ее равнодушия, не произведя никакого действия; теперь же он видел, что существует хоть что-нибудь, что может заставить оживиться эти прекрасные, холодные черты, и находил особенное наслаждение в том, чтобы вызывать это оживление.

Ему было безразлично, что он рисковал оскорбить ее при этом; это доставляло ему удовольствие.

– Это звучит упреком, но, к сожалению, я должен принять его, – сказал он, не скрывая насмешки в голосе. – Может быть, я, действительно, не понимаю вашего леса: я привык подходить и к природе, и к людям с другой меркой. Жить и работать? Это зависит от того, что подразумевать под этими словами. Я несколько лет жил в Париже, этом ослепительном центре цивилизации, где жизнь переливается тысячами потоков. Кто привык плыть по таким бурным волнам, тот уже не может примириться с узкими, мелочными рамками существования, со всеми предрассудками, со всем педантизмом и филистерством, которые здесь, в этой честной Германии, называются жизнью.

В презрительном выражении, которое Гартмут придал последним словам, было что-то вызывающее, и он достиг цели. Незнакомка вдруг остановилась и смерила его взглядом с головы до ног. В ее глазах блеснула молния гнева. Казалось, горячее возражение готово было сорваться с ее языка, но она сдержалась и ответила с ледяной гордостью:

– Вы забываете, что говорите с немкой. Позвольте напомнить вам об этом.

Услышав это резкое замечание, Гартмут покраснел, хотя оно относилось лишь к чужестранцу, забывшему деликатность, обязательную для гостя. Жгучий стыд вдруг охватил Гартмута, но он был настолько светским человеком, что тот-

час овладел собой и проговорил с легким полунасмешливым поклоном:

– Прошу извинить меня. Я полагал, что мы только обмениваемся общими взглядами, и каждая сторона сохраняет за собой право свободно излагать свое мнение. Крайне сожалею, если оскорбил вас.

Гордое и презрительное движение головы собеседницы показало ему, что он не в состоянии оскорбить ее; она чуть заметно пожала плечами.

– Я не имею ни малейшего намерения повлиять на ваше мнение, но наши точки зрения в этом вопросе так различны, что мы в любом случае сделаем лучше, если прекратим этот разговор.

Гартмуту тоже не хотелось продолжать его. Теперь он знал, что эти холодные голубые глаза могут загореться; он хотел этого и добился своего, но дело кончилось иначе, чем он думал. Он искоса бросил почти враждебный взгляд на стройную фигуру шедшей с ним рядом девушки, потом его глаза сердито устремились в зеленую чащу леса, который он только что так горько высмеивал.

Тишина леса, тронутого первым дыханием осени, удивительно успокаивала. Там и сям среди зелени мелькали золотистые и красные листья, но сам лес был еще свежим и душистым. Под сенью вековых деревьев стояла глубокая, прохладная тень; местами вдруг открывалась лужайка, вся залитая золотыми лучами солнца, в которых сверкали и перели-

вались яркими красками полевые цветы, еще попадавшие здесь на открытых местах; кое-где вдали блестела поверхность тихого маленького озера, одиноко затерявшегося среди дремучего леса. Тишина нарушалась едва слышным шорохом могучих вершин деревьев да жужжанием насекомых. Это были те таинственные голоса, которые раздаются лишь в тиши уединения и из которых слагается сладкая, мечтательная песнь леса. Он непреодолимо притягивал, звал к себе этой песнью, этими зелеными чащами, которые расступались перед путниками все дальше и дальше, как будто были намерены навсегда удержать в своих объятиях двух людей, попавших в их царство.

Вдруг на их пути встало неожиданное препятствие. С густо поросшего лесом холма, шумя и пенясь, бежал широкий лесной ручей, весело и резво извиваясь между камнями и кустами. Роянов замедлил шаг и оглянулся; нигде не было видно мостика или хотя бы доски. Он повернулся к своей спутнице.

– Кажется, мы попали в неприятное положение – ручей совершенно преградил нам путь. Обычно через него легко перебраться по тем мшистым камням на дне, но вчерашний дождь совсем затопил их.

Его спутница тоже остановилась, ища глазами место, где можно было бы перейти.

– Нельзя ли перебраться там? – спросила она, указывая вниз по течению ручья.

– Нет, там еще глубже и вода течет быстрее, переправляться надо только здесь; вы позволите мне перенести вас?

Предложение было сделано безупречно вежливо, но глаза Роянова при этом блеснули торжеством; случай мстил за него этой недотроге, которая не хотела принять его помощь даже для того, чтобы отцепить вуаль от колючей ветки. Теперь она, безусловно, должна была принять его услуги, должна была позволить ему перенести себя на руках. Он подошел к ней, как будто ее согласие само собой разумелось, но она отступила.

– Нет, благодарю вас!

Гартмут иронически улыбнулся. Теперь он был господином положения и надеялся им остаться.

– Прикажете вернуться назад? – спросил он. – Это будет, по крайней мере, часовой обход, а тут мы через несколько минут будем на другой стороне. Вы можете довериться мне без страха, переправа вовсе не опасна.

– Я тоже так думаю и потому попробую перейти сама.

– Сами? Это невозможно! Ведь ручей глубже, чем вы думаете! Вы насквозь промокнете и, кроме того... это решительно невозможно!

– Я не неженка и не так легко простуживаюсь. Пожалуйста, идите вперед, я пойду по вашим следам.

Желание было выражено так повелительно, что противоречить было бесполезно. Гартмут молча поклонился и пошел через воду, которая, конечно, не могла особенно повредить

его высоким охотничьим сапогам. Ручей на самом деле был довольно глубокий и быстрый, так что даже ему трудно было удержаться на камнях; на его губах играла легкая насмешливая улыбка, когда он, стоя на противоположном берегу, ожидал свою спутницу. Он был уверен, что если она и решится попробовать перебраться самостоятельно, то быстрое течение испугает ее, она не выдержит и в конце концов позовет его на помощь, несмотря на все свое нежелание.

Она не колеблясь последовала за ним и уже стояла в воде в изящных, тонких ботинках, а между тем вода была очень холодной. Однако молодая женщина как будто не чувствовала холода; обеими руками придерживая платье, она медленно и осторожно, но совершенно уверенно продвигалась вперед, пока не дошла до середины ручья.

Однако, чтобы удержать равновесие среди журчащего, пенящегося потока, нужна была твердая мужская рука, и узкая, нежная женская ножка напрасно искала опору на скользких камнях; сильно мешали высокие каблуки, так же как и платье, подол которого уже окунулся в воду. Храбрая путешественница явно утратила прежнюю самоуверенность; она несколько раз оступилась, покачнулась, наконец остановилась и бросила беспомощный взгляд на другой берег, где стоял Роянов, твердо решивший не двигаться с места, пока она не позовет на помощь.

Вероятно, она прочла это намерение в его глазах, и это вдруг вернуло ей силы. Одно мгновение она стояла не дви-

гаясь, но потом на ее лице появилась прежняя уверенность. С камней, которые были своего рода мостиком, она ступила на дно и очутилась по колени в воде; дно ручья оказалось гораздо более надежной опорой, и она уже без всяких препятствий дошла до берега. Здесь, вместо протянутой руки Гартмута, она схватилась за ветку дерева и выбралась на сушу.

Она сильно вымокла, вода ручьем стекала с ее платья, тем не менее она обратилась к своему спутнику с полнейшим спокойствием:

– Пойдемте дальше. Очевидно, Фюрстенштейн уже недалеко.

Гартмут не ответил; в нем закипела ненависть к этой женщине, которая предпочла скорее окунуться в холодную воду, чем довериться его рукам. Он, гордый, избалованный человек, особенно сильно чувствовал унижение, которому его подвергли, и был близок к тому, чтобы проклинать эту встречу.

Они пошли дальше. Время от времени Роянов бросал взгляд на мокрый подол платья, волочившийся по земле рядом с ним, оставляя за собой мокрый след; впрочем, его внимание было обращено главным образом на местность и лес, который, действительно, как будто начинал редеть. Должна же была наконец кончиться эта чаща!

Предположение Гартмута оправдалось. Минут через десять они уже стояли на небольшой возвышенности, откуда открывался вид на окрестности. За морем леса виднелись

башни Фюрстенштейна, а к подошве замковой горы вела довольно широкая проезжая дорога, которую можно было легко проследить глазами.

– Вот и Фюрстенштейн! – сказал Гартмут. – Впрочем, до него еще с полчаса ходьбы.

– О, это уже пустыки! – быстро перебила его спутница. – Я очень благодарна вам за сопровождение, но теперь сбиться с дороги уже невозможно, и мне не хотелось бы больше утруждать вас.

– Как вам угодно! – холодно проговорил Роянов. – Если вы желаете распрощаться со своим провожатым здесь, то он не станет дольше навязывать вам свое общество.

Упрек был понятен.

– Я в самом деле чересчур долго злоупотребляла вашей любезностью, – уклончиво ответила незнакомка. – Однако, так как вы отрекомендовались мне, то и мне следует хоть на прощанье сказать свое имя... Адельгейда фон Вальмоден.

Гартмут слегка вздрогнул; на его лице вспыхнул мимолетный румянец, и он медленно повторил:

– Вальмоден?

– Эта фамилия вам знакома?

– Мю кажется, я слышал ее раньше, но это было в... северной Германии.

– Очень может быть, потому что это моя родина, а также родина моего мужа.

На лице Роянова изобразилось самое недвусмысленное

изумление, когда та, кого он считал молодой девушкой, оказалась замужней женщиной; но он, учтиво поклонившись, произнес:

– В таком случае прошу извинить меня за то, что я неправильно называл вас; я не подозревал, что вы замужем. Но я не имел чести знать вашего супруга, потому что господин, о котором мне рассказывали, и тогда уже был немолод. Он был дипломатом и, если не ошибаюсь, его звали Гербертом фон Вальмодемом.

– Совершенно верно, мой муж в настоящее время – посланник при здешнем дворе. Однако он будет беспокоиться, и мне не следует дольше задерживаться. Еще раз благодарю вас! – и молодая женщина, слегка кивнув головой Роянову, пошла по дороге, ведущей вниз.

Гартмут стоял не двигаясь и смотрел ей вслед; его лицо было покрыто зеленоватой бледностью. Значит, все-таки... Не успел он ступить на немецкую землю, как тут же услышал знакомое имя и вспомнил давние отношения, которые были ему по меньшей мере неприятны.

Герберт фон Вальмодем, брат Регины фон Эшенгаген, опекун Виллибальда и друг юности... Роянов резко оборвал ход своих мыслей, потому что в его сердце будто вонзилась острая игла. Как будто отталкивая от себя что-то, он выпрямился, и на его губах появилась сардоническая улыбка.

– Дядюшка Вальмодем сделал прекрасный выбор, – проворкотал он почти вслух. – Видно, ему вообще везет. У него

уже давно должны быть седые волосы, а он еще обзавелся молодой и красивой женой. Правда, посланник в любом случае – партия, а Адельгейда фон Вальмоден рождена для того, чтобы быть ее превосходительством. Так вот откуда это холодное аристократическое высокомерие, которое не удоставляет снисходить до простых смертных! Очевидно, она прошла дипломатическую школу у своего почтенного супруга, который выдрессировал свою избранницу сообразно ее высокому положению. Он достиг превосходных результатов! – Его глаза все еще следили за молодой женщиной, уже спустившейся с холма, и между бровями появилась глубокая морщина. – Если я где-нибудь встречу с Вальмодемом, то он наверняка узнает меня. Если он скажет ей правду, если она узнает, что было, и опять посмотрит на меня так презрительно... – В порыве ярости он топнул ногой и горько расхохотался. – Ах, что мне за дело до этого! Что может знать эта белокурая, голубоглазая порода людей с ленивой, холодной кровью о пылком стремлении к свободе, о бурях страстей, о жизни вообще? Пусть ломают шпагу над моей головой! Я не боюсь этой встречи и сумею выдержать ее!

И, гордым, упрямым движением закинув голову назад, Гартмут отвернулся от тонкой женской фигуры, все еще видневшейся на проезжей дороге, и пошел назад в лес.

8

Семейное торжество, ради которого и приехал Вальмоден с женой, а именно обручение владельца Бургсдорфа с Антонией фон Шонау, было отпраздновано в доме главного лесничего по обычной программе.

Молодые люди давно знали, что родители предназначают их друг для друга, и были совершенно согласны с их планом. Как примерный сын, Виллибальд все еще придерживался мнения, что выбор его будущей подруги жизни касается только его матери, и терпеливо ждал, когда она найдет нужным обручить его; но все-таки ему было очень приятно, что он должен жениться именно на двоюродной сестре. Он знал ее с детства, они вполне сходились во вкусах, и, что главное, она не ждала от помолвки никакой романтичности. При всем своем желании Вилли не смог бы выполнить такое требование, если бы ей вздумалось заявить о нем. Со своей стороны Тони проявила благоразумие, на которое надеялась ее тетка; кроме того, Вилли очень понравился ей, а перспектива стать хозяйкой громадного Бургсдорфа нравилась ей еще больше. Словом, все было как нельзя более благополучно.

Обрученные сидели в гостиной, где стоял рояль, и Антония по настоянию отца, который желал показать гостям, что его дочь не только умеет вести хозяйство, но и выучилась кое-чему в пансионе, развлекала жениха музыкой; сама же

она считала музыку очень скучным и совершенно ненужным занятием. Лесничий вышел с невесткой на террасу слушать игру дочери, но вместо этого они снова затеяли ссору, хотя начали с самого мирного разговора о счастье своих детей.

– Я просто не знаю, что и думать о тебе, Мориц! – воскликнула Регина, покраснев, как пион. – Ты как будто совсем не понимаешь, до какой степени неприлично это знакомство! Я тебя спрашиваю, кто такая эта подруга Тони, которая должна приехать в Вальдгофен, а ты с самой спокойной миной отвечаешь, что она певица и недавно поступила на сцену придворного театра! Комедиантка! Театральная принцесса! Одно из тех легкомысленных созданий...

– Пожалуйста, не горячись, Регина! Ты говоришь так, точно бедная девочка уже безвозвратно погибла лишь потому, что стала актрисой.

– Да так оно и есть! Кто раз попал в этот Содом, тому уже нет спасения; он так там и пропадет.

– Чрезвычайно лестно для нашего придворного театра! А между тем мы все ходим туда.

– Как зрители! Это совсем другое дело, хотя я всегда была даже против этого. Я очень редко пускала Вилли в театр, да и то он ходил только со мной. Я добросовестно исполняла свой материнский долг, оградив сына от всякого соприкосновения с опасными кругами общества; ты же подвергаешь его будущую жену их отравляющему влиянию. Это возмутительно!

Регина почти кричала, отчасти от негодования, отчасти же для того, чтобы ее можно было расслышать, потому что музыкальные упражнения в гостиной, двери которой были раскрыты, были несколько шумными. Молодая музыкантша обладала довольно жестким туше¹, и ее исполнение напоминало до известной степени стук топора по очень твердому дереву. Разговаривать тихо под эту музыку было совершенно немыслимо.

– Да дай же толком объяснить тебе суть дела! – унимал невестку лесничий. – Я уже говорил тебе, что это – исключительный случай. Мариетта Фолькмар – внучка нашего милого старика-доктора в Вальдгофене. В результате несчастного случая он потерял сына, который был еще совсем молодым; на следующий год его вдова последовала за мужем, а ребенок перешел на попечение дедушки. Это случилось десять лет тому назад, как раз когда я был переведен в Фюрстенштейн. Доктор Фолькмар стал моим домашним врачом, а его внучка – подругой моих детей, а так как школа в Вальдгофене очень плохая, то я предложил малютке заниматься вместе с ними; отсюда началась эта дружба. Позднее, когда Тони на два года уехала в пансион, а Мариетта – в город для получения музыкального образования, ежедневные встречи прекратились, но Мариетта всегда приезжает к нам, когда гостит у деда, и я не вижу, на каком основании я мог бы запретить

¹ Туше – свойственная каждому пианисту манера удара по фортепианному клавишу, придающая особый оттенок извлекаемому звуку.

девушке бывать у нас, пока она живет честно и прилично.

Регина выслушала это объяснение, не изменяя своей строгой мины судьбы, и насмешливо улыбнулась.

– Честно и прилично, будучи на сцене! Кто же не знает, что там делается. Кажется, ты относишься к этому так же легко, как этот доктор Фолькмар. На вид он такой почтенный со своими седыми волосами и в то же время допускает, чтобы молодая душа, отданная ему на попечение, шла стезей греха.

Шонау сделал нетерпеливое движение.

– Вообще, ты умная женщина, Регина, но в данном случае ты не права. Театр и все, что имеет к нему отношение, с давних пор у тебя в опале. Доктору нелегко было на это решиться; да и вообще тому, кто, как мы с тобой, сидит в теплом гнезде и может щедро обеспечить своих детей, не следовало бы так поспешно судить родителей, которые испытывают крайнюю нужду. Фолькмар, несмотря на свои семьдесят лет, трудится день и ночь, но наш край беден, и практика приносит ему мало дохода, а после его смерти Мариетта останется совсем без средств к существованию.

– Так пусть бы сделал из нее гувернантку или компаньонку², по крайней мере, это приличное занятие и обеспечит ей кусок хлеба.

– Но зато жалкий кусок, от которого, Боже, избави! Из-

² Компаньонка – женщина, которую нанимали в барский дом для развлечения или сопровождения куда-либо дам и девиц.

вестное дело, как обращаются с этими беднягами, как их эксплуатируют! Если бы дорогую моему сердцу девушку ожидала такая судьба и если бы в то же время я слышал со всех сторон, что ее горло – настоящий клад и у нее блестящее будущее, то и я предпочел бы отпустить ее на сцену, можешь быть в этом уверена!

На одно мгновение Регина окаменела от испуга, а потом торжественно произнесла:

– Мориц, ты заставляешь меня содрогаться!

– Сделай одолжение! Но если Мариетта все-таки приедет в Фюрстенштейн, я не оттолкну ее, а также ничего не имею против того, чтобы Тони отправилась к ней в Вальдгофен. Вот тебе и весь сказ!

Шонау кричал изо всех сил, потому что его дочь в это время так колотила по клавишам, что струны могли вот-вот лопнуть. В пылу ссоры лесничий не замечал этого так же, как и его невестка; она ответила самым резким тоном:

– Счастье, что Тони скоро выйдет замуж, тогда этой дружбе с театральной принцессой наступит конец! В нашем честном Бургедорфе не станут терпеть таких гостей, и Вилли не позволит жене продолжать переписку, которая сейчас, кажется, в полном разгаре.

– То есть ее не позволишь ты, – насмешливо возразил лесничий. – Вилли ничего не может сам ни позволять, ни запрещать, он все делает по указке мамыши. Собственно говоря, с твоей стороны непростительно до сих пор водить на помочах

сына, который стал уже женихом, а скоро будет и женатым человеком.

– Полагаю, что я больше тебя осознаю свою ответственность. Уж не собираешься ли ты упрекать меня в том, что я воспитала сына в почтении и любви к матери?

– Полно!.. Материнская любовь имеет границы, за которыми начинается просто тирания! Своей вечной опекой ты превратила Вилли в совершеннейшего дурака; даже предложение он не мог сделать самостоятельно. Когда тебе показалось, что эта история тянется слишком долго, ты сейчас же вмешалась. «К чему эти церемонии, дети? Вы должны пожениться, родители согласны, я вас благословляю, так поцелуйтесь, и дело с концом!». Вот твоя точка зрения! Я тоже был воспитан в почтении к родителям, но если бы они вздумали вмешаться в мое объяснение с невестой, то услышали бы от меня что-нибудь весьма непочтительное, а этот мальчишка Вилли спокойно отнесся к твоему вмешательству; мне кажется, он был даже рад, что ему нет надобности объясняться невесте в любви.

Возбуждение обоих дошло до своего апогея, а потому было весьма кстати, что шум музыки в гостиной в это время дошел до таких невероятных пределов, что невозможно было расслышать собственный голос. У Тони была такая сила в руках, что во время ее игры казалось, словно целый полк солдат несется в атаку. Даже отцу пьеса показалась слишком громкой; он внезапно оборвал разговор и, войдя в комнату,

сердито сказал:

– Ну, Тони, будет разбивать новый рояль! Что это ты играешь?

Тони, сидя за роялем, трудилась в поте лица; неподалеку от нее, на маленькой софе, сидел ее жених, опустив голову на руку и закрыв ею глаза, очевидно, полностью погруженный в музыку. Услышав вопрос отца, девушка обернулась и ответила как всегда сонным голосом:

– Марш янычар, папа. Я думала, что он доставит удовольствие Вилли, ведь Вилли тоже был на военной службе.

– Вот как! Только, к сожалению, он служил в драгунах, – пробурчал Шонау, направляясь к своему будущему зятю, который, казалось, не оценил по достоинству нежного внимания невесты, потому что ничем не выразил признательности. – Что ты на это скажешь, Вилли? Ты слышишь? Право, мне кажется, он спит!

Его предположение оказалось совершенно справедливым. Под гром «Марша янычар» Вилли безмятежно задремал и теперь спал так крепко, что не проснулся, даже когда с ним заговорили. Это показалось слишком невежливым даже его матери, тоже вошедшей в комнату; она грубо схватила его за плечо.

– Вилли, это что значит? Как тебе не стыдно!

Владелец майората, которого со всех сторон толкали и осыпали бранью, наконец проснулся и заспанными глазами оглянулся вокруг.

– Что такое? Что надо? Да, это было очень хорошо, милая Тони!

– Оно и видно! – воскликнул лесничий, раздражаясь сердитым хохотом. – Не трудись больше играть ему, дитя мое! Пойдем, дадим твоему жениху выспаться. Однако, надо признаться, крепкие же у него нервы!

Он взял дочь под руку и вышел с ней из комнаты, в то время как на бедного Виллибальда изливался поток материнского гнева. Регина не щадила сына и, как бы в доказательство справедливости упреков зятя, бранила жениха, а в недалеком будущем женатого человека, как мальчишку-школьника.

– Это превосходит все, что только можно себе представить! – с негодованием закончила она. – Твой покойный отец тоже был не мастер ухаживать, но если бы он заснул у меня на второй день после обручения, в то время как я играла для него, я разбудила бы его не особенно ласково. Сию же минуту ступай к невесте и извинись! Она совершенно права, если чувствует себя обиженной.

С этими словами она схватила его за плечи и толкнула к двери. Виллибальд принимал все это с горестным и смиренным видом, потому что и сам был совершенно перепуган тем, что заснул так не вовремя; но это было свыше его сил: он устал, а музыка была чрезвычайно скучной. Совершенно убитый, он вошел в соседнюю комнату, где у окна стояла его невеста, в самом деле немножко обиженная.

– Милая Тони, не сердись! – начал он запинаясь. – Было так жарко... а твоя прекрасная игра действовала так успокоительно...

Тони обернулась. Для нее было новостью, что «Марш янычар», да еще в ее исполнении, мог действовать успокоительно, но когда она увидела сокрушенную мину жениха, стоявшего перед ней в позе кающегося грешника, то ее добродушие взяло верх, и она протянула ему руку.

– Я не сержусь, Вилли, – просто сказала она. – Я сама не люблю этой глупой музыки. Когда мы будем в Бургсдорфе, то станем заниматься чем-нибудь поумнее.

– Да, чем-нибудь поумнее! – радостно подхватил Вилли. – Какая ты добрая, Тони!

Регина фон Эшенгаген, вошедшая в комнату вскоре после сына, застала молодых людей в полнейшем согласии и занятыми в высшей степени полезным разговором о молочном хозяйстве, которое велось в южной Германии несколько иначе, чем в Бургсдорфе. Эта тема не усыпляла Вилли, и мать поздравила себя с прекрасной невесткой, которая нисколько не обиделась.

Впрочем, Виллибальд сразу нашел случай отблагодарить невесту за ее снисходительность. Тони пожаловалась, что не получила посылки, которая необходима ей к вечернему столу. Она пришла в Вальдгофен на почту вовремя, но, должно быть, в адресе была какая-то ошибка, потому что ее не выдали посланному за ней человеку; послать же его вторич-

но не удалось, потому что лесничий отправил его в какое-то другое место; остальная прислуга вся занята, а между тем время не терпит. Виллибальд предложил лично устроить это дело, и это предложение пришлось чрезвычайно по сердцу его невесте.

Вальдгофен – самый крупный населенный пункт данной местности, но, в сущности, он был лишь маленьким городком.

Он находился в получасе езды от Фюрстенштейна и служил своего рода центром окрестных сел и деревень.

В полуденные часы, когда на улицах не было ни души, Вальдгофен казался пустынным и скучным; так думал и Вилли Эшенгаген, плетясь Через базарную площадь с почты. Он уладил дело, ради которого пришел в Вальдгофен, и нашел человека, который взялся отнести ящик в замок. Так как улицы не представляли ничего интересного, то он свернул в переулок между садами, выходявший прямо на шоссе. Дорога была грязная, но Виллибальд не обращал на это внимания и беззаботно шел дальше. Он чувствовал себя прекрасно, находил, что быть женихом очень приятно и несколько не сомневался, что будет счастлив со своей доброй Тони.

Навстречу ему показался экипаж, с трудом тащившийся по грязи и, очевидно, везший путешественников, потому что сзади лежал большой чемодан, пристегнутый ремнями, а внутри тоже виднелись вещи. Виллибальд не мог не удивиться, что путешественники выбрали именно этот переулок; ка-

залось, кучер тоже был очень недоволен дорогой. Он обернулся и начал говорить с пассажиром, которого пока не было видно:

– Ну, уж теперь, право, дальше не проедешь! Колеса тонут в грязь. Делай теперь, что хочешь!

– Да ведь уже недалеко, – слышался из экипажа звонкий голос. – Еще каких-нибудь несколько сот шагов. Постарайтесь!

– Нет, по такой грязи не проедешь, надо вернуться.

– Но я не хочу ехать через город. Если ехать дальше невозможно, то остановитесь, я выйду.

Дверца открылась, и маленькая фигурка выскочила из экипажа так ловко, что одним прыжком перелетела через грязь на более сухое место; там барышня остановилась и оглянулась, но так как недалеко был поворот, то увидела лишь небольшую часть переулка. Вдруг она увидела Эшенгагена, только что вышедшего из-за угла.

– Скажите, пожалуйста, можно там пройти? – крикнула ему барышня.

Он не ответил, так как был изумлен смелым и в то же время грациозным прыжком девушки; она пролетела по воздуху как перышко и очень удачно приземлилась.

– Вы не слышите? – нетерпеливо крикнула она. – Я спрашиваю вас, можно ли там пройти?

– Да... я прошел... – проговорил Виллибальд, растерявшись от повелительного тона, каким был задан этот вопрос.

– Это я вижу, но у меня нет непромокаемых сапог, как у вас, и я не могу шлепать прямо по грязи. Можно ли пробраться возле изгороди? Господи, да отвечайте же!

– Мне... мне кажется, что там посуше.

– Ну, так я попробую. Кучер, поворачивайте обратно и сдайте мои вещи на почте, я пришлю за ними. Стойте! Ручной чемодан я возьму с собой, передайте его мне.

– Чемодан слишком тяжел для вас, – возразил кучер, – а я не могу оставить лошадей.

– Так мне донесет его этот господин, ведь до нашего сада недалеко. Пожалуйста, возьмите чемодан, вот тот маленький, на заднем сиденье, черный кожаный. Да шевелитесь же!

Маленькая ножка нетерпеливо топнула, потому что Виллибальд не двигался с места и стоял с разинутым ртом; он был ошеломлен тем, что совершенно незнакомая особа так бесцеремонно распоряжается им, а еще удивительнее казались ему такие деспотические манеры у такой молоденькой девушки. Хотя последние слова были произнесены весьма резко, он со всех ног бросился к экипажу и взял указанный чемодан.

– Хорошо! – коротко проговорила девушка. – Так поезжайте же на почту, кучер. А теперь вперед, в вальдгофенскую грязь!

Она приподняла юбку серого дорожного костюма и пошла около самой изгороди, где было несколько выше и суше. Виллибальд шел сзади с чемоданом. Он никогда еще не ви-

дел ничего прелестнее этой легкой, стройной фигурки, едва доходившей ему до плеча, и усердно ее рассматривал, так как больше делать ему было нечего.

Во всех движениях молодой девушки было что-то невыразимо привлекательное и грациозное, так же как и в ее внешности, но ее манера держать головку с темными вьющимися волосами, выбивающимися из-под шляпы, свидетельствовала о несомненном чувстве собственного достоинства. Черты ее лица не отличались тонкостью, но были прехорошенькие; лукавые темные глаза, маленький розовый ротик, выражавший упрямство, и две ямочки на щеках делали его просто очаровательным. Серый дорожный костюм был сшит с большим вкусом и соответствовал требованиям моды; очевидно, юная путешественница не принадлежала к числу обывательниц Вальдгофена.

За поворотом дорога, действительно, оказалась несколько суше; тем не менее приходилось продвигаться вперед по узенькому валу возле самой изгороди, а по временам перепрыгивать через грязь. При таких обстоятельствах вести разговор было неудобно, да Вилли и не Думал заводить его; он покорно нес чемодан и так же покорно переносил полное невнимание к себе со стороны своей спутницы, которая больше не заботилась о нем, пока минут через десять они не дошли до низенькой садовой калитки.

Девушка перегнулась через планки калитки, откинула приделанный с внутренней стороны деревянный крюк и

обернулась к Виллибальду.

– Благодарю вас! Теперь дайте мне чемодан.

Несмотря на небольшие размеры, чемодан был слишком тяжел для ее маленьких ручек. Виллибальд ощутил прилив рыцарства и заявил, что донесет чемодан до самого дома, предложение было принято. Они прошли через маленький садик и через заднюю дверь вошли в полутемные сени старого простого дома. Их появление тотчас было замечено: из кухни им навстречу бросилась старуха-служанка.

– Фрейлейн! Фрейлейн Мариетта! Вы приехали? Вот-то будет рад...

Она вынуждена была замолчать, потому что Мариетта подбежала и зажала ей рот рукой.

– Тише, Бабета! Говори тише: я хочу сделать сюрприз. Девушка дома?

– Да, доктор в кабинете. Вы хотите пройти к нему?

– Нет, я прокрадусь в гостиную, тихонько сяду за рояль и запою его любимую песню. Тише, Бабета, чтобы он не услышал!

Девушка легко скользнула на противоположный конец сени и открыла дверь в комнату, расположенную на нижнем этаже; Бабета, взволнованная приездом своей барышни, не замечая, что в полутемных сенях стоит еще кто-то, последовала за ней. Дверь осталась открытой настежь. Слышно было, как слегка хлопнула осторожно поднятая крышка рояля, как придвинули стул, потом раздалась тихая прелюдия, и на-

конец зазвучал голос, чистый и звонкий, как песня жаворонка, и такой же ликующий, как его песня.

Впрочем, все это заняло не более нескольких минут. Противоположная дверь распахнулась, и на пороге появился старик с совершенно белыми волосами.

– Мариетта! Моя Мариетта! Неужели это ты?

– Дедушка! – радостно пронеслось в ответ, а затем пение вдруг смолкло, и Мариетта повисла на шее у деда.

– Гадкая девочка, как ты напугала меня! – с нежностью бранил он ее. – Я ждал тебя только послезавтра, собирался выехать тебе навстречу на станцию, и вдруг слышу твой голос в гостиной! Я просто не поверил своим ушам.

Девушка весело рассмеялась, как расшалившийся ребенок.

– А что, удался сюрприз, правда, дедушка? Я нарочно поехала по дороге за садом, так что даже застряла с экипажем в грязи; я пришла через сад и... Что тебе надо, Бабета?

– Носильщик еще тут, – сказала старуха, только теперь заметившая незнакомца. – Дать ему на водку?

Молодой владелец майората все еще стоял с чемоданом в руке. Доктор Фолькмар обернулся и испуганно воскликнул:

– Боже мой! Господин фон Эшенгаген!

– Ты знаешь этого господина? – спросила Мариетта, не особенно удивляясь, так как ее дедушка, будучи врачом, знал весь Вальдгофен и всех живущих в окрестностях.

– Конечно! Но возьми же у барона чемодан! Прошу вас,

извините... Я не знал, что вы уже знакомы с моей внучкой.

– Мы ничуть не знакомы, – возразила девушка. – Познакомь нас, дедушка!

– Разумеется, дитя мое! Господин Виллибальд фон Эшенгаген из Бургсдорфа...

– Жених Тони! – обрадовано воскликнула Мариетта. – Ах, как это комично, что мы познакомились посреди грязной улицы! Если бы я знала, кто вы, то не обошлась бы с вами так дурно. Ведь я заставила вас идти позади, как настоящего носильщика! Но почему же вы ни слова не сказали?

Виллибальд и теперь не говорил ни слова, а только молча смотрел на маленькую ручку, которую так приветливо ему протягивали. Но так как он чувствовал, что должен что-нибудь сказать или сделать, то вдруг схватил эту розовенькую ручку и потряс ее, сильно сжав в своем исполинском кулаке.

– Ай! – вскрикнула девушка, с ужасом отступая. – Как вы больно жмете руку! Вы, кажется, переломали мне все пальцы.

Виллибальд от смущения покраснел как рак и пробормотал какое-то извинение. К счастью, в это время вмешался доктор, пригласив его войти в комнату.

Виллибальд молча принял приглашение. Мало-помалу завязался разговор, в котором главную роль играла, разумеется, Мариетта. Она подробно и очень комично описала встречу с Виллибальдом. Так как ей давно было известно о предстоящей помолвке Тони, то она обращалась с ее женихом как

со старым знакомым, спрашивала о Тони, о лесничем, и ее розовый ротик работал как мельница.

Тем молчаливее был Виллибальд. Этот звонкий голос, звучавший как щебетание птички, приводил его в замешательство. Он только вчера познакомился с доктором, когда тот был в Фюрстенштейне; во время этого визита говорили о какой-то Мариетте, с которой дружна его невеста, но больше он ничего не знал, потому что Тони была не особенно общительна.

– И эта шалунья без всяких церемоний оставила вас стоять в сенях, а сама уселась за рояль, чтобы возвестить меня о своем приезде! – сказал Фолькмар, качая головой. – Это было очень невежливо, Мариетта!

– О, господин Эшенгаген не сердится! Зато он услышит твою любимую песню, я сейчас ее спою. Ты ведь и двух тактов не выслушал... Спеть?

Не дожидаясь ответа, она подбежала к роялю, И снова раздался чарующий, серебристый голос. Мариетта пела старинную народную песню; ласкающая мелодия лилась так мягко, так сладко, что казалось, будто тихая комната старого дома вдруг осветилась солнцем и в воздухе запахло весной. Просияло и лицо старика, на котором заботы и горе оставили множество морщин, и он с улыбкой слушал песню, вероятно, напоминавшую ему то время, когда он был еще молод и счастлив.

Но не он один слушал внимательно; хозяин Бургсдорфа,

два часа тому назад заснувший под гром «Марша янычар», теперь так благоговейно слушал эти мягко льющисся звуки, точно они были для него откровением. Он сидел, сильно подавшись вперед, и не сводил глаз с девушки, всей душой отдававшей пению и при атом необыкновенно милым движением наклонявшей головку то в одну, то в другую сторону. Когда же песня была окончена, он глубоко вздохнул и провел рукой по лбу.

– Моя маленькая певчая птичка! – с нежностью сказал доктор, нагибаясь к внучке и целуя ее в лоб.

– Правда, дедушка, голос у меня не стал хуже за последние месяцы? – шаловливо спросила она. – Но господину Эшенгагену он, должно быть, не нравится; он не говорит ни слова.

Девушка посмотрела на Виллибальда, надув губки, как ребенок, которому не угодили. Он встал и подошел к роялю; его лицо покраснело, а голубые глаза блестели.

– О, вы пели очень, очень хорошо!

Молодая певица почувствовала глубокий, откровенный восторг, выразившийся в этих лаконичных словах, и очень хорошо заметила, какое впечатление произвело ее пение. Поэтому она с улыбкой ответила:

– Да, эта песня очень хороша. Она всякий раз производила фурор, когда я пела ее на бис в конце представления.

– Представления? – переспросил Виллибальд не понимая.

– Ну да, на гастролях, с которых я только что вернулась. О, гастролы прошли блестяще, дедушка, и директор с удо-

вольствием продолжил бы их, но они и без того заняли большую часть моего отпуска, а я хотела провести хоть несколько недель с тобой.

Виллибальд слушал с возрастающим изумлением. Гастроли... отпуск... директор... что должно было все это означать? Доктор заметил его недоумение и спокойно сказал:

– Господин фон Эшенгаген еще не знает, кто ты, дитя мое. Моя внучка – певица.

– Как прозаически ты выражаешься, бабушка! – воскликнула Мариетта вскакивая; ее хорошенькая фигурка вытянулась во весь рост, и она продолжала с комической торжественностью:

– Перед вами артистка достопочтенного герцогского придворного театра, уже пять месяцев носящая это звание, особа с влиянием и положением; следовательно, шляпу долой!

Артистка придворного театра! Виллибальд буквально содрогнулся при этих роковых словах. Как благовоспитанный сын своей матери, он вполне разделял ее отвращение к «комедиантам». Он невольно сделал три шага назад и с ужасом уставился на особу, сказавшую ему такие страшные слова.

Она громко расхохоталась.

– Ну, такого почтения я не требую! Я позволяю вам оставаться у рояля. Разве Тони не говорила вам, что я поступила на сцену?

– Тони?... Нет... – растерянно пробормотал Виллибальд. – Но она ждет меня, мне пора в Фюрстенштейн. Я и так слыш-

ком долго задержался здесь...

– Очень любезно! Это не особенно лестно для нас, но так как вы жених, то вам, разумеется, нужно спешить к невесте.

– Да, и к моей маме, – сказал Вилли, смутно чувствуя, что здесь ему грозит какая-то опасность, вследствие чего мать казалась ему ангелом-спасителем. – Прошу извинить, но я... я в самом деле... слишком долго задержался здесь...

Он запнулся, вспомнив что уже говорил эту фразу, стал искать, другие слова и, не найдя их, благополучно повторил свою любезность в третий раз.

Мариетта надрывалась от хохота. Доктор вежливо заявил, что не будет дольше удерживать гостя, и попросил засвидетельствовать его почтение лесничему и Тони фон Шонау. Но Виллибальд его почти не слышал; он нашел свою шляпу, отвесил поклон, бормоча слова прощания, и выбежал как ошпаренный. Он знал одно: ему следует уйти как можно скорее. Этот веселый, шаловливый смех Мариетты сводил его с ума.

Когда Фолькмар, проводивший его до двери, вернулся в гостиную, его внука, задыхаясь от смеха, вытирала слезы, выступившие у нее на глазах.

– Мне кажется, у жениха Тони здесь, – она приложила маленький пальчик ко лбу, – не все дома. То он бежал с чемоданом сзади меня и молчал как рыба, потом, когда я пела, как будто немножко оттаял, а теперь ему вдруг захотелось немедленно убежать, и он помчался в Фюрстенштейн к сво-

ей «маме», так что я не успела даже передать через него привет его невесте.

Доктор болезненно улыбнулся; он догадался, почему в его госте произошла такая внезапная перемена, и уклончиво ответил:

– Вероятно, молодой человек мало бывал в дамском обществе. Кроме того, он, кажется, до сих пор слушает только свою мать. Но невесте он нравится, а это, в конце концов, главное.

– Да, он красив, даже очень красив, но, я думаю, дедушка, что он очень глуп.

Тем временем Виллибальд вихрем добежал до ближайшего угла улицы; тут он остановился и попытался привести в порядок свои мысли. Прошло немало времени, прежде чем это ему удалось. Он еще раз оглянулся на дом доктора и медленно пошел дальше.

Что сказала бы на это его мать, которая всех «комедиантов» без исключения презирала! И она была права, ведь Вилли на себе испытал, что от этих людей исходит какая-то волшебная сила, что их надо остерегаться!

А что, если этой Мариетте Фолькмар вздумается навестить свою подругу и приехать в Фюрстенштейн? Собственно говоря, Вилли следовало бы прийти в ужас от этой мысли, и он был твердо убежден, что действительно боится. Но в его глазах снова появился странный блеск. Он вдруг представил в гостиной за роялем, за которым недавно сидела его невеста.

ста, маленькую, воздушную фигурку девушки, которая, как певчая птичка, наклоняла свою темную кудрявую головку то в одну, то в другую сторону, а гром «Марша янычар» превратился в мягкие звуки старинной песни, сквозь которые прорывался серебристый смех, звучащий тоже как музыка.

Все это было ужасно, потому что она поступила на сцену. Регина фон Эшенгаген не раз говорила об этом, а Вилли-бальд был слишком хорошим сыном, чтобы не считать мать оракулом. И все-таки он прошептал, глубоко вздохнув:

– О, как жаль! Как сильно жаль!

Приблизительно на половине пути между Фюрстенштейном и Родеком, в самой высокой части лесистых гор, находилась гора Гохберг, часто посещаемое место, славившееся превосходным видом, открывавшимся с нее. Древняя каменная башня на ее вершине (последний остаток развалин некогда стоявшего здесь замка) была немного отремонтирована для посетителей, а у ее подножия приютилась маленькая гостиница; в летние месяцы она принимала многочисленных приезжих из окрестностей; чужестранцы же редко забирались в эти малоизвестные лесистые горы и долины...

Осенью это место вообще мало посещалось, но сегодня прекрасная погода выманила на прогулку несколько человек; полчаса тому назад сюда приехали верхом два господина в сопровождении грума, а только что к гостинице подъехал экипаж с новыми гостями.

Двое приехавших раньше мужчин стояли на верхней площадке башни, и младший с увлечением показывал товарищу привлекшие его внимание уголки.

– Наш Гохберг славится прекрасными видами, – сказал он. – Мне непременно хотелось показать тебе их, Гартмут. Не правда ли, это безграничное зеленое море леса представляет несравненное зрелище?

Гартмут не ответил; вооружившись биноклем, он, каза-

лось, искал какое-то место.

– Где же Фюрстенштейн? – спросил он. – А, вот он! Кажется, это очень величественное древнее здание.

– Да, замок стоит посмотреть, – заметил принц Адельсберг. – Впрочем, ты хорошо сделал, что остался дома третьего дня; во время этого визита я безбожно скучал.

– Да? Но ведь ты, кажется, большой приятель лесничего.

– Я люблю с ним поболтать, но его не было дома; он вернулся только незадолго до моего отъезда. Его сына сейчас нет в Фюрстенштейне, он кончает курсы в лесном институте, и мне пришлось беседовать только с Антонией фон Шонау, но это «удовольствие» оказалось далеко не из приятных! Она хорошо разбирается в хозяйстве, и других добродетелей у нее сколько угодно, но ума что-то не видно. Я прилагал все усилия, чтобы поддерживать разговор, и в награду имел честь познакомиться с ее женихом, настоящим, чистокровным деревенским дворянчиком, и его энергичной мамашей, командующей и сынком, и своей будущей невесткой. Мы вели необыкновенно остроумный разговор и наконец стали обсуждать культуру репы, и я был посвящен во все ее тайны. Я почувствовал себя по-человечески только тогда, когда вернулся лесничий со своим шурином Вальмоденом.

Роянов все еще смотрел в бинокль на Фюрстенштейн и, по-видимому, слушал совершенно равнодушно. Он повторил вопросительным тоном:

– Вальмоденом?

– Это новый прусский посланник при нашем дворе. Настоящий дипломат, важный, холодный, застегнутый на все пуговицы, но, впрочем, приятный господин. Ее превосходительство, его супруга, не изволили показаться, но я стоически перенес это, ведь если супруг убелен сединами, то эта дама, должно быть, тоже преклонного возраста.

Гартмут опустил бинокль; странно горькое выражение появилось на его губах. Он не сказал другу о своей встрече с Адельгейдой фон Вальмоден; ему не хотелось произносить это имя, он хотел как можно реже вспоминать о нем.

– Скоро мы распростимся с нашим романтическим лесным уединением, – продолжал Эгон. – Лесничий говорит, что на охотничий сезон двор приезжает в Фюрстенштейн; тогда я должен быть готов к визиту герцога в Родек. Не могу сказать, чтобы эта перспектива приводила меня в восторг. Мой светлейший дядюшка имеет обыкновение так же часто и так же настойчиво читать мне нравоучения, как Штадингер, с той только разницей, что его проповеди мне приходится выслушивать. Но я воспользуюсь этим визитом, чтобы представить тебя, Гартмут; надеюсь, ты ничего не имеешь против?

– Если ты находишь это необходимым, и этикет при вашем дворе допускает...

– О, у нас не так строго придерживаются этикета, и, кроме того, ведь Рояновы принадлежат к числу старинных боярских родов твоего отечества?

– Разумеется.

– Значит, ты имеешь несомненное право быть представленным. Лично мне этого очень хочется, потому что мне взбрело в голову поставить твою «Аривану» на сцене нашего придворного театра, а стоит только герцогу познакомиться с тобой и твоим произведением, и дело будет в шляпе.

В этих словах слышался страстный восторг, который внушал молодому принцу его друг, но тот лишь слегка пожал плечами.

– Может быть, если ты похлопочешь, но было бы лучше обойтись без протекций. Я не поэт по профессии, не знаю даже, поэт ли я вообще, и если мое произведение не заслуживает того, чтобы его заметили...

– То у тебя хватит упрямства скрыть его от публики. Это на тебя похоже! Неужели у тебя нет честолюбия?

– Скорее, его у меня слишком много, и отсюда проистекает то, что ты называешь моим упрямством. Я никогда не умел подчиняться и приспособливаться к условиям жизни, это всегда было выше моих сил, вся моя натура возмущается против этого. Я совершенно не гожусь для того, чтобы жить при каком-нибудь из ваших немецких дворов.

– Кто же говорит о подчинении? – смеясь спросил Эгон. – При дворе тебя будут так же баловать и носить на руках, как везде. Ты будешь появляться, как блестящий метеор, а от метеоров не требуют, чтобы они двигались по обычной орбите. Кроме того, как гость и иностранец, ты будешь занимать

исключительное положение, если же к этому еще присоединится ореол поэта...

– То ты постарайся удержать меня в своем отечестве, – договорил Роянов.

– Ну да, я на это надеюсь! Я не рассчитываю только на свои собственные силы, чтобы удержать надолго такого необузданного непоседу как ты, но зарождающаяся слава поэта – такая цепь, от которой не так-то легко освободиться, а я поклялся себе сегодня утром ни за что не отпускать тебя.

Роянов с недоумением посмотрел на него.

– Почему же именно сегодня утром?

– Это пока моя тайна. А, кажется, сюда еще кто-то жалует.

В самом деле на узкой витой каменной лестнице послышались шаги, и в следующую минуту в отверстии, выходящем на площадку, появилось бородатое лицо старика-сторожа.

– Осторожнее, сударыня, – произнес он, озабоченно оглядываясь. – Последние ступеньки очень крутые и совсем стерлись. Ну, вот мы и поднялись!

Он протянул руку, чтобы помочь идущей за ним даме, но она не нуждалась в помощи и очень легко поднялась на площадку.

– Какая прелестная девушка! – прошептал товарищу принц Адельсберг, но Гартмут, не отвечая ему, церемонно поклонился даме.

Увидев его, она не могла скрыть легкого удивления и вос-

кликнула:

– Господин Роянов, вы здесь?

– Да, люблюсь видом с Гохберга, о котором, вероятно, вы тоже наслышаны, ваше превосходительство.

Молодой принц очень удивился, во-первых, потому, что его друг знаком с дамой, а во-вторых, что прелестную девушку следует величать ее превосходительством. Он поспешно подошел, чтобы познакомиться с ней, и Гартмут вынужден был представить его госпоже Вальмоден, но о встрече в лесу упомянул лишь вскользь, потому что молодая дама и сегодня была неприступно гордой. Роянов соблюдал крайнюю сдержанность. Казалось, они оба приняли решение смотреть на свое случайное знакомство как на мимолетное и самое поверхностное.

Эгон с обычной живостью включился в разговор. Он представился как сосед, упомянул о своем визите в Фюрстенштейн третьего дня и выразил сожаление, что не застал госпожи фон Вальмоден. Завязался разговор, в котором молодой принц предстал во всем блеске своей любезности, в то же время не переступая границ строгой корректности. Своей веселой, – непринужденной вежливостью ему удалось даже до известной; степени согреть ледяную атмосферу, окружавшую красавицу, а под конец он удостоился чести показывать ей прекрасные виды ландшафта.

Гартмут, против обыкновения, не принимал живого участия в разговоре. Доставая по просьбе принца бинокль, он

вдруг хватился своего бумажника, который исчез из его кармана; сторож вызвался пойти его поискать, но Роянов объявил, что отправится на поиски сам. Он вспомнил, что когда они подымались по лестнице, что-то упало у его ног, только он не обратил на это внимания; конечно, это и был бумажник, он сейчас найдет его и вернется наверх. С этими словами он поклонился и ушел с площадки.

При других обстоятельствах Эгон считал бы, вероятно, очень странным, что его друг отправился сам искать потерянную вещь на темной лестнице, но он так увлекся ролью гида, что как будто был даже доволен представившейся возможностью блеснуть красноречием наедине с дамой. Молодая женщина взяла предложенный ей бинокль и с интересом слушала пояснения, которые он давал, указывая на разные возвышенности и поселения.

– А вон там, за теми лесистыми горами, мой Родек, маленький охотничий замок, где мы живем, как два мизантропа-отшельника, отрезанные от всего света. Наше единственное общество – несколько обезьян и попугаев, которых мы привезли с собой с Востока.

– Ну, вы-то вовсе не похожи на мизантропа, ваша светлость, – с легкой улыбкой сказала молодая женщина.

– Это правда; я не расположен чуждаться людей, но Гартмут иногда страдает настоящими припадками этой болезни, и в угоду ему я тоже неделями не вижу людей.

– Гартмут? Ведь это древнегерманское имя. И как это уди-

вительно, что господин Роянов говорит по-немецки совершенно чисто, без всякого иностранного акцента, а между тем он сказал мне, что он иностранец.

– Он родом из Румынии, но воспитывался у родственников в Германии и от них же, должно быть, унаследовал свое немецкое имя. Я познакомился с ним в Париже в то время, когда собирался ехать путешествовать по Востоку, и он решил ехать со мной. Меня свела с ним моя счастливая звезда.

– Кажется, вы очарованы своим другом.

– Да, очарован! – с увлечением воскликнул Эгон. – Да и не я один! Гартмут – одна из тех гениальных натур, которые всюду, где бы ни появились, мгновенно располагают к себе всех. Надо Видеть и слышать его, когда он в настроении и ничто его не стесняет; тогда он похож на огонь, зажигающий всех вокруг; он всех увлекает за собой и не идти за ним невозможно, куда бы он ни вел.

Эта пылкая характеристика не нашла отклика в его слушательнице; казалось, все внимание молодой женщины было сосредоточено на ландшафте, в то время как она ответила:

– Может быть, вы и правы; по глазам господина Роянова, действительно, можно понять, что он именно таков, но мне такие пламенные натуры несимпатичны, они производят на меня скорее Неприятное впечатление.

– Может быть, потому, что они обладают дьявольской силой, почти всегда присущей гению. Эта сила есть и у Гартмута; иной раз он буквально пугает меня, но именно эти стран-

ности, скрывающиеся в его натуре, и привлекают к себе. Я совсем разучился жить без него и прилагаю множество усилий, чтобы удержать его в Германии.

– Едва ли вам это удастся. Господин Роянов очень нелестного мнения о нашей родине; третьего дня во время нашей встречи он высказал его в довольно оскорбительных выражениях.

Эти слова молодой женщины вдруг объяснили принцу причину холодной сдержанности Гартмута.

– А, так вот почему он скрыл от меня эту встречу! Вероятно, вы выразили ему свое недовольство? Впрочем, поделим ему: зачем так упорно лгать. Он не раз сердил и меня этим напускным презрением, которое я принимал за чистую монету. Теперь-то я знаю правду.

– Вы не верите его искренности?

– Не верю, и улика у меня в руках. Он в восторге от нашей немецкой природы! Вы смотрите на меня недоверчиво? Открыть вам тайну?

– Пожалуйста.

– Сегодня утром я зашел за Гартмутом в его комнату, но его там не оказалось. Вместо него я нашел на его столе стихотворение, которое он, вероятно, забыл спрятать, потому что оно, конечно, не предназначалось для моих глаз. Я без всяких угрызений совести похитил его, и оно теперь со мной. Прикажете прочесть?

– Я не понимаю по-румынски, – с холодной насмешкой

сказала Адельгейда Вальмоден, – а господин Роянов едва ли снизойдет до того, чтобы писать стихи на немецком языке.

Вынув из кармана бумажку, Эгон развернул ее.

– Я вижу, вы настроены против моего друга, а мне не хотелось бы, чтобы вы видели его в ложном свете, в котором он сам себя представил. Вы позволите мне оправдать его его же собственными словами?

– Пожалуйста.

Голос Адельгейды выражал полное равнодушие, но ее взгляд с напряженным ожиданием устремился на листок, на котором было набросано небольшое стихотворение.

Эгон стал читать. В самом деле это были немецкие стихи, но чистота и звучность языка показывали, что автор мастерски владел им, а картина, которую они вызывали в воображении слушательницы, была до боли ей знакома. Удивительно прекрасный летний день, чуть тронутый первым дыханием осени, бесконечные зеленые чащи, неотразимо манящие в свою сумеречную тень, душистые лужайки, купающиеся в горячем солнечном свете, тихие маленькие озера, сверкающие вдали, и пенящийся ручей, шумно бегущий с горы, – это была сама вечная песнь леса с его шелестом и шорохом, его таинственной жизнью, вылившаяся в словах и, как мелодия, чаровавшая слух. От всего стихотворения веяло неподдельной грустью и глубокой тоской по этому лесному миру и покою.

Принц читал, все больше и больше увлекаясь. Окончив,

он опустил листок и торжествующе спросил:

– Ну, что?

Молодая женщина слушала не шевелясь. Вопрос принца заставил ее слегка вздрогнуть.

– Что вы сказали, ваша светлость?

– Разве это язык человека, презирающего наше отечество?

По-моему, нет, – сказал Эгон с уверенностью победителя.

Однако увлеченность стихами своего друга не помешала ему заметить, как прекрасна была Адельгейда именно в эту минуту. Ее лицо порозовело, а глаза заблестели, но она по-прежнему была сдержана и холодно ответила:

– В самом деле удивительно, как может иностранец так хорошо владеть немецким языком.

Эгон смотрел на нее с изумлением. И это все? Он ожидал совсем другого ответа.

– Ну, что вы думаете о стихотворении?

– В нем много настроения. Кажется, господин Роянов, действительно, одарен выдающимся поэтическим талантом. Вот ваш бинокль, ваша светлость, благодарю вас. Однако мне пора возвращаться, я и так заставила мужа слишком долго дожидаться.

Эгон сложил листок и сунул его в карман. Увлеченный поэзией, он еще сильнее почувствовал ледяной холод, которым опять повеяло от молодой женщины.

– Я уже имел честь познакомиться с вашим супругом, – сказал он. – Вы позволите мне сегодня возобновить это зна-

комство?

Легким кивком головы Адельгейда дала ему разрешение сопровождать ее. Они пошли вниз, но принц Эгон вдруг стал неразговорчив; он чувствовал себя обиженным за друга и раскаивался, что, увлекшись прекрасными стихами, выдал его особе, не сумевшей оценить его по достоинству.

Между тем Гартмут, простившись с ними, медленно спустился с винтовой лестницы. Бумажник преспокойно лежал в его кармане, он послужил лишь предлогом, чтобы на время уйти. Адельгейда в разговоре упомянула, что приехала с мужем, только он остался внизу, в гостинице, потому что его испугал утомительный подъем по крутой и темной лестнице; таким образом Гартмут не мог избежать встречи с Вальмодемом, но он хотел, по крайней мере, встретиться с ним без свидетелей. Если бы Вальмодем узнал сына своего друга юности, что было вероятно, хотя он видел его только мальчиком, то он, пожалуй, был бы не в силах скрыть свое удивление.

Гартмут не боялся этой встречи, хотя она была ему неприятна. Во всем мире существовал только один человек, которому он не посмел бы посмотреть в глаза; но этот человек был далеко, и с ним он едва ли мог когда-либо увидеться. Перед другими же он чувствовал себя гордо и уверенно, как человек, который, уклонившись от ненавистной службы, лишь воспользовался своим правом. Он был намерен не допускать никаких вопросов или упреков со стороны посланника, если

тот его узнает, и самым решительным образом предложить ему забыть о прежних отношениях, так как они раз и навсегда порваны. С такими мыслями он вышел из башни.

На маленькой веранде гостиницы сидел Герберт Вальмоден с сестрой. Лесничий был сильно занят предстоящим приездом двора, а жених с невестой остались дома.

– На Гохберг, действительно, стоит посмотреть, – сказала Регина, окидывая взглядом ландшафт. – Но отсюда почти такой же вид, как с башни; охота лазить по бесконечной лестнице и задыхаться от усталости и жары! Благодарю покорно!

– Адельгейда иного мнения, – возразил Вальмоден, мельком поглядывая на башню. – Она не знает ни усталости, ни жары.

– Ни простуды! Она доказала это третьего дня, когда вернулась домой насквозь промокшая и даже не схватила на сморка.

– Но я все-таки просил ее на будущее брать с собой провозатого, – спокойно проговорил посланник. – Блуждать по лесу, переходить вброд ручьи и, наконец, принимать услуги первого встречного охотника – все это не должно повториться. Адельгейда и сама согласилась с этим и обещала впредь прислушиваться к моим советам.

– Да, она умная женщина и ей совершенно чужд всякий романтизм и любовь к приключениям, – похвалила ее Регина. – Однако, кажется, на башне еще кто-то был, а я думала, что мы сегодня – единственные посетители.

Вальмоден равнодушно взглянул на высокого, стройного господина, вышедшего из низенькой двери башни и направившегося к гостинице. Регина сначала тоже мельком посмотрела на него, но вдруг стала приглядываться и вздрогнула.

– Герберт!.. Посмотри! Тот господин!.. Какое удивительное сходство!

– С кем?

Герберт тоже стал присматриваться к незнакомцу.

– С... Не может быть! Это не простое сходство! Это он сам!

Регина вскочила, бледная от волнения, и буквально впилась взглядом в лицо подходившего к ним господина, который уже поднимался по лестнице веранды; ее глаза встретились с темными, жгучими глазами, которыми так часто глядел на нее когда-то мальчик, и у нее исчезла последняя тень сомнения.

– Гартмут! Гартмут Фалькенрид! Ты?..

Она вдруг замолчала, потому что рука Вальмодена опустилась на ее руку, и он резко сказал:

– Ты ошибаешься, Регина, мы незнакомы с этим господином.

Гартмут остановился, пораженный при виде Регины, которую раньше не увидел за зеленую веранды; к встрече с ней он не был подготовлен. Но в ту же минуту, как он узнал ее, до него долетели и слова посланника; он понял его тон, и кровь

бросилась ему в голову.

– Герберт!.. – и Регина неуверенно взглянула на брата, который все еще крепко держал ее за руку.

– Мы незнакомы с ним! – повторил он тем же тоном. – Неужели я должен убеждать тебя в этом?

Теперь и она поняла его; бросив полусердитый, полупечальный взгляд на сына своего друга юности, она отвернулась от него и сказала с глубокой горечью:

– Ты прав. Я ошиблась.

Гартмут вздрогнул и, в порыве гнева сделав шаг по направлению к ним, произнес:

– Господин фон Вальмоден!

– Что вам угодно? – спросил тот так же резко и презрительно, как и раньше.

– Вы предупредили мое желание, ваше превосходительство, – сказал Гартмут, с трудом сохраняя самообладание. – Я только что хотел покорнейше просить вас не узнавать меня. Мы не знаем друг друга.

С этими словами он повернулся и, гордо подняв голову, прошел мимо, после чего вошел в дом через другую дверь.

Вальмоден хмуро проводил его глазами, потом обернулся к сестре.

– Ты совершенно не умеешь владеть собой, Регина! Зачем было делать сцену? Для нас этот Гартмут больше не существует.

По лицу Регины было видно, как взволновала ее эта встре-

ча: у нее еще дрожали губы, когда она ответила:

– Я ведь не записной³ дипломат, как ты, Герберт. Я еще не умею оставаться спокойной, когда передо мной вдруг появляется человек, которого я считала давно погибшим или умершим.

– Умершим? Едва ли это можно было предполагать, ведь он так молод, но погибшим – другое дело; при его образе жизни ничего иного и ждать нельзя.

– Тебе что-нибудь известно? Ты знаешь о его жизни?

– По крайней мере, отчасти. Фалькенрид мне не чужой, и я не мог не поинтересоваться, что вышло из его сына. Само собой разумеется, я не говорил об этом ни ему, ни тебе, но как только снова приступил тогда к исполнению служебных обязанностей, то сразу же воспользовался обширными дипломатическими связями, чтобы навести справки.

– И что же ты узнал?

– Сначала Салика отправилась с сыном к себе на родину. Когда после развода она вернулась к матери, ее отчим, наш кузен Вальмоден, уже умер; с тех пор мы не общаемся, но я узнал, что незадолго до своего вторичного появления в Германии Салика вступила во владение всеми рояновскими поместьями.

– Салика? Разве у нее не было брата?

– Был и лет десять владел имениями, но умер неженатым и совершенно неожиданно, вследствие несчастного случая

³ Записной – настоящий, рьяный, завзятый.

на охоте. А так как от второго брака у матери детей не было, то Салика оказалась единственной наследницей; но из-за безалаберной жизни большая часть наследства перешла, разумеется, к ростовщикам. Как бы там ни было, она почувствовала себя полновластной госпожой и затеяла свой *coup d'etat*⁴ – похитила сына. Еще несколько лет после этого в ее имениях шла прежняя разнузданная жизнь, хозяйство велось из рук вон плохо; все это «великолепие» кончилось полным банкротством, и мать с сыном, как цыгане, пустились рыскать по белу свету.

Вальмоден рассказывал все это с тем же холодным презрением, которое выказал перед тем по отношению к Гартмуту; лицо его сестры выражало отвращение, которое внушал такой образ жизни этой женщине, строго относившейся к долгу и нравственности. Тем не менее она с невольным участием спросила:

– И с тех пор ты ничего больше не слышал о них?

– Слышал несколько раз. Когда я работал в посольстве во Флоренции, то случайно в разговоре услышал их фамилию; это навело меня на след; я узнал, что они жили в то время в Риме. Несколько лет спустя они появились в Париже; оттуда я и получил известие о смерти Салики Рояновой.

– Так она умерла! – тихо сказала Регина. – Чем же они жили все эти годы?

– Чем живут искатели приключений, рыскающие по све-

⁴ *Coup d'etat*, фр. (ку д'эта) – государственный переворот.

ту? Может быть, им удалось что-то спасти от банкротства, а может быть, и нет, но, как бы то ни было, они вращались в высшем обществе Рима и Парижа. Женщина вроде Салики всюду найдет источник к существованию и... протекцию. Ее боярское происхождение и румынские поместья, о продаже которых с молотка едва ли кто-нибудь знал, вероятно, сослужили ей немалую службу.

– Но Гартмут, которого она насильно вовлекла в эту жизнь, что вышло из него?

– Искатель приключений, что же больше? Задатки для этого у него были всегда, а школа матери, разумеется, развила его природные наклонности. После смерти Салики прошло три года, я ничего больше о нем не слышал.

– Зачем было скрывать все это от меня? – с упреком сказала Регина.

– Я щадил тебя; ты слишком любила этого мальчишку. Кроме того, я боялся, чтобы ты не проговорила нечаянно Фалькенриду.

– Совершенно напрасный страх. Один только раз я осмелилась заговорить с ним о прошлом, в надежде хоть этим проломить ледяную стену, которой он окружил себя. Он только посмотрел на меня и сказал таким тоном, от которого мне стало страшно: «Мой сын умер, вы это знаете, Регина! Оставьте мертвых в покое!». Нет, я никогда больше не решусь произнести при нем это имя.

– В таком случае мне незачем советовать тебе молчать,

когда ты вернешься в Бургсдорф, – ответил Вальмоден. – Но лучше было бы не говорить об этой встрече и Виллибальду; при своем добродушии он способен выкинуть какую-нибудь глупость, если узнает, что его бывший товарищ так близко от него. Пусть он лучше ничего не знает о нем. Я намерен просто игнорировать этого «господина», если нам придется еще раз встретиться, Адельгейда же и вовсе не знает его.

Он замолчал и поднялся с места, увидев свою молоденькую жену, которая вышла из башни вместе со своим спутником. Ничего не подозревая, принц Адельсберг после первых приветственных фраз осведомился, не проходил ли мимо его друг Роянов.

Вальмоден взглядом предостерег сестру и вежливо выразил сожаление, что не видел упомянутого господина, а потом сказал, что намерен сейчас же отправляться домой со своими дамами и ждет только возвращения жены.

Эгон не покидал общества до самого отъезда и проводил дам до экипажа; с низким поклоном простился он с посланником и его супругой и еще несколько минут следил глазами за удалявшимся экипажем.

В пустой приемной гостиницы у окна стоял Гартмут и тоже смотрел вслед уезжающим. Его лицо было бледным, как тогда, когда он впервые услышал имя Вальмодена; но теперь эта бледность была следствием душившего его гнева.

Он ждал вопросов и упреков и собирался высокомерно отказаться отвечать на них, а вместо этого встретил прене-

брежение, оскорбившее его гордость. Резкое предостережение, с которым Вальмоден обратился к сестре: «Мы незнакомы с ним! Неужели я должен убеждать тебя в этом?» – перевернуло в нем всю душу. Он почувствовал в этих словах уничтожающий приговор. И даже Регина, всегда относившаяся к нему с материнской любовью, действовала заодно с братом и отвернулась от него, как от человека, знакомства с которым стыдятся. Это было уж слишком!

– А, вот где ты! – раздался в дверях голос Эгона. – Ты точно сквозь землю провалился! Нашел ты наконец свой несчастный бумажник?

Роянов обернулся и рассеянно ответил:

– Нашел! Он лежал на лестнице.

– В таком случае и сторож нашел бы его. А почему ты не вернулся? Как это вежливо так ни с того ни с сего бросать меня и супругу посланника! Ты даже не простился с ней уходя и попадешь к ней в немилость.

– Постараюсь как-нибудь перенести это несчастье. Принц, положив руку ему на плечо, шутливо проговорил:

– Вот как! Не потому ли, что уже впал в немилость еще третьего дня? Обычно ты не имеешь привычки избегать общества красивых дам. О, я знаю, в чем дело; ее превосходительство изволила прочесть тебе нотацию по поводу твоих излюбленных нападков на Германию, а тебе, избалованному барину, это не понравилось. Но, мне кажется, из таких уст можно выслушать и правду.

– Ты, кажется, совсем потерял голову, – насмешливо заметил Гартмут. – Берегись! Как бы почтенный супруг, несмотря на свои годы, не вздумал ревновать.

– Да, странная пара! Старый дипломат с седыми волосами и холодной физиономией и молоденькая женщина, блистающая лучезарной красотой, точно...

– Северное сияние, поднимающееся из Ледовитого океана! Еще вопрос, кто из двух дальше от точки замерзания.

– Очень поэтично и очень зло! Впрочем, ты отчасти прав, и меня несколько раз обдало изрядным холодом, но это – счастье для меня, потому что иначе я безнадежно влюбился бы в чудную красавицу. Однако не пора ли и нам ехать домой, как ты думаешь?

Он пошел к двери, чтобы позвать слугу. Прежде чем последовать за ним, Гартмут еще раз взглянул в окно; на дороге, там, где она выходила на открытое место, в это время показался экипаж посланника. Рука Гартмута невольно сжалась в кулак.

– Мы еще поговорим с вами, господин фон Вальмоден! – прошептал он. – Теперь я непременно останусь! Пусть он не воображает, что я избегаю его. Теперь я попрошу Эгона представить меня ко двору и приложу все усилия, чтобы мое произведение имело успех. Посмотрим, посмеет ли он и тогда обращаться со мной как с первым встречным проходимцем. Он еще поплатится за этот взгляд и этот тон!

В Фюрстенштейне все были подняты на ноги – готовились к приему двора; на этот раз здесь намеревались остаться на всю осень, причем ожидали также и герцогиню. Многочисленные комнаты верхнего этажа приводились в порядок; часть придворных и прислуги уже прибыла, а в Вальдгофене готовились к торжественной, встрече владетельного герцога.

Визит Вальмодена затянулся: герцог, всячески поощрявший посланника, узнав, что тот едет в Фюрстенштейн на семейное торжество, выразил непереносимое желание увидеть его с супругой в замке. Это было равносильно приглашению, отказаться от которого было невозможно. Регина с сыном решила тоже остаться, чтобы «вблизи немножко поглядеть на придворную жизнь». Лесничий, желавший, чтобы предстоящая большая охота возвысила его в глазах окружающих, совещался со своими подчиненными и поставил на ноги весь персонал лесничества.

В комнате Антонии слышался веселый говор и звонкий смех. Мариетта Фолькмар на часок приехала к подруге, и, по обыкновению, рассказам и хохоту не было конца. Тони сидела у окна, а рядом стоял Виллибальд, который по приказанию мамыши должен был играть роль часового.

Регине не удалось пока настоять на своем: зять продолжал упрямяться, и даже со стороны будущей невестки она встре-

тила неожиданное сопротивление, когда вздумала требовать прекращения знакомства с Мариеттой.

– Не могу, тетя, – ответила Тони. – Мариетта такая милая, такая славная! Право, я не могу так обидеть ее.

«Милая»! «Славная»! Регина пожалала плечами; она не могла смириться с недалёковидностью девушки, которой не сумела открыть глаза; но она чувствовала себя обязанной вмешаться в это дело и решила действовать отныне дипломатически.

Виллибальд рассказал ей о своей встрече с молодой певицей, и Регина, разумеется, была вне себя от того, что владелец бургсдорфского майората нес чемодан за «театральной принцессой». Зато описание ужаса, который охватил его, когда он узнал, кто эта незнакомка, и его поспешное бегство было принято ею с величайшим одобрением. Но так как приезде Мариетты к Тони помешать было невозможно, и сама Регина считала унижительным для своего достоинства присутствовать во время ее визитов, то охрану невесты Виллибальду поневоле пришлось взять на себя.

Он получил строжайшее приказание никогда не оставлять девушек наедине и подробно доносить обо всем, что будет делать и говорить Мариетта. После первого же донесения Регина намеревалась втолковать зятю, на произвол какого легкомысленного общества отдаёт он свою дочь, призвать сына в качестве свидетеля и решительно потребовать разрыва этих отношений. Виллибальд покорился. Он присутствовал

в комнате, когда Мариетта в первый раз явилась в Фюрстенштейн, сопровождал в Вальдгофен невесту, когда та наносила визит подруге, и сегодня опять находился на своем посту.

Девушки говорили о предстоящем приезде двора, и Антония, совершенно не обладавшая вкусом, попросила у подруги совета относительно туалета. Мариетта с полной готовностью занялась этим вопросом.

– Что тебе надеть к этому платью? Разумеется, розы, белые ли какие-нибудь бледные; они очень пойдут к светло-голубому.

– Но я не люблю роз! Мне хотелось бы астры.

– Тогда уж лучше подсолнечник! Ты – молодая девушка и невеста, а хочешь быть похожей на старуху. И как можно не любить роз? Я страстно люблю их и украшаю ими наряд при всяком удобном случае. Мне и сегодня хотелось бы вдеть в волосы розу на вечер у бургомистра, только, к несчастью, в Вальдгофене не достать ни одной. Правда, уже время года не то.

– У садовника в оранжерее целый куст покрыт цветами, – меланхолично заметила Антония, полная противоположность своей подвижной подруги.

– Ну, те розы, наверное, берегут для герцогини, и нам, грешным, не выпросить и цветочка. Что ж делать, придется обойтись без роз. Вернемся к вопросу о туалете. Однако вы при этом совершенно лишней, господин фон Эшенгаген! Вы ничего в этом не понимаете и, конечно, безбожно скучаете,

а между тем не трогайтесь с места. И скажите, пожалуйста, что во мне такого замечательного, что вы не спускаете с меня глаз?

Вилли испугался, потому что упрек был справедлив. Он размышлял о том, как хороша была бы свежая, полураспустившаяся роза в этих темных локонах, и, само собой разумеется, усердно рассматривал при этом головку, которую она могла украсить. Невеста не замечала этого.

– Да, Вилли, ступай, – добродушно сказала она. – Тебе в самом деле должно быть скучно слушать наши разговоры о нарядах, а мне еще о многом надо посоветоваться с Мариеттой.

– Как хочешь, милая Тони. Но я могу потом вернуться?

– Конечно, когда угодно.

Виллибальд ушел. Ему и в голову не пришло, что он покидает вверенный ему пост; думая о чем-то совсем другом, он еще на несколько минут остановился в соседней комнате. Затем под влиянием этих мыслей спустился, наконец, с лестницы и направился прямехонько к квартире садовника.

Едва он успел выйти за дверь, как Мариетта вскочила и воскликнула с комическим отчаянием:

– О, Господи, что вы за скучные жених с невестой! Право, я приношу величайшую жертву на алтарь дружбы, вынося ваше общество. А я-то, услышав, что ты невеста, заранее радовалась, как будет весело! Положим, ты никогда не отличалась особенной резвостью, но твой жених как будто совер-

шенно без языка. Как вы с ним объяснились? Неужели он сам говорил? Или это сделала за него мамаша?

– Перестань насмеяться! – с досадой возразила Антония. – Вилли только при тебе так молчалив; когда мы одни, он очень разговорчив.

– Да, когда рассказывает о новой молотилке, которую недавно купил. Я слышала сегодня, входя в комнату, как он выхвалял эту молотилку, а ты благоговейно внимала его панегирику. О, какая образцовая супружеская чета будет обитать в образцовом Бургсдорфе! Только да сохранил меня милосердное небо от подобного супружеского счастья!

– Ты ужасно невежлива! – сказала Тони, задетая за живое, но в ту же минуту маленькая шалунья повисла у нее на шее и стала осыпать ее ласками.

– Не сердись, Тони! Я не хотела тебя обидеть и от всей души рада твоему счастью, но видишь ли... мой муж должен быть немножко другим.

– Другим? Каким же?

– Во-первых, он должен быть под башмаком у меня, а не у своей маменьки; во-вторых, он должен быть настоящим мужчиной, чтобы я чувствовала себя под его защитой; это прекрасно вяжется с легким подчинением жене. Много говорить ему незачем – это я беру на себя, но он должен меня любить, так любить, чтобы забыть И папеньку, и маменьку, и свои поместья, и новую молотилку, и все это послать к черту, лишь бы заполучить меня!

Тони сострадательно пожала плечами.

– У тебя до сих пор совсем детский взгляд на вещи! Однако поговорим же наконец о платьях.

– Да, поговорим о платьях, а то твой жених вернется и опять прирастет возле нас к полу, как часовой. Значит, ты наденешь голубое шелковое платье...

Однако и на этот раз девушкам не суждено было разрешить вопрос о туалете, потому что дверь открылась, и вошла Регина, чтобы позвать свою будущую невестку, так как какое-то хозяйственное дело требовало ее присутствия. Тони с полной готовностью встала и вышла из комнаты; что касается Регины, то она не пошла за ней, а уселась на ее место у окна.

Повелительница Бургсдорфа не обладала дипломатическим талантом своего брата и предпочитала всегда идти напролом. У нее лопнуло терпение, потому что Виллибальд почти ничего не мог рассказать ей и только краснел и заикался, когда она заставляла его повторять, что говорила «театральная принцесса», и описывать ее поведение. Мать не верила, чтобы болтовня девушек была невинной, и решила сама взяться за дело.

Мариетта вежливо привстала, когда вошла пожилая дама, которую она видела лишь мельком во время первого визита и враждебной мины которой вовсе не заметила, обрадованная встрече с подругой. Она отметила только, что будущая свекровь Тони – не особенно любезная особа, и больше не

думала об этой строгой даме, с видом судьи оглядывавшей ее теперь с ног до головы.

В сущности, на вид эта Мариетта ничем не отличалась от других девушек, но она была хороша собой, даже очень хороша! Найдем изъян! Ее выющиеся волосы были обрезаны, это неприлично! Ее прочие дурные качества, несомненно, должны были выясниться при разговоре – и разговор начался.

– Вы дружны с невестой моего сына, дитя мое?

– Да, – последовал непринужденный ответ.

– Как я слышала, вы подружились еще в детстве? Вы воспитывались в доме доктора Фолькмара?

– Да, я рано лишилась родителей.

– Мой зять говорил мне об этом. Чем занимался ваш отец?

– Он был доктором, как и дедушка, да и моя мать была дочерью доктора; настоящая семья медиков, не правда ли? Одна я выбрала другое занятие.

– Да, к сожалению! – с ударением сказала Регина.

Девушка взглянула на нее с удивлением. Что это? Шутка? Но на лице дамы не было и следа шутливого выражения и, кроме того, она продолжала:

– Вы, конечно, согласитесь со мной, дитя мое, что тот, кто имеет счастье происходить из уважаемой, почтенной семьи, должен быть достойным этого счастья. При выборе занятия вам следовало это учесть.

– Боже мой! Не могла же я изучать медицину, как мой

отец и дедушка! – воскликнула Мариетта, звонко рассмеявшись.

Разговор казался ей крайне забавным, но ее замечание очень не понравилось строгому судье. Регина резко возразила:

– Слава Богу, на свете существует немало приличных и почетных профессий для девушки. Вы певица?

– Да, я пою на сцене придворного театра.

– Знаю. Вы хотите бросить сцену?

Этот вопрос был задан таким повелительным тоном, что Мариетта невольно отпрянула. Она все еще думала, что упорная молчаливость и стремительный побег Виллибальда доказывали его ненормальность, но теперь у нее вдруг мелькнула мысль, что он страдает семейным недугом, полученным в наследство от матери, потому что с ней было явно не все в порядке.

– Бросить? – повторила она. – Зачем?

– Из уважения к нравственности. Я готова протянуть вам руку помощи. Сойдите с этой стези легкомыслия, и я обещаю найти вам место компаньонки.

Молодая певица поняла, в чем дело, и, рассерженно откинув назад кудрявую головку, воскликнула:

– Очень благодарна вам! Я люблю свое занятие и не собираюсь менять его на какое-нибудь другое, я не хочу быть зависимой и не гожусь для роли старшей горничной.

– Я ожидала такого ответа, но считала своим долгом еще

раз обратиться к вашей совести. Вы еще очень молоды и потому не можете понять всей полноты ответственности; главная вина падает на доктора Фолькмара, обрекшего на такую жизнь дочь своего сына.

– Покорнейше прошу вас оставить в покое моего дедушку! – вспльчиво крикнула Мариетта. – Если бы вы не были будущей свекровью Тони, я не стала бы даже отвечать на ваши вопросы, но оскорблять моего дедушку я не позволю никому на свете!

Обе дамы были так возбуждены, что ни одна из них не заметила, как на пороге соседней комнаты появился Виллибальд. Увидев мать, он испугался и поспешно сунул в карман что-то, бережно завернутое в бумагу, но остался на пороге.

– Я вовсе не намерена спорить с вами, дитя мое, – сказала Регина сильно повышенным тоном, – но я действительно будущая свекровь Тони и в качестве таковой имею право оберегать ее от знакомств, которые нахожу неприличными. Прошу вас понять меня правильно. Я не спесива, и внука доктора Фолькмара, на мой взгляд, может дружить с моей невесткой, но особа, посвятившая себя театру, должна искать себе подруг исключительно в театральном мире, а здесь, в Фюрстенштейне... Надеюсь, вы меня поняли?

– О, да, я понимаю! – Мариетта вдруг густо покраснела. – Вы можете не продолжать, я прошу вас сказать мне только еще одно: господин фон Шонау и Антония согласны с тем, что вы мне сообщили?

– В принципе – разумеется, но, понятно, им не хотелось своим отказом... – и выразительное пожатие плеч дополнило фразу.

Регина без зазрения совести погрешила против истины. Увлечшись собственным мнением, она убедила себя, что лесничий только из духа противоречия, а Антония только из добродушия настаивают на продолжении знакомства, которое тяготит их самих, и потому решила положить ему конец. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Виллибальд двинулся вперед и проговорил голосом, выражавшим и просьбу, и упрек:

– Но, мама...

– Это ты, Вилли? Что тебе здесь надо? – спросила Регина, только теперь заметившая его присутствие и недовольная, что ей помешали.

Виллибальд прекрасно видел и слышал, что мамаша гневается, но удивительно храбро подошел ближе и повторил:

– Но, мама, Тони никогда и не думала желать, чтобы фрейлейн Фолькмар...

– Как ты смеешь? Не хочешь ли ты уличить меня во лжи? – сердито закричала мать. – Тебе какое дело до того, о чем мы говорим с фрейлейн Фолькмар! Видишь, твоей невесты тут нет, ну и убирайся!

Владелец майората очень смутился и покраснел. Хотя он давно привык к такому обращению, но присутствие девушки все-таки сконфузило его, и, казалось, он даже хотел воз-

разить. На его лице появилось выражение упорства, однако при грозном окрике матери: «Ну, слышишь ты или нет?» – старая привычка взяла верх: он нерешительно повернулся и ушел из комнаты, оставив дверь полуотворенной.

Презрительно сжав губы, Мариетта посмотрела ему вслед и снова обернулась к своей противнице.

– Можете быть спокойны, я в последний раз в Фюрстенштейне. Так как господин фон Шонау встретил меня по-прежнему приветливо, а Тони – по-прежнему сердечно, то я не могла Подозревать, что они считают меня заклеянной позором, иначе я, конечно, не стала бы навязывать им свои визиты. Больше этого не будет, никогда!

Голос отказывался ей служить, она едва сдерживала подступавшие слезы, и ее маленький ротик так жалко и горько подергивался, что Регина почувствовала, как далеко зашла в своей грубости.

– Я не хотела обижать вас, дитя мое, – примирительно сказала она. – Я хотела только объяснить вам...

– Не хотели обижать меня и говорите такие вещи? – перебила ее девушка, внезапно вспыхивая гневом. – Вы обращаетесь со мной как с какой-нибудь отверженной, которая не должна даже близко подходить к порядочным людям, и все только потому, что Бог дал мне талант и я зарабатываю им свой хлеб и доставляю людям удовольствие. Вы оскорбляете моего милого старого дедушку, который принес столько жертв, чтобы дать мне образование, и которому так тяжело

было отпускать меня в люди. Прощаясь со мной, он с горькими слезами на глазах обнял меня и сказал: «Оставайся честной, Мариетта! Честной можно быть везде. Я не сегодня-завтра закрою глаза и ничего не смогу оставить в наследство; ты должна сама заботиться о себе». И я осталась честной и всегда буду честной, хотя мне это будет не так легко, как Тони, у которой богатый отец и которая оставит родительский дом лишь для того, чтобы перейти в дом мужа. Но я не завидую ей в том, что она будет иметь счастье называть вас матерью!

– Вы забываетесь! – воскликнула оскорбленная Регина, величественно выпрямляясь во весь рост.

Но Мариетта не испугалась.

– О, нет, забываюсь не я; это вы забылись, когда оскорбили меня без всякого основания! Я знаю, что Тони и ее отец находятся под вашим влиянием и потому отворачиваются от меня; но все равно, я не нуждаюсь в их доброте и дружбе, если они так непрочны; мне не нужны подруги, которая отказывается от меня по приказанию свекрови; передайте ей это!

Девушка порывисто повернулась и выбежала. Но в соседней комнате самообладание, которое она с таким трудом сохраняла все время, оставило ее; горе пересилило гнев, и мужественно сдерживаемые слезы хлынули потоком. Она прислонилась головой к стене и горько расплакалась от обиды.

Вдруг кто-то тихо и робко произнес ее имя; Мариетта подняла голову и увидела Виллибальда, который стоял перед ней и протягивал сверток, поспешно сунутый перед тем в

карман. Теперь бумага была развернута, и в ней лежала ветка розы с прекрасным душистым цветком и двумя полураспустившимися бутонами.

– Фрейлейн Фолькмар, – повторил он запинаясь, – вы желали иметь розу... пожалуйста, возьмите...

В его глазах, во всей его позе достаточно ясно выразилась немая просьба простить грубое поведение его матери. Мариетта подавила рыдания; на ее темных глазах еще сверкали слезы, но в то же время в них можно было прочесть безграничное презрение.

– Благодарю вас! – резко ответила она. – Вы, конечно, слышали наш разговор, и, наверно, получили приказание избегать меня. Почему же вы не повинуетесь?

– Моя мать несправедлива к вам, – проговорил Виллибальд вполголоса. – Она не имела также права говорить за других. Тони даже не подозревает, поверьте мне...

– Вот как! А вы знаете это и не нашли нужным возразить? Вы слышали, как ваша мать оскорбляла беззащитную девушку, и у вас не хватило мужества вступить за нее? Правда, вы попробовали было, но вас выбрали и выгнали, как мальчишку, и вы все стерпели!

Виллибальд стоял как пораженный громом. Он глубоко чувствовал несправедливость матери и хотел по мере сил, загладить причиненное ею зло, и вдруг с ним так обращаются! Он растерянно молча смотрел на Мариетту. Но это молчание еще больше рассердило ее.

– А теперь вы являетесь ко мне с цветами, – продолжала она с возрастающим негодованием, – тайком, за спиной у матери, и воображаете, что я приму подобное извинение? Сначала научитесь, как должен вести себя мужчина, если ему случится быть свидетелем такой несправедливости, а потом являйтесь с любезностями! Теперь же... теперь я вам покажу, как отношусь к вашему подношению и к вам самим!

Она выхватила у него из рук розу, бросила на пол, и в следующую секунду маленькая ножка изо всей силы растоптала душистый цветок.

– Фрейлейн!..

Виллибальд возмущился и хотел запротестовать, но сверкающий взгляд темных глаз девушки, прежде таких веселых, заставил его замолчать. В довершение всего она презрительно отшвырнула бедные цветы ногой.

– Вот вам! Теперь мы с вами в расчете! Если Тони в самом деле ничего не подозревает, мне очень жаль, но все-таки я должна буду впредь держаться от нее подальше, потому что не намерена подвергаться новым «оскорблениям». Желая ей быть счастливой; я же на ее месте не была бы счастлива. Я бедная девушка, но не вышла бы замуж за человека, боящегося своей мамы, хоть бы он десять раз был владельцем бургсдорфского майората!

В следующую минуту она уже исчезла, а бедный владелец майората так и остался стоять на месте.

– Что это значит, Вилли? – раздался вдруг голос матери,

стоявшей за полупритворенной дверью. Так как ответа не было, то она вошла и направилась к сыну с видом, не предвещавшим ничего хорошего. – Я стала свидетельницей преудивительной сцены! Не будешь ли ты так добр объяснить мне, что она означает? Эта девчонка кипятилась и говорила тебе в лицо самые возмутительные вещи, а ты стоял перед ней как баран и даже не думал защищаться.

– Потому что она была права, – пробормотал Вилли, все еще глядя на растоптанные розы.

– Она была... что? – спросила мать, не веря своим ушам.

– Я говорю – права, мама. Это правда, что ты обошлась со мной, как с мальчишкой; против этого я не мог ничего сказать.

– Мальчик! Да ты, кажется, рехнулся? – прошипела Регина, но Виллибальд рассерженно перебил ее:

– Я не мальчик! Я владелец бургсдорфского майората, и мне двадцать семь лет. Ты всегда забываешь это, мама! К сожалению, я и сам совсем забыл об этом, но теперь, наконец, вспомнил.

Регина в безграничном изумлении смотрела на своего покорного сына, вдруг осмелившегося противоречить.

– Право, ты, кажется, собираешься закусить удила! Смотри! Ты знаешь, я подобных вещей не терплю. Как ты смеешь позволять себе такое своеволие? Я стараюсь разорвать это в высшей степени неприличное знакомство и устранить эту Мариетту, а ты в это время у меня за спиной буквально про-

сишь у нее прощения и даже преподносишь розы, которые приготовил невесте. Правду сказать, меня удивляет, как ты до этого додумался, ведь ты не очень сообразительный. Ну уж Тони поблагодарит тебя, когда узнает, что произошло с ее цветами! И поделом тебе, что этот злющий чертенок растоптал их; впредь не станешь делать такие глупости.

Она бранила сына, как всегда, не обратив никакого внимания на его попытку противоречить, но на этот раз Вилли-бальду это не понравилось. Десять минут тому назад он трусливо спрятал цветы в карман, чтобы не быть уличенным в такой любезности, теперь же вдруг ощутил прилив мужества и, вместо того чтобы унять расходившуюся бурю, заставил ее забушевать еще сильнее.

– Розы предназначались вовсе не для Тони, а для фрейлейн Фолькмар, – упрямо объявил он.

– Для?.. – у Регины от ужаса слова застряли в горле.

– Для фрейлейн Фолькмар! Она выразила желание приколоть к волосам розу на сегодняшний вечер, а так как в Вальдгофене нет больше роз, то я пошел к садовнику и достал цветок. Теперь тебе все известно, мама!

Регина фон Эшенгаген остолбенела. Она побелела как мел, потому что ее вдруг осенило, и она увидела все в истинном свете; это лишило ее дара речи и способности двигаться. Впрочем, к ней скоро вернулась энергия; она схватила сына за руку и произнесла коротко и ясно:

– Вилли, мы завтра же уезжаем!

– Уезжаем? – переспросил он. – Куда?

– Домой! Мы выедем в восемь часов утра и еще поспеем на курьерский поезд, а послезавтра будем уже в Бургсдорфе. Ступай сию же минуту в свою комнату и собирайся.

Увы! Повелительный тон на этот раз не произвел на Вилли никакого впечатления.

– Я не буду собираться, – упрямо объявил он. – Если ты непременно хочешь ехать, уезжай, а я останусь.

Это была неслыханная дерзость, но она устраняла последние остатки сомнения, а потому решительная дама, все еще продолжавшая крепко держать сына, изо всей силы тряхнула его за руку.

– Опомнись! Приди в себя! Ты сам еще не знаешь, что с тобой, так я тебе скажу: ты влюблен! Влюблен в эту Мариетту Фолькмар!

Она выкрикнула последние слова голосом, который должен был буквально сразить ее сына, но Вилли стоял спокойно. Правда, на одну минуту он окаменел от изумления; действительно, ему это и в голову не приходило и только теперь стало ясно.

– О! – сказал он с глубоким вздохом, и что-то похожее на улыбку показалось на его лице.

– О! Это – весь твой ответ? – закричала разгневанная мать. – Ты даже не отрицаешь этого? И это – мой единственный сын, которого я воспитывала и ни на шаг не отпускала от себя! Я ставила тебя сторожем на то время, когда эта

особа сидела у твоей невесты, а она околдовала тебя самого, иначе это не назовешь. И она же после этого разыгрывает передо мной оскорбленную добродетель, униженную невинность! Эта тварь...

– Мама, перестань! Этого я не потерплю! – сердито остановил ее Вилли.

– Ты не потерпишь? Что это значит? – воскликнула Регина, но, вдруг повернув голову к двери, стала прислушиваться. – Вот возвращается Тони, твоя невеста, которой ты дал слово, которая носит твое кольцо. Какими глазами ты посмотришь на нее?

Она нашла, наконец, действенное средство. Молодой человек вздрогнул, а когда ничего не подозревающая Антония вошла в комнату, молча опустил голову.

– Ты уже вернулся, Вилли? – спросила она. – Я думала... Но что с тобой? Что-нибудь случилось?

– Да, – сказала Регина. – Мы только что получили телеграмму из Бургсдорфа, и нам необходимо уехать завтра же утром. Не пугайся, дитя мое, опасного ничего нет, там сделали одну глупость, – она резко подчеркнула это слово, – которую можно быстро исправить, если вовремя принять меры. Я тебе после расскажу в чем дело, а пока ничего не делаешь, надо ехать.

Любопытство не принадлежало к числу недостатков Тони, и даже такое неожиданное известие не было в состоянии вывести ее из обычного равнодушия; уверение же, что ниче-

го серьезного не случилось, окончательно ее успокоило.

– Неужели и Вилли необходимо ехать? – спросила она без особенного волнения. – Не может ли хоть он остаться?

– Ну, Вилли, отвечай же невесте! – Регина властно устремила свои зоркие серые глаза на сына. – Тебе лучше чем кому Другому известно, как обстоит дело. Можешь ли ты взять на себя ответственность за то, что случится, если ты останешься здесь?

Глаза Виллибальда встретились с глазами матери; он отвернулся и проговорил сдавленным голосом:

– Нет, Тони, я должен ехать. Иначе нельзя.

Антония выслушала это заявление, которое наверняка опечалило бы другую невесту, весьма спокойно и тотчас занялась обсуждением вопроса, где путешественники будут завтра обедать, потому что курьерский поезд нигде не останавливался надолго; это беспокоило ее почти так же, как и разлука. Наконец она решила, что лучше всего будет взять с собой бутерброды и поехать дорогой.

Регина торжествовала, идя к зятю, чтобы объявить ему об отъезде, для которого так быстро нашла предлог. В самом деле, мало ли какое неожиданное событие могло произойти в большом имении, что потребовало бы присутствия хозяина. Разумеется, лесничий, как и его дочь, не узнал правды, хотя именно его недалёковидность и была причиной неприятности. Впрочем, Регина ничуть не сомневалась, что Вилли немедленно образумится, как только ей удастся благопо-

лучно удалить его от чар «колдовства»: ведь он уже доказал это, решив уехать. Она ни за что бы не согласилась с утверждением, что решение об отъезде было принято только благодаря честности Вилли по отношению к невесте и что сама она сделала большой промах, заведя разговор о его чувствах к другой.

– погоди, мой милый! – сердито ворчала она. – Я тебе покажу, как затевать такие истории да бунтовать против матери! дай только нам вернуться в Бургсдорф, тогда упаси тебя Боже!

В назначенный день герцог с супругой в сопровождении многочисленной свиты прибыл в Фюрстенштейн, и здесь, как и в прежние времена, в громадном, великолепном бору закипела жизнь.

Нынешний герцог не был страстным охотником; поэтому старый охотничий замок годами пустовал, а если его изредка и посещали, то на самый короткий срок. Однако на этот раз предполагалось, что двор пробудет здесь несколько недель, а обширное здание не могло вместить в себе всех приехавших гостей, так что некоторых пришлось поселить в Вальдгофене; городок и все окрестности были охвачены радостным волнением. Это событие привлекло сюда на осенний охотничий сезон владельцев соседних замков и поместий, принадлежавших большей частью к знатнейшим фамилиям государства, причем почти каждый привез с собой гостей. Таким образом, в тихих горных лесах забурилась жизнь. Фюрстенштейн был в центре всех событий.

Замок сиял огнями, все окна верхнего этажа были ярко освещены; во дворе пылали смоляные факелы. Давали первый бал со времени приезда герцога; на него были приглашены все соседние помещики, важнейшие должностные лица округа, словом, кто только мог иметь притязание на высочайшее внимание. Многочисленные парадные залы замка

при ярком свете множества свечей производили ошеломляющее впечатление своим дорогим убранством и толпой двигавшихся по ним гостей.

Среди многочисленных присутствующих здесь дам молодая супруга прусского посланника была совершенно новым лицом. Траур по отцу, умершем вскоре после ее свадьбы, не позволял ей до сих пор посещать подобные празднества, и сегодня она впервые появилась в этом высшем обществе, где положение мужа обеспечивало ей видное место; даже герцог и герцогиня удостаивали ее особым вниманием.

Впрочем, придворные дамы с некоторым недоброжелательством отнеслись к восходящей звезде; они считали, что Адельгейда фон Вальмоден слишком высокомерна, хотя у нее нет совершенно никаких оснований чваниться; ведь всем было известно, что она не дворянка, а потому не имеет права принадлежать к высшему свету, хотя богатство и положение ее отца в промышленном мире дают ей известные преимущества. Тем не менее она держала себя в новой для нее обстановке с удивительным самообладанием. Очевидно, муж отлично вышколил ее для этого первого появления в светском обществе.

Мужчины же придерживались мнения, что посланник наиболее блестяще проявил свой дипломатический талант там, где ему пришлось хлопотать о себе самом. Стоя уже на пороге старости, он умудрился получить руку прелестной молодой женщины и вместе ж ней – громадное состояние.

Сам Вальмоден, по-видимому, вовсе не был удивлен впечатлением, которое его жена произвела своей красотой и манерами, и принимал это как нечто совершенно естественное; он и не ждал ничего другого и, напротив, в высшей степени удивился бы, если бы случилось иначе.

В настоящую минуту он стоял в оконной нише со своим шурином фон Шонау и после нескольких незначительных фраз относительно праздника и гостей спросил как бы вскользь:

– Кого это привел с собой князь Адельсберг? Ты знаешь этого господина?

– Ты говоришь о молодом румыне? – спросил Шонау. – Нет, я сам впервые вижу его сегодня, но я много о нем слышал. Это закадычный друг принца; он ездил вместе с ним на Восток. Очень красивый малый; глаза так и горят.

– На меня он производит впечатление искателя приключений, – холодно заметил Вальмоден. – Каким образом он получил приглашение? Он был представлен герцогу?

– Да, насколько я знаю, это случилось на днях в Родеке, когда там был герцог. Князь Адельсберг любит поступать наперекор всем правилам этикета. Впрочем, приглашение на бал еще не значит, что он принят при дворе; сегодня всех приглашали.

– Все равно, следовало бы подумать, прежде чем допустить в общество неизвестно откуда взявшуюся личность.

– У вас, дипломатов, все должно быть подтверждено ка-

ким-нибудь документом с печатью, – засмеялся лесничий. – В этом Роянове, несомненно, есть что-то аристократическое, и, кроме того, к иностранцу не относятся так придирчиво. Я не ставлю в упрек герцогу и принцу того, что им хочется видеть и слышать что-нибудь, не похожее на обычное придворное общество; им наверняка страшно надоедает из года в год любоваться одними и теми же лицами. Герцог, кажется, просто в восторге от этого румына.

– Да, похоже на то, – проворчал Вальмоден.

– Однако, какое нам до этого дело? – продолжал Шонау. – Пойду посмотрю, что подельывает Тони. Ведь ей пришлось явиться без жениха. Опять эта Регина выкинула штуку! Улетела, как ракета, со своим сынком! Как только дело касается ее возлюбленного Бургсдорфа, твоей сестры ничем не удержишь. Хоть бы Вилли мне оставила! Решительно никто не может понять, как это мой будущий зять укатил как раз перед праздником, да я и сам этого не понимаю.

«Счастье, что их нет!» – подумал Вальмоден, расставшись с шурином.

Если бы Виллибальд неожиданно столкнулся со своим бывшим другом, то, пожалуй, снова разыгралась бы сцена вроде той, которая была на днях в Гохберге. Кто мог предполагать, что у Гартмута хватит наглости явиться в общество, где он обязательно встретится с посланником.

Князь Адельсберг в самом деле представил своего друга, и первая встреча герцога с молодым иностранцем в Роде-

ке произвела на него такое благоприятное впечатление, что он сам представил его герцогине. Этот Роянов со своей подкупающей, обаятельной внешностью и каким-то Заграничным лоском был из ряда вон выходящей личностью, и, едва появившись, тотчас стал центром внимания; сегодня же он проявил все прекрасные качества, которыми так щедро одарила его природа. Собеседники отмечали его незаурядный ум, а пылкий темперамент, невольно проявляясь во всем его поведении, придавал ему особое очарование. В то же время он был вполне светским человеком, соблюдающим все требования утонченных и изящных правил изысканного общества. Одним словом, предсказание молодого принца сбылось. Как и везде, Гартмут, едва появившись в этом обществе, уже завоевал его силой своего обаяния.

Это не ускользнуло от внимания посланника, хотя ему еще не пришлось лицом к лицу столкнуться с «румыном»; при огромном наплыве гостей нетрудно было затеряться в толпе, а встречи ни один из них не желал.

Вальмоден отправился в соседний зал, где собралось многочисленное общество вокруг сестры герцога, принцессы Софии.

Принцесса была замужем за младшим принцем одного из герцогских домов, но, рано овдовев, вернулась ко двору своего брата, где ее, впрочем, недолюбливали из-за спесивости и сварливости; все боялись ее острого язычка и нехорошей привычки каждому преподнести что-нибудь неприят-

ное. Этой участи не избежал и Вальмоден. Принцесса милостиво подозвала его к себе и для начала осыпала лестными комплиментами по поводу красоты его жены.

– Поздравляю вас, барон! Я была крайне поражена, когда вы представили мне свою жену; само собой разумеется, я ожидала увидеть даму постарше.

Это «само собой разумеется» было сказано с ядовитым намерением уколоть. Тем не менее Вальмоден очень любезно улыбнулся.

– Ваше высочество очень милостивы. Я очень рад, что моя жена имела счастье произвести приятное впечатление.

– О, в этом нет сомнения! Герцог и герцогиня вполне разделяют мое мнение. Ваша супруга, действительно, красавица; кажется, и принц Адельсберг так считает. Вероятно, вы не заметили, до какой степени он восхищается вашей женой?

– Напротив, ваше высочество, я заметил.

– В самом деле? Что же вы на это скажете?

– Я? – спросил Вальмоден с полнейшим спокойствием. –

Примет ли моя жена поклонение принца или нет, это исключительно ее дело. Если оно доставляет ей удовольствие, я нисколько не стесняю ее в этом отношении.

– Завидная уверенность! Нашей молодежи не мешало бы брать с вас пример, – сказала принцесса, раздраженная тем, что ее стрела не попала в цель. – Во всяком случае молодой даме, должно быть, очень приятно иметь мужа, совершенно не расположенного к ревности. А, да вот и она сама! И ры-

царь, разумеется, при ней! Милейшая баронесса, мы только что говорили о вас.

Адельгейда, вошедшая в сопровождении принца, поклонилась. В богатом придворном наряде она, действительно, была ослепительна. Тяжелые складки дорогого штофного белого платья великолепно подчеркивали ее высокую, стройную фигуру, а жемчуг, украшавший ее шею, и бриллианты, сверкавшие в белокурых волосах, вызывали зависть всех присутствующих дам. Но тем сильнее бросались в глаза своеобразная холодность и серьезность молодой женщины; она резко отличалась от дам ее возраста, которые тоже в большинстве своем были уже замужем, но еще украшали себя, как девушки, воздушными кружевами и цветами. В ней не было и следа той показной прелести, той чарующей любезности, которые те усердно демонстрировали; каждое ее замечание носило отпечаток строгой, волевой натуры, унаследованной ею от отца.

Принц Эгон подошел к руке своей светлейшей тетки и удостоился нескольких милостивых слов, но вслед за тем вся любезность ее высочества была адресована молодой женщине.

– Я только что выразила вашему супругу свое удовольствие по поводу того, что вы так быстро и легко вписались в наше придворное общество, милая баронесса. Ведь сегодня вы впервые появились в свете и, по всей вероятности, до сих пор жили совсем в другой обстановке. Вы – урожденная...

– Штальберг, ваше высочество, – спокойно ответила Адельгейда.

– Да, да, помню, я не раз слышала эту фамилию; она ведь довольно известна... в промышленном мире.

– Многоуважаемая тетушка, позвольте мне сообщить вам более точные сведения, – вмешался принц Адельсберг, редко упускавший случай позлить свою тетку. – Metallургические заводы Штальберга пользуются всемирной известностью. Несколько лет тому назад, будучи в северной Германии, я имел возможность лично познакомиться с ними и могу вас уверить, что эти заводы с множеством служащих и целой армией рабочих смело могут сравниться с каким-нибудь маленьким княжеством, с той только разницей, что иной владетельный князь не пользуется такой неограниченной властью, какой пользовался отец баронессы в своих владениях.

Принцесса наградила племянника не совсем дружелюбным взглядом (его вмешательство было ей вовсе не по вкусу), однако проговорила самым невинным тоном:

– Неужели? Я и не подозревала о подобном величии. Значит, в лице барона мы должны приветствовать настоящего властелина?

– Я не более как наместник в этом государстве, вашего высочество, – ответил посланник. – Я – душеприказчик покойного тестя и опекун его сына, к которому перейдут все заводы как только он достигнет совершеннолетия.

– А, вот как! Надо надеяться, сын сумеет сберечь полу-

ченное наследство. Право, удивительно, что может сделать в наше время человек, обладающий энергией, особенно если он, как отец нашей милой баронессы, выходец из низших слоев общества. По крайней мере, мне так говорили. Или, может быть, я ошибаюсь?

Принцесса Софья отлично знала, что эти рассуждения о низком происхождении его тестя не могли быть приятны посланнику, потому что одного из самых древних дворянских родов в Пруссии; ей доставляло несказанное удовольствие то обстоятельство, что окружающие ловили каждое слово этого разговора, единственной целью которого было унижить урожденную Штальберг. Но она ошиблась, рассчитывая, что заставит Адельгейду смутиться или уклониться от ответа; молодая женщина гордо подняла голову.

– Вашему высочеству сказали правду. Мой отец пришел в столицу бедным мальчиком, без, всяких средств; он с большим трудом выбился в люди и, прежде чем основал свое дело, много лет работал простым рабочим.

– С какой гордостью вы говорите это! – улыбаясь воскликнула принцесса. – О, я чрезвычайно люблю эту детскую привязанность! Итак, господин Штальберг... или, может быть, фон Штальберг? Крупные промышленники нередко носят дворянский титул.

– Мой отец его не носит, ваше высочество, – ответила Адельгейда. – Ему предлагали дворянство, но он отказался.

Посланник сжал свои тонкие губы; он находил это заяв-

ление жены в высшей степени недипломатичным. В самом деле принцесса рассердилась и возразила колко-насмешливым тоном:

– Ну, значит, хорошо, что дочь не унаследовала от отца его антипатии к дворянскому сословию. Его превосходительство должен особенно радоваться этому. Вашу руку, Эгон! Проводите меня к брату! – и принцесса удалилась под руку с молодым принцем, «на лице которого ясно можно было прочесть: «Теперь моя очередь!»».

Эгон не ошибся. Ее высочество вовсе и не думала идти к брату, а уселась в следующей же комнате и усадила рядом с собой молодого родственника с целью поговорить с ним с глазу на глаз. Впрочем, сначала она отвела душу, излив свой гнев на эту «нестерпимо надутую фон Вальмоден, которая чванится мещанским происхождением своего отца, хотя сама из тщеславия вышла за барона, потому что о расположении к человеку, годящемся ей в отцы, конечно, и речи быть не может». Эгон промолчал: он и сам уже задавал себе вопрос, каким образом мог быть заключен этот неравный брак, и не находил на него ответа. Однако молчание было поставлено ему в вину.

– Ну, что же, Эгон? Вы так ничего и не скажете? Впрочем, вы, кажется, записались в рыцари этой дамы; вы ни на шаг от нее не отходите!

– Я поклоняюсь красоте, где бы ни встретил ее, – сказал молодой принц, но этим вызвал новую бурю.

– Да, к сожалению, я это знаю! В этом отношении вы невероятно легкомысленны. Вы, наверно, не помните тех увещаний и предостережений, которые я сделала вам перед вашим отъездом?

– О, еще как помню! – вздохнул Эгон; при одном воспоминании о бесконечной проповеди, которую ему пришлось тогда выслушать, его бросило в жар.

– Правда? Но нельзя сказать, чтобы вы стали от этого благодарнее; я слышала такие вещи... Эгон, вас может спасти только одно – вы должны жениться.

– Ради Бога, только не это! – воскликнул принц с таким ужасом, что тетка с негодованием раскрыла свой веер. – Я чувствую себя недостойным вступить в этот священный союз. Вы сами, ваше высочество, бесчисленное множество раз доказывали Мне, что с моим характером я сделаю свою жену несчастной.

– Разумеется, если этой жене не удастся исправить вас; но я еще не отказываюсь от этой надежды. Здесь, правда, не место рассуждать о таких вещах, но герцогиня собирается побывать в Родеке, и я намерена присоединиться к ней.

– Какая восхитительная идея! – воскликнул Эгон, хотя этот визит испугал его почти так же, как и план женить его. – Я горжусь тем, что мой Родек может в настоящую минуту предложить вниманию гостей несколько интересных вещей; я привез с собой из своих странствий много разных разновидностей, между прочим, льва, двух молодых тигров, змей раз-

личных пород...

– Надеюсь, не живых? – испуганно спросила принцесса.

– Конечно, живых, ваше высочество.

– Но, Боже мой, значит, у вас в доме нельзя быть уверенным в собственной безопасности?

– О, опасность не так уж велика! Правда, случалось, что звери вырывались на свободу, но их каждый раз сразу же ловили, и они еще никому не причинили вреда.

– Да вы своими затеями подвергаете опасности жителей всех окрестностей! Герцогу следовало бы запретить вам подобные забавы.

– Надеюсь, что он не запретит, потому что я серьезно занимаюсь опытами приручения диких животных. Впрочем, кроме того, я могу предложить вашему вниманию и кое-что экзотическое, но не менее интересное: среди моей прислуги есть несколько туземных девушек, которые очень красивы в своих национальных костюмах.

Эгон с тайным содроганием вспомнил о своей женской прислуге с «трясущимися головами», которая все еще услаждала его взор благодаря заботам о нем Штадингера. Но его расчет оказался верен: тетка была возмущена и смерила его уничтожающим взглядом.

– Вот как! Так у вас в Родеке и это есть?

– Еще бы! Особенно хороша Ценца, внучка моего управляющего, очаровательное маленькое создание! И, если вы сделаете мне честь пожаловать, многоуважаемая тетушка...

– Нет уж, я лучше откажусь от этого удовольствия, – с гневом возразила принцесса. – Должно быть, хорошие порядки вы завели у себя в Родеке с тем молодым иностранцем, которого притащили с собой из своих странствий; вероятно, он тоже в числе редкостей, потому что выглядит настоящим разбойником.

– Мой друг Роянов? Он уже давно жаждет чести быть представленным вам, ваше высочество; вы позволите, не правда ли? – и, не дожидаясь ответа, принц бросился за Гартмутом. – Теперь твоя очередь! – шептал он ему, без церемоний таща его за собой. – Я достаточно долго играл роль жертвенного агнца, а моей светлейшей тетушке необходим кто-нибудь, кого она могла бы поджаривать на медленном огне. Между прочим, меня она намерена женить, а ты, по ее мнению, выглядишь сущим разбойником, но зато в Родек она, слава Богу, не явится; об этом я позаботился.

В следующую минуту Эгон уже стоял перед ее высочеством со своим другом и с самой любезной улыбкой представлял его.

После ухода принцессы Вальмоден на несколько минут остался в том же окружении, а потом, взяв жену под руку, медленно пошел по залам, раскланиваясь со знакомыми, иногда останавливаясь, чтобы обменяться несколькими фразами с тем или другим; таким образом они дошли до последней приемной, почти пустой. Небольшая, примыкающая к ней комната в башне, обычно посещаемая только ради кра-

сивого вида, который открывался из ее окон, была на этот вечер убрана коврами, драпирована тканями и цветущими растениями; таким образом получился укромный уголок, представлявший приятный контраст со светлыми, шумными залами. В настоящую минуту здесь никого не было, и посланник на это и рассчитывал, когда вел сюда жену. Он усадил ее на диван.

– Я должен сказать тебе, Адельгейда, что ты очень неразумно вела себя, – начал он, понизив голос. – Твой ответ принцессе...

– Был вынужденной самозащитой, – перебила его молодая женщина. – Вероятно, ты не хуже меня понял истинную цель этого разговора.

– Все равно, не успела ты вступить в общество, как на первом же шагу приобрела себе врага в лице принцессы, немилость которой может затруднить твое и мое положение при дворе.

– Твое? Какое дело тебе, посланнику великой державы, до немилости злобной женщины, случайно оказавшейся в родстве с герцогским домом?

– Ты этого не понимаешь, дитя мое, – хладнокровно возразил Вальмоден. – Мстительная женщина бывает опаснее иного политического противника, а принцесса Софья известна в этом отношении. Даже герцогиня боится ее злого языка.

– Это дело герцогини, я же его не боюсь.

– Милая моя Адельгейда, это гордое движение головки чрезвычайно идет тебе, и я вполне одобряю такую неприступную манеру держать себя во всяком другом обществе, но при дворе ты должна отучиться от нее, как и от многого другого. Нельзя дерзить высочайшим особам при стольких свидетелях, а ты сделала именно это, упомянув об отказе твоего отца от дворянства. И вообще не было никакой надобности так подчеркивать его происхождение.

– Может быть, мне следовало скрывать его?

– Нет, потому что это всем известный факт. Но теперь ты уже не Адельгейда Штальберг, а баронесса Вальмоден. Ты Должна понимать, что отдать руку выходцу из древнего дворянского рода и в то же время кичиться своей мещанской гордостью – значит, противоречить самой себе.

На губах молодой женщины появилось выражение, похожее на огорчение. Она тихо произнесла:

– Герберт, верно, ты забыл, почему я отдала тебе руку?

– Разве ты имеешь причины раскаиваться?

– Нет. – Адельгейда глубоко вздохнула.

– Я надеюсь, что ты довольна положением, которое занимаешь как моя жена. Кроме того, ты знаешь, что я не оказывал на тебя никакого давления и предоставил тебе полную свободу выбора.

Молодая женщина промолчала, но выражение горечи на лице не исчезло.

Вальмоден, предложив ей руку, вежливо произнес:

– Ты должна позволить мне, дитя мое, иногда помогать тебе советом, ведь ты так неопытна. До сих пор я имел полное основание быть довольным тобой; сегодня же я впервые вынужден сделать тебе замечание. Позволь проводить тебя в зал.

– Мне хотелось бы посидеть здесь еще несколько минут, – тихо сказала Адельгейда. – В залах очень душно.

– Как тебе угодно, только, пожалуйста, не оставайся слишком долго, может показаться, что ты сторонишься общества.

Он видел и чувствовал, что жена обижена, но не считал нужным обращать на это внимание; он был превосходным воспитателем и не желал поощрять излишнюю щепетильность своей молоденькой жены. Он ушел, и Адельгейда осталась одна. Она опустила голову на руки и едва слышно прошептала:

– Свободу выбора! О, Боже мой!

Между тем принц Адельсберг и его товарищ были наконец милостиво отпущены; они только что раскланялись перед принцессой, которая поднялась и направилась к выходу из зала. Язвительное выражение ее – лица сменилось удивительной кротостью, и молодые люди, а в особенности Роянов, были отпущены с самой благосклонной улыбкой.

– Я, право, думаю, что ты колдун, Гартмут! – вполголоса сказал Эгон. – Я уже не раз имел возможность убедиться в твоей неотразимости, но вызвать припадок любезности у моей светлейшей тетушки – это что-то неслыханное, перед

этим бледнеют все твои предыдущие подвиги.

– Ну, прием-то был не особенно любезен, – насмешливо проговорил Гартмут. – Кажется, ее высочество в самом деле приняла меня за разбойника.

– А десять минут спустя она уже была сама любезность, отпущен же ты официальным любимцем. Поведай нам, как ты заставляешь всех без исключения подчиняться твоему обаянию! Я готов поверить старой сказке о крысолове.

На губах Гартмута снова появилась жесткая саркастическая усмешка, которая придавала его лицу какое-то дьявольское выражение.

– Вся штука в том, что я умею играть именно на той струнке, звуки которой приятнее всего данной женщине. Правда, она звучит у каждой по-своему, но стоит только попасть в унисон, и ни одна не устоит.

– Ни одна? – повторил Эгон, обводя глазами зал.

– Ни одна, говорю тебе!

– Ты пессимист в этом отношении, я же допускаю исключения. Если бы мне только узнать, куда девалась Адельгейда фон Вальмоден; я нигде ее не вижу.

– Вероятно, его превосходительство читает ей нотацию по поводу ее нетактичного ответа.

– Ну, я от души рад, что мою всемилостивейшую тетушку как следует проучили. Это, конечно, привело ее в бешенство. Но неужели ты серьезно думаешь, что посланник из-за этого... Тише! Вот он сам.

Они, действительно, увидели перед собой посланника, шедшего из угловой комнаты. На этот раз встреча была неизбежна. Молодой принц, не подозревавший о существовании тайных отношений между ним и Гартмутом, поспешил представить своего друга.

– Позвольте мне, ваше превосходительство, представить вам моего друга, который так бесследно исчез тогда в Гохберге; мне удалось поймать его только после вашего отъезда. Гартмут Роянов – барон фон Вальмоден.

Их глаза встретились. Гартмут с выражением вызывающего упорства выдержал острый, пронизывающий взгляд Вальмодена; но последний недаром был превосходным дипломатом – он умел действовать по обстоятельствам. Его поклон был холоден, но вежлив, и обращался он исключительно к принцу, когда в ответ на его слова выразил сожаление, что вынужден отказаться от удовольствия побеседовать с молодыми людьми, так как его ждет герцог. Встреча заняла не более двух минут, но все-таки она состоялась.

– Посланник держит себя сегодня еще официальнее, чем обычно, – заметил Эгон, когда они пошли дальше. – Каждый раз, когда я вижу эту холодную, непроницаемую физиономию дипломата, я чувствую настоятельную потребность бежать в более теплые края.

– Вследствие чего мы и стремимся так настойчиво вслед за прекрасным северным сиянием? – насмешливо спросил Гартмут. – Скажи, пожалуйста, кого, собственно, мы ищем,

так неутомимо разгуливая по залам?

– Лесничего! – с досадой ответил молодой принц, рассерженный тем, что его намерение разгадали. – Я ведь хотел познакомиться тебя с ним, но ты опять принялся за насмешки. Может быть, я найду Шонау в зале с колоннами; пойду посмотрю.

Принц поспешно ушел от Гартмута и, действительно, направился в зал, где были герцог и герцогиня и где он надеялся найти и Адельгейду. К счастью, в дверях он опять столкнулся со светлейшей тетушкой, которая и атаковала его. Она желала Узнать побольше об интересном молодом румыне, завоевавшем ее симпатию; Эгон волей-неволей вынужден был отвечать на ее расспросы.

Гартмут медленно и как будто бесцельно шел по длинной анфиладе комнат, по которым взад и вперед сновала толпа гостей. Он тоже искал кого-то, и судьба оказалась благосклоннее к нему, чем к Эгону. Бросив мельком взгляд в угловую комнату, вход в которую был наполовину закрыт тяжелой портьерой, он увидел там кончик белого шлейфа, и в следующую минуту был уже на пороге.

Адельгейда все еще сидела на том же месте и, услышав шаги, медленно повернула голову. Она сильно вздрогнула, но ее смущение тотчас исчезло, когда она, как всегда холодно и спокойно, ответила на низкий поклон молодого человека, остановившегося в дверях.

– Я не помешаю, баронесса? Боюсь, что вы искали здесь уединения, а я так внезапно ворвался сюда. Уверяю вас, я сделал это не нарочно.

– Нет, я только на несколько минут зашла сюда, чтобы освежиться от невыносимой жары в залах.

– То же самое привело сюда и меня, а так как я сегодня еще не имел чести засвидетельствовать вам свое почтение, то позвольте сделать это теперь.

Гартмут остановился на почтительном расстоянии. От его внимания не ускользнуло то, что, увидев его, Адельгейда вздрогнула, и на его губах появилась странная улыбка, в то

время как глаза пристально смотрели на молодую женщину.

Она сделала движение, как бы собираясь встать и уйти, но вовремя сообразила, что это будет похоже на бегство, и осталась сидеть. Сорвав одну из крупных красных камелий, Адельгейда рассеянно ответила на вопрос Гартмута о том, как она себя чувствует. В это время у нее было такое же неприступное лицо, как и в ту минуту, когда она стояла посреди лесного ручья и, чтобы не принимать предложенной ей помощи, не задумываясь шагнула по колени в воду.

– Вы еще долго пробудете в Родеке, господин Роянов? – спросила она безразличным тоном.

– Вероятно, еще несколько недель. Пока герцог в Фюрстенштейне, принц Адельсберг едва ли уедет из Родека. Потом я намерен ехать с ним в столицу.

– И там мы познакомимся с вами как с поэтом?

– Пока это только идея Эгона, – равнодушно сказал Гартмут. – Он решил поставить на сцене мою «Аривану».

– «Аривану»? Какое странное название!

– Это слово я взял из одной индийской легенды. Меня так захватила поэзия этой легенды, что я не мог устоять против искушения сделать из нее драму.

– И героиню драмы зовут Ариваной?

– Нет, это название древнего святилища, с которым связано предание. Героиню зовут Адой. – Роянов произнес это имя вполголоса, как будто нерешительно, но его глаза сверкнули торжеством, потому что Адельгейда опять слег-

ка вздрогнула. Он медленно подошел ближе продолжая: – Впервые я услышал это имя в Индии, и оно показалось мне таким необыкновенным и милым, что я дал его своей героине; только здесь я узнал, что это уменьшительное имя от одного немецкого.

– Да, от Адельгейды. Дома меня всегда так звали. Нет ничего удивительного в том, что в различных языках повторяются одни и те же сочетания звуков.

Ее ответ был уклончивым; молодая женщина не поднимала глаз и упорно смотрела на цветок, который вертела в руке.

– Конечно, ничего удивительного, – согласился Гартмут. – Мне просто бросилось это в глаза, но вовсе не показалось чем-нибудь особенным. Почти у всех народов повторяются даже целые предания; они более или менее отличаются по сюжету, но их сущность – людские страсти, счастье и горе – везде одна та же.

– Я не смею спорить о таких вещах с поэтом, но мне кажется, то наши немецкие предания носят иной характер, чем индийские легенды.

– Может быть, но взгляните глубже и вы откроете в них много общего, как и в предании об Ариване. Его герой, молодой жрец, дает клятву всецело посвятить себя служению божеству, неугасимому священному огню; но земная любовь охватывает его с такой силой, что он нарушает обет и сгорает в пламени страсти.

Гартмут стоял перед ней спокойный и корректный, но его

голос звучал как-то странно сдавленно, как будто за его рассказом скрывался другой, тайный смысл. Молодая женщина друг подняла глаза и, серьезно посмотрев на говорящего, спросила:

– А конец?

– Конец – смерть, как в большинстве легенд. Клятвопреступление открывается, и виновных приносят в жертву оскорбленному божеству. Жрец умирает на костре вместе с женщиной, которую любит.

Наступила короткая пауза, потом Адельгейда быстро встала, невидно, желая прекратить разговор.

– Вы правы, в этом предании есть кое-что родственное нашим, хотя бы, например, старое учение о грехе и искуплении.

– Вы называете это грехом? Хорошо, пусть это грех в глазах людей, и они карают его смертью, но они не подозревают, что такое наказание может превратиться в блаженство. Погибнуть в пламени, насладившись высшим счастьем на земле, и обладать им счастьем, даже умирая, – разве это не светлая, не дивная смерть? Не лучше ли она, чем целая жизнь, наполненная повседневной пошлостью? Это торжество вечного, бессмертного право любви, огненным языком возносящегося к небу назло всем человеческим канонам. Не находите ли вы, что такому концу стоит позавидовать?

Адельгейда слегка побледнела, но ответила совершенно твердо:

– Нет, завидна только смерть за высокий, святой долг; завидна жертва чистой жизни. Грех можно простить, но преклоняться перед ним нельзя.

Гартмут метнул угрожающий взгляд на белую фигуру женщины, с таким серьезным и недоступным видом стоявшей перед ним; но в следующую минуту улыбнулся.

– Суровый приговор! Он относится и к моему произведению, потому что я прославляю именно такую любовь и смерть. Если все будут судить так же... Ах, позвольте... – и он быстро подошел к дивану, с которого Адельгейда встала, оставив свой веер и цветок камелии.

– Благодарю вас – Она протянула руку, но Гартмут подал ей только веер.

– Простите, но когда я писал свою «Аривану» на веранде маленького индийского домика, всюду в темной зелени краснели эти цветы; теперь они как будто приветствуют меня здесь, на холодном севере. Вы позволите мне оставить у себя этот цветок?

– Нет, зачем?

– Зачем? На память о суровом приговоре из уст женщины, носящей прелестное имя моей героини. Посмотрите, там есть и белые камелии, нежные, чистые как снег; вы бессознательно сорвали огненно-красный цветок, а поэты суеверны. Оставьте мне этот цветок в залог того, что моему произведению все-таки удастся снискать ваше одобрение, когда вы познакомитесь с ним. Вы не подозреваете, как это важно для

меня.

– Господин Роянов, я...

Адельгейда, очевидно, собиралась отказать, но он перебил ее и продолжал пониженным, страстным голосом:

– Что вам стоит подарить мне один-единственный цветок, который вы сорвали без всякой цели и затем равнодушно бросите? Мне же... Оставьте мне этот залог, я прошу вас!

Еще в детстве, не отдавая себе отчета в неотразимом обаянии своих ласк и просьб, Гартмут пользовался им для того, чтобы «обезоруживать» окружающих; став взрослым, он чувствовал в себе эту силу и умел употреблять ее в дело, и она никогда еще не изменяла ему. Его голос звучал мягко, тихо, сдержанно и, как музыка, очаровывал слух, а его темные, загадочные глаза смотрели на молодую женщину мрачным и в то же время молящим взглядом. Она побледнела еще сильнее, но ничего не ответила.

– Я вас прошу! – повторил Гартмут еще тише, еще горячее и прижал к губам огненно-красный цветок.

Но именно это движение разрушило чары; Адельгейда вдруг выпрямилась.

– Прошу вас, господин Роянов, возвратить мне этот цветок. Я сорвала его для мужа.

– А! В таком случае прошу извинить меня, ваше превосходительство! – и с низким поклоном он подал ей камелию.

Адельгейда взяла ее, чуть заметно наклонив голову. Тяжелый шлейф ее белого платья прошуршал мимо Гартмута,

и он остался один.

Все напрасно! Эту ледяную натуру ничем нельзя было пронять! Гартмут с бешенством топнул ногой. Всего десять минут тому назад он произнес жестокий приговор всем женщинам без исключения, а только что пропел чарующую песню, силу которой так часто испытывал на деле, и вдруг нашлась женщина, устоявшая против нее. Гордому, избалованному человеку не хотелось верить, что он проиграл игру, которую всегда выигрывал, и проиграл именно здесь, где он готов был на все, чтобы выиграть ее.

И была ли это только игра? Гартмут еще не отдавал себе в этом отчета, но чувствовал, что к страсти, которая влекла его к этой красивой женщине, иногда примешивается что-то похожее на ненависть. Уже тогда, когда он шел рядом с ней по лесу, его волновали самые противоречивые ощущения: не то восхищение, не то антипатия. Но именно это и придавало интерес охоте и увлекало опытного охотника.

Любовь! Высокое, чистое значение этого слова осталось чуждо сыну Салики. Едва научившись чувствовать, он стал жить под опекой матери, так постыдно игравшей любовью своего мужа, а женщины, с которыми она водилась у себя на родине, были не лучше ее. Его дальнейшая жизнь с матерью, скитальческая, полная приключений, без уверенности в завтрашнем дне окончательно убила в его душе остатки лучших человеческих качеств; он уже умел презирать, не научившись любить, и теперь заслуженное унижение казалось

ему оскорблением.

– Сопrotивляйся сколько угодно! – пробормотал он. – Ты борешься с собой, я это вижу и чувствую, а в такой борьбе не бывает победителей.

Легкий шорох в дверях заставил Гартмута оглянуться. На пороге стоял посланник и обводил взглядом комнату. Он пришел за женой, предполагая, что она еще здесь. Увидев Гартмута, он остановился на мгновение в нерешительности, но потом вполголоса проговорил:

– Господин Роянов! Я хотел бы поговорить с вами с глазу на глаз.

– Я к вашим услугам.

– Я крайне удивлен, что вижу вас здесь, – начал посланник сдержанно, но тем оскорбительно-холодным тоном, от которого У молодого человека вся кровь прилила к вискам, как и при первой встрече.

Он угрожающе поднял голову.

– Почему же, ваше превосходительство?

– Вопрос, кажется, излишний. Как бы то ни было, я покорнейше прошу вас не ставить меня впредь в такое неловкое положение, как сейчас, когда принц Адельсберг представил вас мне.

– Неловким было мое положение, а не ваше! Я не хочу, чтобы вы считали меня нахалом, который вторгается в чужое общество. Вы хорошо знаете, что я имею право бывать в этом обществе.

– Гартмут фон Фалькенрид, бесспорно, имел это право, но обстоятельства изменились.

– Господин фон Вальмоден!

– Пожалуйста, потише! – остановил его посланник. – Нас могут слышать, а для вас, конечно, нежелательно, чтобы только что произнесенное мною имя долетело до чужих ушей.

– Действительно, в настоящее время я ношу имя матери, на которое имею несомненное право, но если я отказался от того, другого имени, то единственно из деликатности...

– По отношению к вашему отцу, – договорил Вальмоден с резким ударением.

Гартмут вздрогнул; он до сих пор не мог спокойно переносить напоминание об этом.

– Да, – коротко ответил он, – и, признаюсь, мне было бы неприятно, если бы что-нибудь вынудило меня забыть эту деликатность.

– Это единственная причина? Ведь в таком случае ваше присутствие здесь неуместно.

Роянов с гневным жестом подошел к посланнику.

– Вы друг моего отца, я звал вас в детстве дядей, но вы забываете, что я уже не мальчик, которому вы могли делать выговоры и давать наставления. Взрослые люди считают это оскорблением.

– Я не намерен ни оскорблять вас, ни вспоминать о старых отношениях, которые мы оба считаем несуществующими.

ми, – холодно сказал Вальмоден. – Начиная этот разговор, я хотел только втолковать вам, что мое служебное положение не позволяет мне видеть вас при здешнем дворе и молчать. Мой долг – все рассказать герцогу.

– Что именно?

– Многое, чего здесь не знают и что, конечно, осталось неизвестно и принцу Адельсбергу. Прошу вас не горячиться! Я решусь на это только в крайнем случае, потому что обязан щадить друга. Я знаю, как тяжело он перенес известное вам происшествие, случившееся десять лет назад; теперь оно забыто и похоронено у нас на родине, но если вдруг воскреснет и будет предано гласности, полковник Фалькенрид не переживет этого.

Гартмут побледнел, и дерзкий ответ замер на его губах. Его отец не переживет этого! Он слишком хорошо понимал истину этих страшных слов, и на минуту они отодвинули на задний план даже оскорбительный характер разговора.

– Я не обязан никому, кроме отца, давать отчет в том поступке, – сказал он, едва владея голосом.

– Он едва ли потребует его: сын для него умер. Но оставим то; я говорю главным образом о том времени, когда вы с матерью жили на довольно широкую ногу в Риме и Париже, несмотря на то, что румынские поместья были проданы с аукциона.

– Вы, кажется, всеведущи! – воскликнул Роянов с крайним раздражением. – Мы не подозревали, что находимся под

таким бдительным надзором! Впрочем, мы жили на остатки своего состояния, которые удалось спасти.

– Никаких остатков не было!

– Это неправда! – гневно закричал Гартмут.

– Это правда! – резко возразил посланник. – Весьма возможно, что ваша мать не хотела открывать сыну источники, из которых черпала средства для жизни, и намеренно оставляла его в заблуждении, но я знаю эти источники. Если вам они неизвестны, тем лучше для вас.

– Не смейте оскорблять мою мать, – вне себя крикнул молодой человек, – иначе я не посчитаюсь с вашими сединами и потребую от вас удовлетворения...

– В чем? Не в том ли, что я утверждаю факт, который могу доказать? Бросьте эти глупости! Это была ваша мать, она умерла, а потому не станем больше касаться этого вопроса, хотел бы только задать вам один вопрос: намерены ли вы оставаться здесь и после нашего разговора и возвращаться в обществе, в которое вводит вас принц Адельсберг?

Гартмут побледнел при намеке на неизвестные источники средств, на которые жила его мать; немой ужас, с которым он смотрел в лицо говорящему, доказывал, что он в самом деле ничего не знал, но сейчас к нему вернулось самообладание. Его глаза загорелись и уверенно встретили взгляд противника.

– Да, я остаюсь! – решительно ответил он.

Посланник, очевидно, не ждал от Гартмута такого упор-

ства и считал дело более легким. Однако он не утратил спокойствия.

– В самом деле? Вы хотите остаться? Вы привыкли вести крупную игру и намерены и здесь... Тише, сюда идут! Подумайте, может быть, вы еще придете к другому, лучшему решению.

Он поспешно вышел в соседнюю комнату, в которой в эту минуту показался лесничий.

– Куда ты запропастился, Герберт? – спросил он. – Я везде ищу тебя.

– Я пошел за женой...

– Которая давно в столовой, как все хорошие люди. Пойдем, пора и нам с тобой поужинать! – и Шонау с обычным добродушием подхватил шурина под руку и потащил за собой.

Гартмут тяжело переводил дыхание; он был так взволнован, то еле владел собой; стыд, ненависть, гнев клочкотали в его груди. Намек Вальмодена поразил его, как громом. Гартмут в самом деле думал, будто остатки прежнего богатства давали ему и матери средства к существованию, но не раз он закрывал глаза на то, чего не мог не видеть.

Когда мать освободила его от опеки строгого отца и дала ему неограниченную свободу, когда жизнь, исполненную долга, сменила другая, полная опьяняющих удовольствий, он стал жадными глотками пить из чаши наслаждений, ни в чем не отдавая себе отчета. Гартмут бы еще слишком молод,

чтобы разобраться во всем, а потом оказалось уже слишком поздно: привычка стала его второй натурой. Только теперь впервые ему дали понять, какую жизнь он вел так долго, – жизнь искателя приключений, – и, как искателя приключений, его изгоняли из общества.

Но еще больше его жгло сознание нанесенного ему оскорбления и ненависть к человеку, который силой заставил его увидеть неумолимую истину. Несчастное наследство матери – горячая кровь, уже оказавшая однажды свое роковое влияние на мальчика, огненным потоком разлилась по его жилам; безграничная жажда мести заставила замолчать все другие чувства. Красивое лицо Гартмута было искажено до неузнаваемости, когда он, стиснув зубы, наконец молча вышел из комнаты. Он знал и чувствовал, что должен отомстить во что бы то ни стало.

Когда бал кончился, было уже довольно поздно. После того как герцог и герцогиня удалились в свои покои, начали разъезжаться гости, и экипажи один за другим спускались с горы, на которой стоял Фюрстенштейн. Огни в залах погасли, и замок погрузился во мрак и безмолвие.

В двух комнатах в квартире лесничего, которые занимал посланник с женой, еще горел свет. Адельгейда, устало приклонившись лбом к оконному стеклу, стояла у окна и, занятая своими мыслями, смотрела в темноту.

Вальмоден сидел за письменным столом и просматривал письма и телеграммы. Очевидно, в них содержалось что-то

важное, потому что он не отложил их в сторону к прочим бумагам, на которые собирался отвечать завтра, а схватил перо и быстро набросал несколько строк. Потом он встал и подошел к жене говоря:

– Вот неожиданность! Придется ехать в Берлин.

– Так вдруг?

– Да, я думал письменно уладить это дело, несмотря на его важность, но министр настойчиво требует личных переговоров. Завтра же утром я попрошу у герцога отпуск примерно на неделю и сразу поеду.

В полумраке лица молодой женщины было не видно, но из ее груди вырвался глубокий, может быть, бессознательный вздох облегчения.

– В котором часу мы едем? – быстро спросила она. – Я хочу предупредить горничную.

– Мы? Это чисто деловая поездка, и я, разумеется, поеду один.

– Но все-таки я могла бы поехать с тобой. Мне хотелось бы побывать в Берлине.

– Что за фантазия! – Вальмоден пожал плечами. – На этот раз я буду так занят, что не смогу никуда сопровождать тебя.

Адельгейда подошла к столу, и свет лампы упал на ее лицо, которое было гораздо бледнее обычного. Каким-то сдавленным голосом она проговорила:

– Так я буду сидеть дома? Но мне не хотелось бы оставаться здесь одной, без тебя.

– Одной? Ты останешься с родными, у которых мы гостим. И с каких это пор тебе необходимо покровительство? До сих пор я не замечал, что ты в этом нуждаешься. Я не понимаю тебя, Адельгейда! Что это за странный каприз непременно ехать со мной?

– Ну, считай это капризом, если хочешь, но позволь мне ехать с тобой, Герберт! Пожалуйста!

Она с мольбой положила руку ему на плечо, а глаза почти со страхом смотрели на лицо мужа, на тонких губах которого появилась насмешливая улыбка.

– А, теперь я понимаю! На тебя неприятно подействовала сцена с принцессой, и ты боишься новых стычек, которые, конечно, не заставят себя ждать? Надо отвыкать от такой щепетильности, дитя мое; ты должна понимать, что, напротив, именно из-за этого тебе необходимо оставаться здесь. При дворе перемалывают каждое к слово, каждый взгляд, и твой внезапный отъезд даст повод всевозможным предположениям. Ты должна перетерпеть, если не хочешь окончательно испортить свои отношения с двором.

Услышав такой холодный отказ в ответ на такую горячую просьбу, первую просьбу со времени замужества, молодая женщина медленно сняла руку с плеча Вальмодена и опустила глаза.

– Перетерпеть! – тихо повторила она. – Я и терплю, но я надеялась, что ты будешь со мной.

– Как видишь, в настоящее время это невозможно. Впро-

чем, ты и сама мастерица защищаться, что и доказала сегодня мне и всему двору. Но я уверен, что ты последуешь моему совету. Ей впредь будешь осторожнее в своих ответах. Как бы то ни было, пока я за тобой не приеду, ты останешься в Фюрстенштейне.

Адельгейда молчала; она поняла, что ничего не добьется. Вальмоден вернулся к столу и запер в ящике полученные бумаги, потом взял листок, на котором раньше что-то написал, и сложил его.

– Еще одно, Адельгейда, – сказал он вскользь. – Принц Адельсберг почти не отходил от тебя сегодня; его ухаживание бросается в глаза.

– Ты желаешь, чтобы я отклоняла его любезность?

– Нет, я только попрошу тебя держать его на должном расстоянии, чтобы не давать повода к лишним пересудам. Я вовсе не намерен мешать твоему успеху в обществе. Мы не мещане, и в моем положении было бы смешно разыгрывать роль ревнивого мужа, который подозрительно смотрит на любой знак внимания, оказываемый его жене. Я предоставляю это твоему тонкому чувству такта, на которое всецело полагаюсь. – Он говорил спокойно, рассудительно и совершенно равнодушно. В самом деле, его нельзя было упрекнуть в ревности; явный восторг молодого, красивого принца не внушал ему ни малейших опасений, он спокойно полагался на «чувство такта» своей жены. – Я пойду, отправлю телеграмму, – продолжал он. – С тех пор, как герцог здесь,

в замок проведен телеграф. А тебе советую позвонить горничной; у тебя не совсем здоровый вид, вероятно, ты устала. Спокойной ночи!

Герберт вышел, но Адельгейда не последовала его совету и опять подошла к окну. Горькое, болезненное чувство заставляло подергиваться ее губы; никогда еще она не чувствовала так ясно как теперь, что для мужа она – только украшение, которым можно похвастать, жена, с которой обращаются всегда изысканно-вежливо, потому что с ней приобретено княжеское состояние, и которой так же вежливо отказывают в просьбе, хотя эту просьбу ничего не стоило бы выполнить.

Лес был окутан мраком; темным было и небо, на котором в промежутках между быстро бегущими облаками лишь изредка мерцали отдельные звездочки; и к этому мрачному ночному небу с мольбой и страхом было обращено прекрасное лицо, которое все привыкли видеть только с выражением гордого, непоколебимого спокойствия.

Адельгейда прижимала обе руки к груди, как будто чувствовала там острую боль. Ей хотелось бежать от темной силы, которая надвигалась все ближе, окружая ее все более тесным кольцом. Она искала защиты у мужа – напрасно! Он уезжал и оставлял ее одну, а тот, другой, с темными жгучими глазами, с мягким голосом, обладающим таинственной, неотразимой властью, – оставался! Ада! Это имя, которое он произносил так особенно, так пленительно, раздавалось в ушах Адельгейды, как будто ей нашептывал его призрак.

Героиня «Ариваны» носила ее имя!

Наступил октябрь, и осень уже заметно давала о себе знать; деревья изумляли яркими красками, по утрам и вечерам стоял туман, ночами бывали даже заморозки, но дни почти всегда были ясные, солнечные.

За исключением первого большого вечера, собравшего в залах Фюрстенштейна всех окрестных дворян, и выездов на охоту, которые в это время года вызывали, разумеется, наибольший интерес, в замке не устраивали никаких особенных увеселений. Герцог и его супруга любили проводить время в небольшом кругу избранных и во время своих осенних выездов из столицы желали наслаждаться спокойствием и свободой, зато часто устраивали прогулки по лесистым горам верхом и в экипажах, а к столу ежедневно приглашали довольно много гостей.

Адельгейда была включена в этот тесный круг избранных; герцогиня, узнав, как ее золовка пыталась осложнить положение молодой женщины при дворе, постаралась вознаградить ее за это удвоенной любезностью и при всяком удобном случае приближала ее к себе. Герцог также уделял ей особое внимание, желая отличить посланника в лице его жены. Сам Вальмоден был еще в Берлине две недели, в течение которых он предполагал справиться делами, прошли, но о его возвращении еще не было и речи.

Одним из самых частых гостей в Фюрстенштейне был Эгон фон Адельсберг, а вместе с ним постоянно удостаивался чести получать приглашения и его друг Роянов. Пророчество принца сбылось: Гартмут появился на придворном горизонте подобно ослепительному метеору; все с восторгом следили за ним, и никому и в голову не приходило, что он будет следовать избитой колеей придворной жизни. По желанию герцогини он прочел свою «Ариану», и пьесу восприняли с триумфом. Герцог обещал поставить ее на сцене придворного театра, а принцесса София стала удостаивать поэта своей особой милостью. Окружающие, разумеется, последовали примеру высочайших особ.

Перед замком Родеков стоял охотничий экипаж принца, было еще очень рано. Эгон в охотничьем костюме вышел на террасу, разговаривая с управляющим, который шел за ним.

– Так и тебе захотелось посмотреть на охоту? – спросил он. – Ну, еще бы! Где есть на что поглядеть, там без Штадингера дело не обойдется! Мой камердинер тоже просил опустить его сегодня, я думаю, все население высыплет на место охоты.

– Да, ваша светлость, такое зрелище не каждый день увидишь, – ответил Штадингер. – Большая охота стала редкостью в ваших лесах. Охотиться, конечно, охотятся везде, но в большинстве своем лишь мужчины, как у нас, в Родеке, а без дам...

– Невыносимо скучно, – договорил принц. – Совершенно

с тобой согласен! Однако до сих пор ты неблагоприятно относился женскому полу и сразу поднимал крик, как только в Родеке появлялась женщина, еще не достигшая совершеннолетия; неужели на старости лет ты обратился на путь истины?

– Я имел в виду придворных дам, ваша светлость. Придворные дамы могут оказать мне честь, заехав в Родек во время прогулки, пригласить же их на охоту я не могу, так как не женат.

– А почему ваша светлость до сих пор не женаты?

– Мне кажется, старина, ты тоже вбил себе в голову женить меня, как моя всемилост... как весь свет! – смеясь воскликнул Эгон.

– Не трудись напрасно, я не женюсь!

– Это нехорошо, ваша светлость, – нравоучительно сказал Штадингер. – Это даже не по-христиански. Брак – священный союз и дает человеку счастье. Ваш покойный батюшка был женат и я также.

– Ну, разумеется, и ты также! Ты даже дедушка прелестнейшей внучки, которую самым злодейским образом удалил из Родека. Когда Ценца вернется?

Управляющий счел нужным не расслышать последнего вопроса и продолжал развивать ту же тему:

– Их высочества герцогиня и принцесса София того же мнения. Вашей светлости не мешало бы подумать об этом.

– Ты так отечески увещаешь меня, что я, пожалуй, поду-

маю. Что касается принцессы Софии, то она намерена приехать в Бухенек на место сбора охотников, и очень может быть, что она заметит тебя и поговорит.

– Очень может быть, ваша светлость! Их высочество всегда достаивают меня разговором; они знают меня как старейшего слугу княжеского дома.

– Хорошо! Но если принцесса вздумает спросить о змеях и хищных животных, которых я привез с собой из путешествия, скажи, что они уже перевезены в другой замок.

– В этом нет надобности, ваша светлость; вашей светлейшей тетушке уже все известно.

– Известно? Что известно? Уж не ты ли обо всем ей рассказал?

– Так точно, третьего дня, когда был в Фюрстенштейне. Их высочество возвращались с прогулки и изволили подзывать меня и расспрашивать. Их высочество это любят.

– Что же ты ответил?

– «Не извольте беспокоиться, ваше высочество, – сказал я. – Из живых тварей у нас в замке только и есть что обезьяны да попугаи, а змей никогда не бывало. Правда, нам должны были привезти большую водяную змею, но она издохла во время переезда, а слоны при погрузке на пароход вырвались и убежали обратно в пальмовые рощи – по крайней мере так говорит его светлость. Два тигра действительно есть, но они набиты соломой, а от льва у нас только шкура, что лежит в охотничьем зале. Сами изволите увидеть, ваше высочество,

ни один из этих зверей не может причинить никакого вреда».

– Зато ты натворил бед своей болтовней! – рассерженно крикнул Эгон. – Что же сказала принцесса?

– Их высочество только улыбнулись и спросили о женской прислуге в Родеке и есть ли в ее числе местные девушки. Но на это я сказал, – Штадингер с силой ударил себя в грудь: – «Всех женщин, какие есть в замке, нанимаю я. Все они работающие и дельные, об этом я позаботился. Но его светлость убегает, увидев их еще издали, а господин Роянов бежит еще проворнее; в кухню же господина не заглядывают с тех пор, как разок там побывали». Их высочество выслушали меня очень благосклонно, изволили похвалить и отпустили с великой милостью.

– А я бы тебя с великой немилостью отправил к черту! – в ярости крикнул принц. – Проклятый старый леший! Что ты наделал!

– Да ведь я сказал только правду, ваша светлость!

– Бывают случаи, когда правду говорить нельзя. У тебя препроклятая манера отвечать, Штадингер! Ты, пожалуй, рассказал принцессе и о том, что еще месяц тому назад отправил Ценцу в город?

– Так точно, ваша светлость.

– Что там опять натворил этот Штадингер? – спросил Гартмут, выходя из замка также в охотничьем костюме и услышав последние слова.

– Выкинул колоссальнейшую глупость! – воскликнул

Эгон. Но тут «старейший слуга княжеского дома» не выдержал, он выпрямился с глубоко оскорбленным видом и возмущенно произнес:

– Прошу не прогневаться, ваша светлость, я не выкидывал никаких глупостей!

– Может быть, ты находишь, что глупость выкинул я?

– Не знаю, ваша светлость, но очень может быть.

– Ты грубиян! – вспыхнул принц.

– Это всем известно, ваша светлость.

– Пойдем, Гартмут, с этим старым ворчливым медведем ничего не поделаешь! – сказал Эгон, сердясь и одновременно смеясь. – Поставил меня в безвыходное положение, а потом сам же меня отчитывает! Боже тебя сохрани, Штадингер, если ты еще когда-нибудь осмелишься что-то подобное рассказывать! – И принц с Рояновым направились к экипажу.

Штадингер продолжал стоять, вытянувшись в струнку, а затем поклонился по всем правилам этикета, с полным «почтением», потому что почтение было для старика главным. Впрочем, оно нисколько не обязывало его уступать; уступать должен был его светлость принц Эгой, ему не полагалось бунтовать против «своего Штадингера».

Сам Эгон был совершенно того же мнения. Рассказав другу о случившемся, он воскликнул с комическим отчаянием:

– Можешь себе представить, как встретит меня теперь наша пресветлейшая! Она непременно догадалась, что я хотел помешать ей приехать в Родек. Конечно, моя нравственность

в ее глазах спасена, но какой ценой! Сделай мне милость, Гартмут, излей на мою достопочтенную родственницу весь запас своей любезности, В крайнем случае сочини оду в ее честь, будь громоотводом, а не то меня поразит молния высочайшего гнева.

– Мне кажется, ты должен быть достаточно закален в этом отношении, – насмешливо заметил Гартмут. – Им уже не раз приходилось прощать тебе такие штуки. Так герцогиня и молодые дамы поедут на охоту верхом?

– Да, ведь из экипажа немного увидишь. Кстати, знаешь, Адельгейда фон Вальмоден превосходно сидит на лошади. Я встретил ее третьего дня с лесничим, когда они возвращались с прогулки верхом.

– Вот как! Теперь мы знаем, где нам искать сегодня принца Адельсберга.

Эгон выпрямился и пытливо поглядел в лицо другу.

– Пожалуйста, без иронии! Хоть тебя и не так часто можно видеть возле вышеупомянутой дамы и ты даже стараешься показать будто довольно равнодушен к ней, но я-то слишком хорошо тебя знаю, чтобы не видеть, что ты, пожалуй, даже чересчур разделяешь мой вкус.

– А если бы это на самом деле было так, то ты счел бы это преступлением против нашей дружбы?

– В данном случае нет, потому что цель недостижима для нас обоих. «Прекрасное, холодное северное сияние», как ты окрестил Адельгейду, остается верным своей природе. Оно

недосыгаемо высоко сияет над горизонтом, и Ледовитый океан, из глубины которого оно подымается, невозможно переплыть. У этой женщины нет сердца, ей чужды страстные душевные порывы, это и придает ей такую завидную уверенность в себе. Признайся, она неподвластна даже силе твоего обаяния; ледяное дыхание, которым веет он нее, охлаждает и тебя, потому-то ты и держишься на расстоянии.

Гартмут молчал; он думал о минутах, проведенных в угловой комнате башни Фюрстенштейна, когда попросил Адельгейду подарить ему огненно-красный цветок. Она отказала ему, но отнюдь не ледяным дыханием веяло тогда от трепетавшей под его взглядом молодой женщины. С тех пор он видел ее почти ежедневно, и хотя редко подходил к ней, но тем не менее знал, что она по-прежнему находится под влиянием его чар.

– И все-таки я не могу отделаться от этой безумной фантазии, – продолжал Эгон с мечтательным выражением в глазах. – Мне кажется, что в ней вот-вот должны пробудиться жизнь и страсть, и суровая полярная зима сменится цветущим летом. Если бы Адельгейда фон Вальмоден была свободна... мне кажется, я решился бы попытаться.

– Что значит попытаться? Уж не хочешь ли ты сказать, что предложил бы ей руку?

– Тебя это, кажется, возмущает? – громко расхохотавшись, сказал принц. – Конечно, я именно это и хотел сказать. Я не питаю преубеждения против «промышленников», как

моя почтенная тетушка, у которой при одной мысли об этом наверняка сделались бы судороги. К удивлению, и ты оказываешься не менее щепетильным. Но вы можете успокоиться: его превосходительство господин супруг уже владеет бутонном, хотя его скучная дипломатическая физиономия не способна пробудить его к жизни и помочь расцвести. Завидное счастье выпало на долю этого человека!

– Никого не следует называть счастливым до его смерти, – вполголоса заметил Гартмут.

– Весьма мудрое замечание, только, к сожалению, в нем нет ничего нового. Знаешь, по временам у тебя в глазах мелькает что-то такое, что просто может испугать. Не во гнев тебе будет сказано, Гартмут, сейчас в твоём лице было что-то совершенно дьявольское!

Роянов не ответил. В этом месте шоссе выходило из леса; впереди показался Фюрстенштейн, и через полчаса экипаж въехал во двор замка, где кипела жизнь. Вся прислуга была на ногах, верховые лошади и экипажи стояли наготове, и большая часть приглашенных на охоту уже явилась.

В назначенный час тронулись в путь. При ярком солнце это зрелище было очень живописным. Процессию возглавлял герцог с герцогиней, за ними следовала многочисленная свита и целая толпа приглашенных, причем все дамы помолже ехали верхом, а сзади при полном параде следовал весь охотничий персонал; все направлялись в леса Фюрстенштейна, и вскоре они ожили. Со всех сторон защелкали выстре-

лы; дичь, то поодиночке, то небольшими группами, пробиралась через чащу или стремительно неслась через прогалины, спасаясь от преследования, но в конце концов все-таки попадала под пулю.

Шонау стянул весь персонал служащих в лесничество, и его распоряжения были такими, что не случилось ни малейшего недоразумения, которое могло испортить настроение. Сбор был назначен около полудня в Бухенеке, маленьком замке герцога, стоявшем среди леса. В случае перемены погоды он мог послужить обществу убежищем, но сегодня в этом не было надобности; погода стояла великолепная, только, пожалуй, слишком жаркая для октября. Солнце просто жгло, и это даже мешало завтраку, поданному на открытом воздухе.

Несмотря на это, общество чувствовало себя непринужденно, и на широкой зеленой лужайке перед замком царило оживление. Герцог был в превосходнейшем настроении, герцогиня приветливо разговаривала с окружающими дамами, а лесничий сиял от восторга, потому что герцог самыми лестными словами выразил ему свое удовлетворение.

Адельгейда, находившаяся вблизи герцогини, и сегодня была в центре общего внимания; безусловно, она была самой красивой среди дам, другим же, чтобы казаться красивыми, почти всем были необходимы роскошные туалеты и вечернее освещение. Здесь, при ярком свете полуденного солнца, в обычных темных амазонках многие известные красавицы

померкли, в то время как высокая, стройная фигура Адельгейды была как будто создана для этого костюма, а ослепительная свежесть кожи и шелковистый блеск белокурых волос еще выгоднее выделялись при дневном освещении. Кроме того, она, действительно, оказалась опытной всадницей и сидела на лошади легко и уверенно. Словом, «прекрасное северное сияние», как звали Адельгейду уже и в придворном обществе, вызывало восторг, тем более что молодая женщина должна была на несколько недель исчезнуть.

Посланник сообщил жене, что его служебные дела окончены, но коль он уже заехал в северную Германию, то хочет воспользоваться этим, чтобы побывать на штальбергских заводах. Там намечались большие преобразования, которые требовали окончательного обсуждения, и Вальмоден как опекун наследника имел при этом решающий голос; поэтому его присутствие было необходимо. Он уже получил от своего правительства отпуск и уведомил герцога о том, что вернется позднее. В то же время он предоставлял жене полную свободу оставаться в Фюрстенштейне или ехать с ним на родину, если она желает повидаться с братом. Молодая женщина выбрала второе и уже сказала герцогине, что завтра едет с мужем.

Принцесса Софья со своей гофдамой и прочими пожилыми особами приехала в Бухенек в экипаже и прежде всего стала усердно ловить принца Эгона, который с невероятной ловкостью постоянно от нее ускользал. Наконец она поте-

ряла терпение и велела одному из кавалеров позвать к ней принца. Эгон, разумеется, должен был подчиниться приказанию, но из предосторожности захватил с собой «громоотвод» и предстал перед принцессой под руку с Рояновым.

– Ну-с, Эгон, можно наконец на вас взглянуть? – не особенно милостиво встретила она его. – Сегодня вы так заняты, кажется, вас просто рвут на части.

– Я всегда к услугам моей всемилостивейшей тетушки, – возразил Эгон, но любезность ему не помогла; принцесса смерила его уничтожающим взглядом.

– Если останется время после исполнения рыцарских обязанностей при баронессе фон Вальмоден! Когда вернется ее супруг, она даст своему рыцарю прекрасную характеристику. Конечно, вы принадлежите к числу близких знакомых посланника?

– О, да! Поверьте, ваше высочество, я высоко ценю его и как человека, и как дипломата.

– Я вполне вам верю, Эгон! Ваша честность для меня вне всякого сомнения! – с язвительной иронией сказала принцесса. – Кстати, третьего дня я случайно увидела вашего управляющего из Родека, старика Штадингера. Он выглядит молодцом для своих лет.

– Но, к сожалению, страдает слабостью памяти, – поспешил заверить ее принц. – Штадингер все забывает, не правда ли, Гартмут? Сегодня он уже не помнит того, что вчера видел собственными глазами.

– Напротив, я считаю, что у него замечательная память. Кроме того, это старейший слуга вашей семьи, надежный человек, рассудительный...

– И грубый! Вы не можете себе представить, какая невероятная грубость таится в этом Штадингере! Он буквально тиранит меня и Роянова. Я уже подумываю о том, чтобы отправить старика на покой.

Это, конечно, и близко не было похоже на правду. Он не посмел бы сделать такое предложение Петеру Штадингеру, потому что плохо пришлось бы ему в таком случае. Но принцесса Софья, славившаяся надменным отношением к прислуге, на сей раз была необыкновенно снисходительна.

– Вам не следует этого делать, – заметила она. – Человеку, который служит уже третьему поколению вашей семьи, можно многое простить, особенно имея в виду «идеальный порядок», какой вы завели у себя в Родеке. Кажется, у вас недолюбливают гостей и предпочитают уединение.

– Ах, уединение! Оно так приятно после бурной скитальческой жизни, и мы этим просто наслаждаемся. Я занимаюсь, главным образом...

– Приручением индийских животных, – злорадно договорила принцесса.

– Нет, моими... моими путевыми заметками, которые я собираюсь издать, а Гартмут пишет элегические сонеты. В настоящее время он работает над балладой, сюжет которой подсказали ему вы, ваше высочество.

– Господин Роянов, неужели вы воспользовались этим сюжетом? – спросила принцесса с просветлевшим лицом.

– Да, ваше высочество, я очень благодарен вам за идею, – ответил Гартмут, совершенно не помня, что это был за сюжет, но поняв только, что теперь его очередь вступить в разговор.

– Очень рада! Я люблю поэзию и поощряю ее.

– И с такой удивительной чуткостью! – с увлечением поддакнул Эгон, но тут же поспешно воспользовался случаем, чтобы ускользнуть, оставив в жертву принцессе друга, и немедленно оказался возле герцогини, точнее, возле Адельгейды фон Вальмоден.

После завтрака все с новыми силами снова занялись охотой, но погода, до сих пор ясная и солнечная, после полудня стала меняться; голубое небо постепенно заволочло тучами, но было по-прежнему тепло, почти душно. По-видимому, надвигалась гроза.

Чтобы наблюдать за охотой, герцогиня и часть ее свиты выбрали себе место на холме, с которого лучше всего можно было все видеть. Вдруг охотники неожиданно взяли другое направление, и зрители последовали за ними. При этом с Адельгейдой случилось небольшое несчастье: у ее лошади лопнула подпруга, и всадница только благодаря быстроте своей реакции не упала, а быстро спрыгнула на землю. Но зато ехать дальше верхом стало невозможно, потому что дамского седла в запасе не было; поэтому Адельгейде при-

шлось отказаться от дальнейшего участия в охоте, и она решила идти пешком в Бухенек, а один из егерей повел туда же ее лошадь.

Адельгейда велела ему идти вперед, а сама еще осталась на холме, где теперь было пусто и тихо. Она была даже в какой-то мере рада случившемуся, потому что это избавило ее от необходимости до конца охоты оставаться в обществе и позволило сбросить маску, под которой прятались истинные чувства; она с облегчением вздохнула.

Куда девалось холодное спокойствие, с которым молодая женщина всего несколько месяцев тому назад вместе с мужем появилась на новой родине! Теперь, когда Адельгейда была одна и знала, что никто за ней не наблюдает, можно было заметить, как сильно она изменилась. Ее лицо стало еще более волевым, но вместе с тем на нем появилась и какая-то новая скорбная черточка, как у человека, который в полном одиночестве борется со своим горем и страхом. Голубые глаза утратили холодность и бесстрастность, в их глубине таилось страдание, а белокурая Золовка опустила как бы под гнетом невидимого тяжелого бремени.

А между тем Адельгейде дышалось легче при мысли, что это был последний день, который она проведет в Фюрстенштейне. Завтра в это время она будет уже далеко. Она надеялась, что там найдет спасение от той непонятной, пугающей силы, с которой она безуспешно боролась последние недели, и думала, что ей станет легче, когда она не будет изо дня

в день видеть глаза Гартмута, слышать его голос. Молодая женщина убеждала себя, что очарование должно исчезнуть, когда она вырвется из заколдованного круга. Теперь, слава Богу, она могла, наконец, бежать.

Шум охоты постепенно удалялся и наконец совсем затих, зато в лесу, обступившем холм, послышались шаги. Адельгейда поняла, что она здесь не одна. Она хотела уйти, но едва повернулась, как из-за деревьев показался Гартмут Роянов.

Встреча была так неожиданна, что баронесса отступила назад, к стволу дерева, точно ища у него защиты от человека, на которого смотрела с выражением ужаса, как раненая лань, видящая перед собой охотника. Роянов сделал вид, что не замечает Итого, и торопливо заговорил:

– Вы одни? Значит, несчастный случай не причинил вам вреда? Мне сказали, что вы упали с лошади.

– Какое преувеличение! Просто на седле лопнула подпруга, но я вовремя заметила это и соскочила, а лошадь преспокойно становилась. Вот и весь несчастный случай.

– Слава Богу! Мне сказали, будто вы упали и ушиблись, а так как вас больше не было видно, то я боялся...

Гартмут запнулся, потому что по взгляду Адельгейды понял, что она ему не верит. Действительно, он прекрасно знал, как было дело и где и почему осталась Адельгейда.

– Благодарю вас, но вы совершенно напрасно беспокоились, – холодно сказала Адельгейда. – Вы могли бы сами догадаться, что в случае настоящего несчастья герцогиня и

другие дамы не бросили бы меня в лесу без помощи. Я иду в Бухенек.

Она хотела пройти мимо Роянова; он с поклоном отступил на шаг, чтобы пропустить ее, но при этом тихо проговорил:

– Я должен попросить у вас прощения за то, что необдуманно обратился к вам с просьбой, за которую несу теперь такое суровое наказание. Но ведь я просил только дать мне цветок; неужели это такое тяжкое преступление, чтобы неделями сердиться из-за него?

Адельгейда остановилась, почти не осознавая, что делает. Она опять чувствовала себя во власти этих глаз, этого голоса; они притягивали ее как магнит.

– Вы ошибаетесь, – возразила она, – я не сержусь на вас.

– Не сердитесь? А между тем вы и в настоящую минуту говорите ледяным тоном, который я постоянно слышу от вас, как только осмеливаюсь подойти. Теперь вы уже знакомы с моим произведением, ведь вы присутствовали, когда я читал «Аривану». Все хвалили мою пьесу и даже чересчур, только из ваших уст я не услышал ни слова! «Вы и сегодня ничего не скажете мне о ней?»

– Мне кажется, мы сегодня на охоте. – Адельгейда попыталась уклониться от ответа. – Здесь не место рассуждать о достоинствах поэтических произведений.

– Мы оба больше не участвуем в охоте, нас окружает лишь безмолвней лес. Посмотрите на эту осеннюю листву, которая

наводит на такие тоскливые мысли о прошлом, на это тихое озерко там, внизу, на эти розовые облака вдали; мне кажется, во всем этом поэзии бесконечно больше, чем в залах Фюрстенштейна.

Отсюда на самом деле открывался прекрасный вид на горы. Бесконечное море лесных вершин пестрело осенним разноцветьем – от темно-бурого до светлого, золотисто-желтого, а между ними просвечивал красный цвет кустарников. Увядающая природа перед отдыхом еще раз засияла своим великолепием.

Далеко внизу лежало маленькое лесное озеро, точно дремавшее в венке из осоки и камыша, и удивительно напоминало бургсдорфский пруд. Оно также заканчивалось лугом, покрытым сочной зеленой травой, пышно разросшейся на топкой болотистой почве, которая, коварно прикрывшись зеленью, безвозвратно затягивала вглубь свои жертвы. Даже теперь, при дневном свете, эта почва выдыхала туман; когда же на землю спускалась ночь, то, наверно, и здесь блуждающие огни водили свои призрачные хороводы.

На горизонте все выше и выше поднималась темная стена грозовых облаков, и время от времени в недрах туч вспыхивал голубоватый свет молний.

Адельгейда не ответила на слова Гартмута; она смотрела вдаль, чтобы не видеть лица человека, стоявшего перед ней, но чувствовала на себе взгляд его темных, жгучих глаз.

– Завтра вы уезжаете, – снова заговорил Роянов. – Кто зна-

ет, когда вы вернетесь и когда я опять вас увижу! Неужели я так и не услышу вашего приговора, не узнаю, снискало ли мое произведение милость в глазах... Ады?

Опять он произнес имя Адельгейды, опять его голос имел тот мягкий, страстный, сдержанный тон, которого она боялась и к которому все-таки прислушивалась как к волшебной мелодии. Адельгейда чувствовала, что уйти на этот раз не удастся. Она медленно обернулась к Гартмуту; ее лицо выражало твердую решимость выйти победительницей из тяжелой борьбы с самой собой.

– Вы странно играете этим именем, – серьезно и гордо сказала она. – Им было озаглавлено и стихотворение, написанное незнакомой рукой и каким-то загадочным путем присланное мне на прошлой неделе без подписи...

– Но вы все-таки прочли его! – перебил он ее с торжеством в голосе.

– Да... и сожгла.

– Сожгли?

В глазах Гартмута опять блеснул недобрый демонический огонь, а в душе вспыхнули жажда мести и ненависть к человеку, который смертельно оскорбил его и которому он желал нанести за это смертельный удар; но в то же время он любил эту женщину необузданной, всепожирающей страстью. Впрочем, то, что Он чувствовал в настоящую минуту, было скорее ненавистью, чем любовью.

– Бедный листок! – сказал он с нескрываемой горечью. –

Так он погиб в огне? Пожалуй, он заслуживал лучшей участи.

– В таком случае не следовало присылать его мне. Я не должна была принимать подобные послания.

– Не должны? Это дань преклонения поэта, которую он повергает к ногам женщины. Это во все времена считалось правом поэтов, которого и вы не можете не признавать.

Гартмут говорил вполголоса, но так пылко, что Адельгейда вздрогнула.

– Такими словами выражайте преклонение перед женщинами своей родины, – сказала она, – немка их не поймет.

– Но ведь вы поняли! – горячо воскликнул Гартмут. – Вы поняли также и скрытый смысл моей «Ариваны», победоносно ниспровергающий все человеческие каноны. Не обманывайте, себя, Ада! Эта божественная искра, запав в души двух людей, разгорается в них в яркое пламя; и совершенно неважно, происходит ли это на знойном юге или на холодном севере. Это пламя горит сейчас в наших сердцах. В нем умирают воля и сила сопротивления, оно пожирает все, что было раньше в душе, не оставляет ничего, кроме этого святого огня, который светит и дает счастье, даже уничтожая. Вы любите меня, Ада, я знаю это! Не отрекайтесь! Я же люблю вас безгранично.

Он стоял перед Адельгейдой, полный торжества победителя, К его властная, демоническая красота, может быть, никогда еще не была так обаятельна, как теперь, когда его гла-

за, все его существо дышали страстью. И Гартмут говорил правду. Эта женщина со смертельно бледным лицом, прислонившаяся к стволу дерева, любила его, как только может любить чистая, гордая натура, убежденная, что ее чувства всегда будут оставаться в состоянии дремоты, которую все принимали за высокомерие и холодность. Теперь она очутилась лицом к лицу с любовью, встретившей горячий отклик в ее собственном сердце; на нее дохнуло жгучим, все испепеляющим дыханием страсти. Настала минута испытания.

– Оставьте меня, господин Роянов! Уйдите! – сказала Адельгейда.

Но она говорила едва слышным голосом, и притом человеку, который не привык отступать там, где чувствовал себя победителем. Гартмут сделал быстрое движение к ней, но вдруг остановился; в глазах и в позе молодой женщины было что-то такое, что заставило его сдержаться. Он только снова произнес ее имя своим проникновенным, чарующим голосом:

– Ада!

Она вздрогнула и подняла руку, как бы защищаясь.

– Не зовите меня так! Для вас я Адельгейда фон Вальмоден. Я замужем, вы это знаете!

– Замужем за стариком, за человеком, которого вы не любите и который не мог бы вас любить, даже если бы был молод. Его холодная, расчетливая натура дипломата не знает, что такое страсть; двор, положение в обществе, карьера – для

него все, жена же – ничто, она нужна ему разве для того, чтобы хвастать сокровищем, которое он не умеет ценить, но за которое другие отдали бы вечное блаженство.

Губы Адельгейды задрожали; она хорошо знала, что он говорит правду, но ничего не сказала.

– И что связывает вас с этим человеком? – еще настойчивее продолжал Роянов. – Одно слово, только одно «да», которое вы произнесли, не понимая его значения, не зная еще самой себя. Неужели оно должно связывать вас всю жизнь и сделать несчастными нас обоих? Нет, Ада, любовь – вечное, бессмертное право человеческого сердца, им нельзя управлять. Пусть люди называют это грехом, пусть называют злым роком, нас постиг этот рок, и мы должны ему подчиниться. Пустое слово не разлучит нас.

Далеко на горизонте так ослепительно сверкнула молния, что осветила все вокруг. Одно мгновение Гартмут стоял озаренный этим светом. Он был теперь поразительно похож на свою мать: так же красив, как она, и так же, как она, нес с собой несчастье. Но или эта молния заставила Адельгейду опомниться, или она увидела при ее свете демонический огонь, загоревшийся в глазах Роянова, только она отшатнулась с выражением нескрываемого ужаса и медленно проговорила:

– Торжественно данное и принятое слово – это клятва, и тот, кто нарушает его, бесчестит себя.

Гартмут вздрогнул. Резко и внезапно, как молния, в его

душе блеснуло воспоминание о том, что когда-то и он торжественно дал честное слово и... нарушил его.

Адельгейда выпрямилась и продолжала тихим голосом, в котором слышалась нервная дрожь:

– Перестаньте меня преследовать! Я боюсь вас, ваших глаз, ваших слов; я чую гибель во всем, что исходит от вас.

– Ада!

Страстная мольба слышалась в этом восклицании, но дрожащий голос Адельгейды становился тверже по мере того, как она говорила:

– И вы не любите меня. Мне часто казалось, что меня преследует ваша ненависть. Вы и подобные вам люди вообще не способны любить.

Роянов молчал пораженный. Как могла эта молодая, неопытная женщина так глубоко заглянуть в его душу? Он и сам еще не мог уяснить себе, каким образом любовь и ненависть так тесно переплетались в его страсти.

– И вы говорите это автору «Ариваны»? – с горечью воскликнул он. – Другие называли мою драму гимном любви...

– Их ввела в обман поэтическая дымка восточной легенды, которой вы окутали своих героев. Все видели только индийского жреца, который вместе с любимой женщиной становится жертвой бесчеловечного закона. Может быть, вы и великий поэт, может быть, вас ждет слава, но страстный, пламенный язык вашей «Ариваны» помог мне увидеть ее автора как человека, который ни во что уже не верит, которому

ничто в мире не свято – ни долг, ни клятва, ни честь мужчины, ни добродетель женщины, который в угоду капризу своей страсти не задумываясь втопчет в грязь все. Я еще верю в долг и честь, еще верю в самое себя и с этой верой буду бороться с роком, на который вы ссылаетесь с полной уверенностью в его победе. Он может привести меня к могиле, но не в ваши объятия.

Молодая женщина уже не трепетала от страха, не изнемогала в мучительной тайной борьбе. Казалось, будто с каждым из этих уничтожающих слов обрывалось по одному звену невидимой цепи, сковывавшей ее. Ее глаза прямо и открыто встретили взгляд темных глаз Гартмута, так долго державших ее в своей власти; теперь чары рушились, Адельгейда это чувствовала и глубоко вздохнула, освобождаясь от них.

Опять вдали сверкнула молния, беззвучно, без громового раската, но казалось, будто небо вдруг раскрылось и дало заглянуть в свою глубину. В этом дрожащем свете мелькнули фантастические фигуры облаков, которые, точно сталкиваясь и борясь друг с другом, казалось, стремительно неслись вперед, гонимые вихрем, а между тем на горизонте неподвижно стояла стена розовых туч. Так же неподвижно стоял и Гартмут, смуглое лицо которого, озаренное молнией, было зеленовато-бледным; он не сводил взгляда с молодой женщины, но дикое пламя в его глазах потухло. Наконец он заговорил:

– Так вот каков приговор, которого я так добивался! В

ваших глазах я не что иное, как погибший человек?

– Может быть, вернее, заблуждающийся... Вы сами вынудили меня на это признание.

– Заблуждающийся! – повторил Гартмут жестким тоном. – В вашем понимании – весьма вероятно. Можете быть спокойны, я больше не подойду к вам; никому не захочется во второй раз выслушивать подобные речи. Вы стоите на страже своей добродетели так недостижимо высоко и гордо и судите так строго. Конечно, вы не имеете ни малейшего представления о том, что может сделать необузданная, беспорядочная жизнь из человека, который рыщет по свету, не имея ни семьи, ни родины. Вы правы, я не верю больше ни во что там, наверху, и до сих пор ни во что не верил здесь, на земле.

Что-то в тоне его голоса и в выражении лица обезоружило Адельгейду; она чувствовала, что ей нечего больше бояться взрыва его страсти, и невольно смягчила голос отвечая:

– Я никого не сужу. Но всем своим существом я принадлежу к другому миру, который управляется другими законами, чем ваш. Я больше всего на свете любила отца, который всю свою жизнь строго и серьезно относился к долгу. Благодаря этому он выбился из бедности и достиг богатства и почестей; такому отношению к долгу он научил и своих детей, и его память служит мне щитом, который оградит меня в тяжелый час. Если бы я должна была опустить глаза перед его чистым образом, то не перенесла бы этого. У вас, верно,

тоже нет больше отца?

Наступила тягостная пауза. Гартмут не ответил. Он низко опустил голову, услышав вопрос, об убийственном смысле которого молодая женщина даже не догадывалась.

– Нет, – наконец глухо выговорил он.

– Но у вас сохранилось воспоминание о нем и о вашей матери?

– О моей матери? – воскликнул он с внезапным гневом. – Не говорите о ней, не напоминайте мне о матери!

В этом возгласе слышалась безграничная горечь, жалоба и отчаяние. Этим восклицанием сын осудил свою мать; он не хотел даже вспоминать о ней, как будто это оскверняло его теперь.

Адельгейда не поняла его; она видела только, что затронула больное место, а вместе с тем поняла, что человек, стоявший теперь перед ней с мрачным взглядом и отчаянием в голосе, вовсе не тот, который вышел ей навстречу из леса четверть часа назад. Она заглянула в темную, загадочную бездну, но эта бездна уже не внушала ей страха.

– Закончим этот разговор, – серьезно сказала она. – Вы не станете больше искать встречи со мной, я верю вам. Но прежде чем мы расстанемся, мне хотелось бы сказать вам еще несколько слов. Вы – поэт; несмотря ни на что, я чувствовала это, слушая вашу драму. Поэты – наставники человечества; они могут вести его и к добру, и к злу. Дикое пламя вашей «Ариваны» вспыхнуло в недрах той жизни, которую

вы, по-видимому, сами ненавидите. Но посмотрите туда! – и она указала вдаль, где только что опять ярко сверкнула молния. – Это тоже пламя, но пламя, ниспосланное свыше, и оно указывает иной путь. Прощайте!

Она давно скрылась из виду, а Гартмут все еще стоял, как прикованный к месту. Он не возразил ни слова, не сделал никакого движения; его глаза с застывшим, жгучим выражением смотрели туда, где теперь молнии одна за другой разрывали лучи. Затем они опустились на темное лесное озерко, странно напоминавшее бургсдорфский пруд своим шелестящим на ветру камышом и коварным, погруженным в туман, лугом.

Когда-то под такой же шелест камыша Гартмут, будучи мальчиком, мечтал о том, как хорошо было бы взлететь, подобно соколу, высоко в бескрайнее небо и подниматься все выше и выше навстречу солнцу; и на этом же самом месте в темную осеннюю ночь, под призрачные хороводы блуждающих огней, решила его участь. Беглец не поднялся к солнцу, его приковала к себе земля, роскошный зеленый луг глубоко-глубоко втянул его в свои недра. Не раз он чувствовал, что одуряющий напиток свободы и жизни, который подносила к его губам рука матери, содержит в себе отраву, но его не охраняло воспоминание о дорогом ему человеке – он не смел думать об отце.

Все темнее становилось затянутое тучами небо, все стремительнее сталкивались друг с другом фантастически при-

чудливые облака, и среди этой борьбы и мрака победоносно сверкало могучее небесное пламя, ниспосланное Всевышним.

Столичное общество снова зажило обычной жизнью. Герцог любил искусство и очень гордился тем, что привлекал в свою резиденцию выдающихся его представителей. Подражая ему, большая часть общества тоже увлекалась этим. Поэтому молодым поэтом Рояновым, которому удалось снискать расположение двора и первая драма которого уже ставилась на сцене придворного театра, стали интересоваться все, а слухи, ходившие о нем, только усиливали этот интерес.

Необычным было уже то, что Роянов, румын, написал драму на немецком языке; кроме того, он был закадычным другом принца Адельсберга и даже в городе продолжал оставаться его гостем. Но, главным образом, сама личность Роянова ставила его в привилегированное положение везде, где бы он ни бывал. Стоило показаться этому молодому, красивому, гениальному иностранцу, круженному романтическим ореолом таинственности, и все взгляды обращались на него.

Репетиции «Ариваны» начались сразу, как только двор вернулся в город, под личным наблюдением автора и принца Адельсберга, который, восхищаясь произведением друга, стал чем-то вроде режиссера и отравлял жизнь директору театра, приставая к нему со всевозможными требованиями относительно распределения ролей и постановки драмы. И ему удалось настоять на своем; роли были розданы лучшим ак-

терам труппы. Даже оперный персонал был привлечен к участию, так как этого требовала одна из ролей. Ее отдали певице Мариетте Фолькмар. С репетициями торопились, потому что при дворе ожидали приезда высочайших особ, которых и желали развлечь новой поэтической драмой с необычным сказочным сюжетом из индийского фольклора. Все рассчитывали на необыкновенный успех.

Так обстояли дела, когда возвратился Герберт фон Вальмоден. Он был неприятно поражен этим. На его вскользь заданный вопрос жена ответила, что Роянов не уезжал из Фюрстенштейна. Это его не удивило, потому что он и не рассчитывал на внезапное исчезновение Гартмута, которое, конечно, бросилось бы всем в глаза, но он был твердо уверен, что Гартмут, несмотря на свое высокомерное заявление, одумается и уедет, когда принц переселится из Родека в столицу. Во всяком случае, Вальмоден полагал, что он не дерзнет показаться рядом с принцем в городе, где ему запрещено было оставаться под страхом «разоблачения».

Но посланник не принял в расчет непреклонное упорство этого человека, который и здесь вел большую игру. Гартмут теперь уже был в привилегированном положении, приближенный ко двору и высшему свету. Если бы теперь, перед самым представлением драмы, которой герцог так удивительно покровительствовал, он вздумал разоблачить прошлое поэта, то это везде было бы принято с неодобрением и даже вызвало бы негодование по отношению к обличителю. Опыт-

ный дипломат не мог не понимать, что досада, которую герцог, несомненно, почувствует в таком случае, отразится на нем самом; его упрекнул в том, что он не сказал этого вовремя, при первом появлении Роянова. Следовательно, оставалось выждать и молчать.

Вальмодену и в голову не приходило, какая страшная опасность грозила лично ему со стороны Гартмута; он думал, что его жена знакома с ним только как со спутником принца Адельсберга. Она ни разу не произнесла его имени с тех пор, как по приезде в Берлин коротко ответила на вскользь заданный вопрос мужа, а он тоже молчал, считая, что ей не следовало знать об этих старых отношениях.

Но от племянника он не должен был скрывать этого, если не хотел повторения сцены вроде той, которая произошла в Гохберге. Виллибальд приехал вместе со своими родственниками, но ему было приказано оставаться в столице не более нескольких дней и отправиться в Фюрстенштейн к невесте, потому что лесничий настойчиво требовал от него вознаграждения за свой внезапный отъезд в сентябре.

«Вы не прожили у нас и недели, – написал он невестке, – а потому прошу отпустить ко мне моего зятюшку на более продолжительный срок. Авось, в вашем возлюбленном Бургсдорфе теперь уже все благополучно и приведено в порядок; притом в ноябре уже вся работа закончена, поэтому пришли мне хоть Вилли, если сама не можешь приехать. Отказа я не принимаю. Тони ждет жениха, и баста».

Регина рассудила, что он прав, и согласилась послать своего Вилли, потому что, разумеется, вопрос о том, ехать или не ехать, решала она. Вилли не пытался больше сбросить материнскую опеку и, по-видимому, совершенно образумился. Правда, он стал молчаливее и, как только приехал домой, с необычайным рвением взялся за работу по хозяйству, но в общем вел себя образцово. Он упорно отказывался отвечать матери на всякие расспросы по поводу «глупости», которая была причиной их отъезда из Фюрстенштейна, и избегал даже разговора об этом. Очевидно, он стыдился.

Витого внезапно вспыхнувшего чувства, которое, вероятно, не было особенно серьезным, и не желал, чтобы ему напоминали о нем. Он аккуратно писал невесте и так же аккуратно получал ответы; переписка имела скорее практический характер и касалась преимущественно будущего устройства дома и хозяйства, но из нее можно было сделать вывод, что молодой человек смотрел на свою женитьбу как на дело окончательно решенное, тем более что день свадьбы был уже назначен.

Виллибальд получил от матери разрешение посетить свою невесту; разрешение было дано с удовольствием, ибо опасное существо – Мариетта Фолькмар – пребывала в городе и была занята в театре. Но чтобы быть вполне спокойной, Регина Эшенгаген велела присматривать за сыном своему брату, который на обратном пути со штальбергских заводов заехал на некоторое время в Бургсдорф.

Посланник сразу же решил рассказать племяннику обо всем, потому что он в первый же день услышал о Гартмуте Роянове. Вилли, в свое время посвященный в тайну свиданий Гартмута.

В матью и знавший ее имя и национальность, наострил уши, и фраза дяди о том, что речь идет об одном молодом румыне, окончательно сразила его; он с оторопевшим лицом обратился к дяде, но тот успел вовремя сделать ему знак пока ни о чем не спрашивать, а когда они остались вдвоем, поведал ему всю правду.

Само собой разумеется, он не стеснялся в выражениях и представил ему Гартмута проходимцем самого низшего сорта, прибавив, что скоро заставит его отказаться от роли, которую тот присвоил себе, не имея на то никакого права. От этой новости у бедного Виллибальда голова пошла кругом. Его друг детства, Которого он любил до сих пор, несмотря на приговор, вынесенный ему семенным советом, был теперь здесь, близко от него, а он смел увидеться с ним, не смел даже признать его, если бы случайно встретился с ним. Последнее Вальмоден особенно постарался внушить племяннику, и тот, совершенно ошеломленный, «пообещал слушаться и ничего не говорить не только Адельгейде, но и своей невесте, и лесничему. Вилли долго не мог понять, в чем же дело; на это ему нужно было немало времени, как вообще на все.

Настал день, когда должно было состояться первое представление «Ариваны». Придворный театр еще до начала

представления был полон; герцог с супругой и гостями занял место в большой придворной ложе. Спектакль был торжественный, а залитый светом театр и роскошные наряды дам вполне соответствовали этому.

Принц Адельсберг волновался так, будто сам был автором драмы. Однако на этот раз он встретил сочувствие со стороны своей тетушки-принцессы; она подозвала его и заговорила о пьесе, которую удостаивала своим высоким вниманием.

– Наш молодой поэт с капризами, как все поэты, – заметила она. – Что это за фантазия в последнюю минуту изменить имя героини?

– Нельзя сказать, что именно в последнюю минуту, – возразил Эгон. – Это было задумано еще в Родеке. Гартмут вбил себе в голову, что имя Ада слишком холодное и чистое для пламенной натуры его героини, и без лишних слов изменил его.

– Но это имя осталось на афише.

– Да, но его носит совсем другая героиня, занятая только в одной сцене.

– Значит, Роянов сделал изменения в своей драме после того, как прочел ее в Фюрстенштейне?

– Небольшие; драма осталась в прежнем виде, изменилось только имя и добавлена коротенькая сценка с Адой. Уверяю вас, ваше высочество, эта сценка – лучшее из всего, что Гартмут написал вообще.

– Понятно, вы находите прекрасным все, что выходит из-

под пера вашего друга. – Принцесса София отпустила молодого принца с благосклонной улыбкой, которая доказывала, что она вполне разделяла его мнение.

В одной из лож сидел прусский посланник с женой. Он с удовольствием не пошел бы на этот спектакль, но герцог, имевший в своем распоряжении несколько лож, предложил их иноземным дипломатам с их женами; отказаться не было никакой возможности, тем более что в этот же день, всего несколько часов назад, они были на праздничном обеде во дворце.

В партере сидел Виллибальд. Он решил, что если дядя сам присутствует на представлении, то и он имеет право, по крайней мере, хоть познакомиться с произведением своего друга детства. Вальмоден был иного мнения, но не мог запретить ему то, что делал сам. Вилли и не помышлял о том, что в драме может участвовать оперная певица; только сейчас, развернув афишу и внезапно увидев имя Мариетты Фолькмар, он узнал, кого увидит сегодня вечером. Он поспешно сложил афишу, сунул ее в карман и даже пожалел, что пошел в театр.

Представление началось. Быстро прошли вступительные сцены, познакомившие зрителя с фантастическим миром, в котором происходило действие. Великолепные декорации перенесли их в Аривану, древнее священное место жертвоприношений; появился главный герой драмы – молодой жрец, из религиозного фанатизма отрекающийся от всего

земного и грешного; полился звучный, мощный монолог, обет, навеки разлучавший его с земной суетой и отдававший его душу и тело служению божеству. Обет был принесен, священное пламя взвилось высоко к небу, и занавес опустился.

Первым начал аплодировать герцог, и его со всех сторон поддержала публика. Начало было успешным, и зрители почувствовали, что это творение настоящего поэта. Стиль произведения, действующие лица, сюжет, уже определившийся в главных чертах, приковали к себе всеобщее внимание, и когда занавес снова поднялся, в театре царило молчание, полное самого напряженного ожидания.

Действие развивалось на живописном, знойном юге. Богатая природа Индии, сказочное великолепие ее храмов и дворцов, люди, страстные и в любви, и в ненависти, фанатичные, суровые законы религии – все было фантастично и чуждо жителям Германии, но чувства и поступки этих людей были понятны каждому; ими двигала та же сила, которая управляла миром столетия назад и управляет сегодня и которая одинаково присуща людям и под небом тропиков, и в северных широтах – а именно сила страсти в человеческом сердце.

Пьесой автор провозглашал безграничное право страсти, разрушающей все преграды на своем пути к цели, все законы и обычаи, обеты и клятвы, право страсти, как понимал его Гартмут Роянов со своим необузданным стремлением к наслаждению, не признававшим никаких законов, никако-

го долга и не имевшим на свете ничего выше своего личного «я». Пробуждение страсти, ее победоносное развитие, ее конечное торжество – все это изображалось увлекательным языком, рисовалось картинками, то возносящими душу высоко в мир идеала, то низвергающими ее в бездну измененной страсти. Поэт недаром окутал свои образы таинственной Дымкой восточной саги: сказочный сюжет позволял ему говорить и изображать такие вещи, которые иначе едва ли были бы ему Прощены, и он смело вторгнулся в души зрителей. После второго акта успех «Ариване» был обеспечен.

Без всякого сомнения, этому способствовала прекрасная игра актеров. Обе главные роли исполнялись с большим вдохновением, Немыслимым без истинного таланта. Героиня уже носила другое Имя, а Адой было названо полусказочное существо, холодное чистое, как вечный снег, сверкающий на горных вершинах, которому был чужд кипучий мир страстей. Это существо появлялось только в одном действии – в сцене развязки. Оно как бы парило над бурно развивающимися событиями как предостерегающий, наставляющий на путь истины дух. Эгон был прав: слова, которые поэт вложил в его уста, бесспорно, были лучшими во всей драме. Среди пламени вулкана страсти этот образ вдруг засиял чистым небесным светом. Но эта сцена была столь же короткой, сколь прекрасной; чудное существо лишь промелькнуло, как дыхание ветра, и унеслось обратно в родные «снежные дали», а внизу, на озаренном лунной берегу реки, разда-

лась песня индусской девушки, – мягкий, певучий голос Мариетты, – и эти манящие, чарующие звуки заглушили предостерегающий голос свыше.

Финал драмы был трагическим. Провидение покарало преступную пару смертью в огне. Но их смерть не была искуплением греха; это было торжество всепобеждающей страсти, «светлая божественная кончина».

В последний раз опустился занавес, и зал взорвался овациями, требовавшими выхода автора.

Гартмут вышел. Без робости и смущения, сияя счастьем и гордостью, он кланялся публике, доставившей ему сегодня напиток, которого он еще не пробовал ни разу в своей бурной жизни. Первый глоток из чаши славы опьянил его; ошуманенный сознанием своей победы, он поднял глаза на ложу, в которой давно заметил знакомые лица. Но он не нашел там той, кого искал; Адельгейда откинулась на спинку кресла и закрыла лицо веером; Гартмут увидел только холодную, неподвижную физиономию человека, который глубоко оскорбил его, а теперь был свидетелем его триумфа. Вальмоден ясно прочел в сверкающем взгляде этих темных глаз: «Осмелюсь теперь презирать меня!»

На следующее утро Виллибальд шел по аллее городского парка, чтобы, как он объяснил дяде, уходя из дому, «посмотреть его». Однако Вилли не интересовали аллеи; не глядя по сторонам, он торопливо шел вперед, без всякой цели поворачивал то в одну, то в другую сторону и не замечал, что уже не раз возвращался на прежнее место. Казалось, этой утренней прогулкой он хотел заглушить внутреннюю тревогу; и действительно, он ушел из дому лишь для того, чтобы побыть одному.

Эшенгаген старался убедить себя, что его так сильно взволновала неожиданная встреча со старым другом. Десять лет он ничего не слышал о Гартмуте, не смел даже произносить его имя и вдруг снова увидел бесследно пропавшего друга в блеске восходящей славы поэта, с поразительно изменившейся внешностью и манерами, но все-таки прежним Гартмутом, с которым он часто играл в детстве. Он узнал бы его в первую же минуту, даже если бы его и не предупредили. Вчерашний успех Гартмута произвел на Вальмодена очень неприятное впечатление. На обратном пути из театра он почти не говорил, так же как и его жена, которая, садясь в экипаж, пожаловалась, что у нее разболелась голова от духоты, и, приехав домой, тотчас ушла к себе. Посланник последовал ее примеру и, пожелав племяннику спокойной ночи, ко-

ротко сказал:

– Помни же наш уговор, Виллибальд: ты должен молчать. Смотри, не проговорись; сейчас о Роянове будет много разговоров. Ему и на этот раз повезло, как всегда везет искателям приключений.

Вилли молча выслушал предупреждение дяди, но в душе чувствовал, что автор «Ариваны» обязан своим успехом не только везению, но и чему-то еще. При других обстоятельствах он смотрел бы на произведение Гартмута как на что-то неслыханное, непостижимое, но вчера на него неожиданно нашло прозрение. Теперь он понимал, что можно влюбиться и без разрешения родителей, опекунов и родственников; это случалось не только в Индии, но и здесь, в Германии. Он понимал, что можно необдуманно дать обет и нарушить его, но что же тогда? Да, тогда человека преследовал рок, который был изображен Гартмутом таким страшным и в то же время таким прекрасным. Вилли чувствовал намерение автора перенести действие «Ариваны» в Бургсдорф, причем рок принимал знакомые черты его матушки, которая в гиене бывала в тысячу раз страшнее разъяренной касты жрецов.

Вилли глубоко вздохнул. Он вспомнил второй акт драмы, когда в группке индусских девушек появилась нежная, хрупкая фигурка Мариетты, такая прелестная в белом воздушном одеянии. Она всего раза два-три на несколько минут выходила на сцену, но глаза Вилли не могли от нее оторваться. Потом она пела на берегу реки, в которой сверкал и перели-

вался лунный свет; Вилли услышал чистый, мягкий голос, очаровавший его еще в Вальдгофене, и снова почувствовал прежнюю страсть. Любовь захватывала его все больше, и хуже всего было то, что он уже не смотрел на нее как на несчастье.

Раздумывая обо всем этом, Виллибальд вошел в маленькую беседку в виде храма, открытого с одной стороны, с каким-то бюстом посередине и скамейкой в глубине, и сел не столько для отдыха, сколько для того, чтобы в уединении помечтать.

Было около десяти часов утра, и парк был совершенно безлюдный. Только один элегантно одетый молодой человек медленно и, по-видимому, бесцельно бродил по аллее; должно быть, он поджидал кого-то, так как с нетерпением поглядывал то по направлению к городу, то на улицу, идущую вдоль парка. Вдруг он поспешно подошел к беседке и спрятался за ней, наблюдая за всеми, кто шел по аллее.

Минут через пять со стороны города показалась барышня темном пальто с меховым воротником и в меховой шапочке, Из-под которой выбивались вьющиеся волосы; из ее муфты виднелись свернутые в трубку ноты. Она уже было прошла мимо соседки и вдруг воскликнула:

– Ах! Граф Вестербург!

Молодой человек вышел из засады и поклонился.

– Какой счастливый случай! Кто бы мог подумать, что вы в такой ранний час уже гуляете в парке.

Девушка (это была Мариетта Фолькмар) остановилась, смерила говорившего гневным взглядом и с презрением воскликнула:

– Я не верю, что это случайность, граф! Уж слишком часто вы попадаетесь на моем пути, хотя я, кажется, довольно ясно дала вам понять, как мне неприятно ваше внимание.

– Да, вы ужасно жестоки ко мне! – сказал граф с упреком, но в то же время нахально. – Вы не хотите принимать меня! Вы отвергаете цветы, которые я подношу вам, даже не отвечаете на мой поклон при встрече. Что я вам сделал? Я осмелился выразить вам свой восторг, положив к вашим ногам дорогой подарок, но вы, к сожалению, отослали его обратно...

– С объяснением, что я прошу избавить меня от такого бесстыдного ухаживания! Я запрещаю вам продолжать свое нахальное преследование! Очевидно, вы просто подстерегали меня здесь.

– Боже мой! Я только хотел попросить у вас прощения за свою смелость, – возразил граф Вестербург почтительным голосом, но при этом стал на середине узкой аллеи так, что пройти мимо было невозможно. – Конечно, мне следовало знать, что вы неприступны для всех и что никто так не печется о своей репутации как вы, прелестная Мариетта!..

– Меня зовут фрейлейн Фолькмар! – гневно воскликнула девушка. – Поберегите эти интимные обращения для тех, кому они нравятся. Мне они противны, и если вы не пере-

станете приставать, я буду брать с собой провожатого!

– Какого провожатого? Уж не ту ли старушку, у которой вы живете и которая всегда и всюду ходит следом за вами? Ее нет с вами только тогда, когда вы идете к профессору Марани; уроки пения у такого старика, очевидно, не представляют опасности. Только по пути к нему вас и можно увидеть одну.

– Значит, вы знали, что в это время я прохожу через парк! Это настоящее нападение! Пропустите меня, мне нужно идти!

Мариетта попробовала пройти мимо, но молодой человек расставил руки и загородил дорогу.

– Вы позволите мне проводить вас? Видите, парк совершен пустой, вблизи нет ни души. Право, я обязан предложить вам свое покровительство.

– Не смейте идти за мной! – крикнула Мариетта вне себя. – Ваше общество мне противно так же, как и вы сами.

– О, как сердито! – Граф зло улыбнулся. – Но недаром я затеял это «нападение»; я должен сорвать хоть поцелуй с этих прелестных сердитых губок!

Он в самом деле двинулся к поспешно отступившей девушке, но в ту же минуту от сильного удара отлетел в сторону и растянулся во всю длину на мокрой земле в самом неприглядном виде.

От неожиданности Мариетта испуганно вскрикнула и, обернувшись, очень удивилась, узнав своего защитника. Он

стоял рядом и так зло смотрел на распростертого на земле графа, как будто чувствовал величайшее желание отправить его на тот свет.

– Господин фон Эшенгаген!.. Вы?

Между тем граф Вестербург не без труда поднялся с земли в бешенстве подступил к своему противнику.

– Милостивый государь, как вы смеете! Кто дал вам право?..

– Советую вам держаться шагах в десяти от меня и от этой барышни! – перебил его Виллибальд, загоразивая собой девушку. – Иначе вы опять налетите на мои кулаки, и второй удар может быть посильнее первого.

Граф окинул взглядом стоявшего перед ним великана, который только что свалил его с ног, и понял, что ему ни за что не победить своего противника.

– Вы дадите мне удовлетворение... конечно, если только его можно требовать от вас! – проговорил он сдавленным голосом. – Вероятно, вы не знаете, кто перед вами...

– Нахал, которого приятно проучить, – с величайшим спокойствием ответил Вилли. – Пожалуйста, оставайтесь там, где стоите, то я сию минуту сделаю это. Я – Виллибальд фон Эшенгаген, владелец бургсдорфского майората, а если пожелаете еще что-нибудь сказать мне, то сможете найти меня в квартире прусского посланника. Пойдемте, фрейлейн; моему покровительству вы можете верить без страха. Ручаюсь, что никто больше не посмеет вам приставать.

И тут случилось нечто неслыханное, невероятное: Вилли-бальд, к настоящий рыцарь, предложил барышне руку, и они ушли, обращая на графа ни малейшего внимания.

Они уже давно отошли на такое расстояние, что граф не мог их слышать; наконец Мариетта робко заговорила, хотя робость была совершенно несвойственна ее характеру:

– Я... я очень благодарна вам за защиту, но граф... Вы оскорбили его не только словами, но и действием; он вызовет вас на дуэль, и вы должны будете принять вызов.

– Разумеется, и приму с величайшим удовольствием! – Лицо Вилли просияло, как будто эта перспектива, действительно, доставляла ему величайшее удовольствие.

Его всегдашняя застенчивость и неуклюжесть вдруг исчезли; он чувствовал себя героем и спасителем, и эта новая роль чрезвычайно нравилась ему. Мариетта молча удивленно посмотрела на него.

– Как ужасно, ведь это случилось из-за меня! – заговорила она снова. – И нужно же было именно вам находиться рядом!

– Вам это неприятно? В таких случаях не выбирают. Вы волей-неволей должны были принять мою защиту, как бы плохо обо мне ни думали.

При напоминании о том случае, когда она выразила полное презрение человеку, который теперь так храбро заступился за нее, Мариетта густо покраснела.

– Я думала только о Тони и ее отце, – тихо возразила она. – Положим, я ни при чем во всей этой истории, но если ваша

невеста лишится вас из-за меня...

– Тогда Тони придется покориться судьбе, – сказал Виллибальд, на которого напоминание о невесте явно не подействовало. – Умереть можно в любое время, но зачем же сразу предполагать самое худшее. Куда прикажете вас проводить? На Церковную улицу? Кажется, я слышал, что вы шли туда?

– Нет, нет! Правда, я шла к профессору Марани, с которым разучиваю новую роль, но теперь я не в состоянии петь. Пожалуйста, позовите извозчика, наверно, мы найдем его вот там. Мне хочется домой.

Они молча дошли до конца парка, где стояли извозчики. Девушка остановилась и печально, умоляюще взглянула на своего спутника.

– Господин фон Эшенгаген, неужели этого нельзя избежать? Нельзя ли уладить дело?

– Едва ли. Я дал графу хорошего тумака и обозвал его нахалом. Разумеется, я не откажусь от своих слов, если дело дойдет до объяснений. Но не беспокойтесь, вероятно, вся история кончится завтра или послезавтра парой царапин.

– А я несколько дней буду оставаться в страхе и неизвестности? Не можете ли вы хоть известить меня?

Вилли смотрел в темные, полные слез глаза Мариетты, и в его глазах опять заблестел тот же огонек, который появился в них, когда он впервые услышал голос «певчей птички».

– Если все кончится благополучно, я лично извещу вас. Вы позволите?

– О, конечно, конечно! Но если случится несчастье? Если вы будете... убиты?

– Тогда не поминайте меня лихом, – просто сказал Виллибальд. – Вы считали меня большим трусом... О, да, вы были правы, я сам с горечью чувствовал это; но то была моя мать, которую я привык слушаться и которая очень любит меня. Теперь вы убедились, что я знаю, как должен вести себя мужчина, если в его присутствии оскорбляют беззащитную девушку; если понадобится, я искуплю вину перед вами своей кровью.

И, не дав Мариетте времени ответить, он подзвал извозчика, открыл дверцы экипажа и повторил кучеру название улицы и номер дома, которые сказала ему Мариетта.

Девушка села в экипаж и еще раз протянула ему свою маленькую ручку. Он несколько мгновений держал ее в своей. Громко всхлипнув, Мариетта откинулась на подушки, и экипаж двинулся. Вилли смотрел ему вслед до тех пор, пока он не исчез из виду. Тогда он поднял голову и прошептал:

– Ну, берегитесь, господин граф! Мне очень хочется так подстрелить вас, чтобы вы надолго это запомнили!

В этот серый ноябрьский день сумерки наступили рано, и дворец принца Адельсберга был уже освещен, когда, возвращаясь после непродолжительного отсутствия, он подъехал к крыльцу.

– Господин Роянов у себя? – входя в переднюю, спросил принц у подбежавшего лакея.

– Так точно, ваша светлость.

– Прикажите в девять часов подать экипаж; мы едем во дворец.

Эгон быстро взбежал вверх по лестнице и направился в комнаты своего друга, расположенные рядом с его собственными. На столе в гостиной горела лампа; Гартмут лежал на кушетке в позе, свидетельствующей об усталости и плохом настроении.

– Покоишься на лаврах? – смеясь спросил принц, подходя к нему. – Не могу упрекнуть тебя за это, ведь у тебя сегодня не было ни минуты покоя. Быть восходящей звездой на поэтическом олимпе – довольно утомительная роль, требующая крепких нервов. За честь сказать тебе несколько любезностей чуть не дерутся; у тебя был сегодня настоящий торжественный прием.

– А теперь нужно еще ехать ко двору, – сказал Гартмут усталым, равнодушным голосом.

– Непременно нужно; высокие и высочайшие особы, с моей всемилостивейшей тетушкой во главе, также желают поздравить поэта. Ты знаешь, тетушка считает себя чем-то вроде непризнанного гения и думает, что нашла в тебе родственную душу. Слава Богу! По крайней мере, теперь она не держит меня постоянно при себе и, может быть, забудет о своих несчастных матримониальных⁵ планах. Но ты, кажется, совершенно равнодушен к высочайшим любезностям, которые со вчерашнего дня буквально сыплются на тебя. Ты еле отвечаешь. Ты нездоров?

– Я устал. Мне хотелось бы спрятаться от всего этого шума в тихом Родеке.

– В Родеке? Там теперь, должно быть, довольно мило среди ноябрьского тумана и мокрого, обнаженного леса, – брррр! Настоящее жилище привидений!

– Все равно, меня буквально тянет в это мрачное уединение. Я поеду туда на несколько дней; надеюсь, ты ничего не имеешь против?

– Даже очень многое! Скажи, Бога ради, что это за фантазия? Теперь, когда весь город преклоняется перед автором «Ариваны», ты вздумал лишить его своего присутствия, бежать от поклонения и заживо похоронить себя в лесу, в доме, полном привидений. Тебя не поймут!

– Ну и пусть! Мне необходимы покой и уединение... Я поеду в Родек.

⁵ Матримониальный – брачный, относящийся к браку.

Молодой принц привык к бесцеремонному тону своего друга особенно тогда, когда на него что-то находило, и даже сам поощрял его в этом, но сегодняшний каприз показался ему чересчур странным.

– Кажется, наша всемилостивейшая права, – сказал он полшутя, полсердцясь. – Вчера в театре она заметила: «Наш молодой поэт капризен, как все поэты». Я тоже так считаю. Что с тобой, Гартмут? Вчера и сегодня ты весь день сиял от счастья, и вдруг, после часа моего отсутствия, я нахожу тебя уже в припадке настоящего уныния. Не огорчили ли тебя газеты? Может быть, тебя обидела какая-нибудь злая, завистливая статья?

Он указал на письменный стол, на котором лежали развернутые вечерние газеты.

– Нет-нет! – поспешно возразил Роянов, но при этом отвернулся, так что его лицо оказалось в тени. – В газетах пока только предварительные отзывы, и все очень лестные. Ты знаешь, у меня иногда бывает такое настроение; оно является без всякой причины.

– Да, я это знаю, но теперь, когда счастье хлынуло на тебя со всех сторон, ему не следовало бы являться. У тебя совсем больной вид; вероятно, это от волнения, которое мы с тобой перенесли за последние недели. – И он озабоченно нагнулся к другу.

Роянов, как бы раскаиваясь в своем нелюбезном поведении, протянул ему руку.

– Прости, Эгон, потерпи немножко, это пройдет.

– Надеюсь, потому что сегодня вечером мой поэт непременно должен оказать мне честь. Но теперь я уйду, чтобы ты отдохнул, а ты вели никого не принимать; до отъезда еще целых три часа.

Принц ушел. Он не видел горькой усмешки, от которой дрогнули губы Гартмута, когда он говорил о «со всех сторон нахлынувшем счастье», а между тем это была правда. Ведь слава дает счастье, может быть, высочайшее в жизни, а сегодняшний день был лишь продолжением вчерашнего триумфа; но час тому назад среди этой чарующей мелодии неожиданно прозвучал резкий диссонанс.

Придя к себе, молодой поэт занялся газетами. В них еще не было подобных рецензий об «Ариване», но все единодушно признавали огромный успех драмы и сильное впечатление, произведенное ею на зрителей; всюду говорили о Гартмуте Роянове. Развернув последнюю газету, он вдруг наткнулся на другое имя и вздрогнул от изумления, смешанного с испугом. В заметке, бросившейся ему в глаза, говорилось, что последняя поездка прусского посланника в Берлин имела, очевидно, более серьезное значение, чем предполагали; на аудиенции, данной герцогом Вальмодену, шла речь о весьма важных вещах, а теперь ожидают приезда уполномоченного лица, одного из высших представителей прусской армии, с особым поручением к его высочеству. «Без сомнения, переговоры касаются военного ведомства; полковник

Гартмут фон Фалькенрид должен прибыть на днях», – заканчивала свое сообщение газета.

Гартмут выронил газету. Сюда приедет его отец и, очевидно, Вальмоден ему все расскажет. Встреча была в высшей степени вероятна.

«Когда ты в будущем достигнешь славы, ступай к нему и спроси, посмеет ли он презирать тебя!» – шептала когда-то Салика своему сыну, когда он не решался нарушить честное слово. Сейчас начало этой славы уже было положено; имя Роянова украсилось лаврами поэта, заслонившими прошлое. Уверенность в этом выражал взгляд, с торжеством брошенный вчера Гартмутом в ложу посланника; однако теперь, когда речь шла о том, чтобы показаться на глаза отцу, храбрец дрожал: глаза отца – единственное во всем мире, чего он боялся.

Мало-помалу он пришел к решению уехать в Родек и вернуться лишь тогда, когда узнает из газет, что «уполномоченное лицо» уже уехало обратно. Но в то же время какое-то тайное, жгуче-тоскливое чувство удерживало его здесь. Может быть, именно теперь, когда так ярко загорелась звезда его поэтической славы, настал час примирения; может быть, Фалькенрид поймет, что поэтический талант сына мог развиваться только на свободе, и простит ему глупую мальчишескую выходку, хотя при таких взглядах на жизнь она, наверно, была для отца тяжелым ударом. Но ведь Гартмут все-таки его дитя, его единственный сын, которого он со страст-

ной нежностью сжимал в своих объятиях в тот последний вечер в Бургсдорфе. При этом воспоминании в душе Роянова проснулась тоска по отцовской любви, по родине, по своему детству, истом, невинном и счастливом, несмотря на внешнюю строгость.

Вдруг открылась дверь, и показался слуга с визитной карточкой на подносе; Роянов недовольно махнул рукой.

– Я ведь сказал вам, чтобы мне не мешали и что сегодня больше не принимаю!

– Я и отказал было этому господину, – ответил слуга, – о он просил хоть доложить о нем. Виллибальд фон Эшенгаген.

Гартмут приподнялся.

– Просите!.. Скорее!

Слуга вышел, и в следующую минуту появился Виллибальд, но нерешительно остановился у двери. Гартмут вскочил. Да, то были прежние знакомые черты, милое, открытое лицо, честные голубые глаза друга его юности, и, страстно вскрикнув: «Вилли! Мой добрый, милый Вилли! Это ты! Ты пришел ко мне?» – он порывисто бросился ему на грудь.

Эшенгаген, не имевший малейшего представления о том, как странно совпало его появление в эту минуту с нахлынувшими на Гартмута воспоминаниями, был ошеломлен таким приемом.

Он помнил, как командовал им Гартмут и демонстрировал перед ним свое умственное превосходство; он думал, что автор «Ариваны», которого так превозносили вчера, должен

оказаться еще высокомернее, и вдруг встретил такую нежность.

– Так ты рад моему приходу, Гартмут? – спросил он, все еще немножко колеблясь. – А я побаивался, что тебе это будет неприятно.

– Неприятно увидеться с тобой после десяти лет разлуки? – с упреком воскликнул Гартмут.

Он усадил друга рядом с собой, начал расспрашивать его, рассказывал сам и был так искренне рад, что робость у Вилли прошла и вернулась прежняя доверчивость. Он объяснил, что всего третий день в городе и едет в Фюрстенштейн.

– Да, в самом деле, ведь ты жених! – перебил его Роянов. – Я еще в Родеке узнал, кого прочит себе в зятя фон Шонау, а также видел его дочь. От души поздравляю тебя!

Вилли принял поздравление с каким-то странным лицом и ответил вполголоса:

– Да... собственно говоря, это мама нашла мне невесту.

– Я так и думал, – засмеялся Гартмут. – Но, по крайней мере, ты по доброй воле согласился?

Вилли не ответил и продолжал усердно рассматривать ковер под ногами; вдруг он спросил:

– Гартмут, как ты это делаешь... когда пишешь стихи?

– Как я это делаю? – Гартмут с трудом подавил смех. – Это нелегко объяснить; я даже не знаю, сумею ли хорошенько растолковать тебе это.

– Да, мудреное занятие писать стихи! Я пробовал вчера

вечером, когда вернулся из театра. Только никак не могу подобрать рифмы, и выходит совершенно не то, что у тебя; вообще дело как-то не клеится. Вот я и решил спросить у тебя, как ты это делаешь. Понимаешь, я не претендую на что-нибудь торжественное и романтическое, как твоя «Аривана», а так... я хочу сочинить совсем маленькое стихотворение.

– Конечно «ей»? – прибавил Гартмут.

– Да, ей, – глубоко вздохнув, подтвердил молодой помещик, но теперь его собеседник уже расхохотался совершенно открыто.

– Вилли, надо признаться, ты примерный сын! Конечно, бывает, что люди сватаются по приказанию папаши или мамы, но ты еще и добросовестно влюбился в невесту, дарованную тебе дражайшей родительницей, и даже сочиняешь стихи в ее честь.

– Да вовсе не в ее честь! – Закричал Виллибальд с таким отчаянием, что Роянов озадаченно посмотрел на него; у него даже мелькнула мысль, что голова у его друга не совсем в порядке. Тот, вероятно, и сам почувствовал, что производит несколько странное впечатление, и начал объяснять, в чем дело, но сбивчиво и бессвязно. – Сегодня у меня была стычка с одним нахалом, который осмелился оскорбить фрейлейн Мариетту Фолькмар, певицу здешнего придворного театра, а я, понятно, этого никогда не потерплю. Я сбил его с ног и с удовольствием собою еще раз, если понадобится. То же самое я проделаю со всяким, кто слишком близко подойдет

к ней.

Он вскочил с таким угрожающим видом, что Гартмут поспешно схватил его за руку и удержал на месте.

– Стой! У меня нет подобного намерения, меня ты еще можешь пощадить до поры до времени. Однако что за дела у тебя с Мариеттой Фолькмар, этой ходячей добродетелью нашей оперы? До сих пор она слыла недотрогой.

– Прощу тебя говорить об этой особе с большим уважением! Ну, одним словом, этот граф Вестербург вызвал меня на дуэль; я стреляюсь с ним и надеюсь проучить его так, чтобы он долго меня помнил.

– О, да ты делаешь большие успехи на любовном фронте! Всего два дня здесь и уже успел затеять ссору и получить вызов, стать рыцарем и защитником молодой певицы и драться за нее на дуэли! Ради Бога, Вилли, что скажет на это твоя мать?

– Это вопрос чести; моя мать тут ни при чем! Но мне нужен секундант, а я здесь никого не знаю. Дядя Герберт, разумеется, должен даже подозревать об этом, иначе он вмешается и обратится в полицию; вот я и решил пойти к тебе и спросить, не можешь ли ты мне в беде?

– Так вот почему ты пришел! – сказал Роянов с горьким разочарованием. – А я, было, думал, что тебя привела ко мне старая дружба. Впрочем, все равно, разумеется, я к твоим услугам, какое оружие выбрал твой противник?

– Пистолеты.

– Ну, с пистолетом ты умеешь обращаться; мы с тобой часто стреляли в цель в Бургсдорфе, и ты был тогда хорошим стрелком. Итак, завтра утром я отправлюсь к секунданту твоего противника и затем извещу тебя; только мне придется сделать это письменно; в дом господина Вальмодена я не пойду.

– Хорошо, так напиши вместо меня, – сказал Виллибальд. – Действуй по своему усмотрению, я заранее на все согласен, ведь я ровно ничего не смыслю в этом. Вот адрес секунданта, теперь я пойду, надо еще отдать кое-какие распоряжения... на всякий случай.

Он встал и, прощаясь, протянул другу руку, но тот не заметил этого и проговорил тихо и запинаясь:

– Еще одно, Вилли... Бургсдорф так близко от Берлина... верно, часто видишь... моего отца.

Этот вопрос привел Виллибальда в замешательство; в продолжение всей беседы он избегал упоминать имя Фалькенрида, и не знал о предстоящем приезде полковника.

– Нет, – не сразу ответил он, – мы почти никогда не видим его.

– Но ведь он по-прежнему бывает в Бургсдорфе?

– Нет, он стал большим нелюдимом. Но я случайно видел его в Берлине, когда ездил за дядей Вальмоденом.

– Как же он выглядит? Состарился за последние годы?

– Ты с трудом узнал бы его с седыми волосами.

– Седыми? – воскликнул Гартмут. – Ему только пятьдесят

два года! Или, может быть, он был болен?

– Насколько мне известно, нет. Он поседел неожиданно, за несколько месяцев... еще тогда, когда подавал в отставку.

Гартмут побледнел; его глаза с выражением испуга уставились на говорящего.

– Мой отец подавал в отставку... он, солдат до мозга костей? В каком году это было?

– До этого не дошло, – успокоил его Вилли, – ему не позволили выйти в отставку, только перевели в другой гарнизон, подальше. Теперь он уже три года служит в военном министерстве.

– Но он хотел выйти в отставку! В каком году?

– Да тогда... когда ты исчез. Он полагал, что его честь требует этого, и... право, Гартмут, тебе не следовало так огорчать отца, ведь это чуть не убило его.

Гартмут не отвечал, не оправдывался; он дышал тяжело и прерывисто.

– Лучше не будем говорить об этом, – сказал Виллибальд, – все равно ничего не поделаешь, ничего не изменишь. Ну, так ты все устроишь, и, значит, завтра утром я жду твоего письма. Спокойной ночи!

Гартмут, казалось, не слышал его слов и не заметил, как ушел Виллибальд; он продолжал стоять все на том же месте и смотреть в пол. Только через несколько минут он медленно поднял голову, провел рукой по лбу и прошептал:

– Он хотел выйти в отставку! Он полагал, что этого тре-

бовала его честь. Нет-нет, сейчас я не могу видеть его, еще не могу! Я уеду в Родек.

Всеми признанный поэт бежал, чтобы скрыться в уединении леса.

На одной из самых тихих улиц со скромными, уютными домиками жила Мариетта Фолькмар с пожилой фрейлейн Бергер, дальней родственницей своего дедушки, охотно взявшей на себя роль компаньонки девушки. Они вели такую скромную жизнь, что даже самые большие сплетники не могли ни к чему придраться. Все жильцы дома очень любили их, особенно Мариетту, которая была со всеми приветлива и часто доставляла соседям удовольствие своим пением.

Но в последние два дня «певчая птичка» замолчала и ходила с побледневшим лицом и заплаканными глазами; соседи не могли понять, в чем дело, и качали головами, пока наконец не услышали от компаньонки Мариетты, что доктор Фолькмар болен и внучка беспокоится о нем, тем более что не может взять отпуск. Несколько дней тому назад доктор, действительно, простудился, но серьезно опасаться за его здоровье оснований не было; его болезнь послужила только правдоподобным объяснением непонятного поведения Мариетты.

Молодая певица, только что вернувшаяся с репетиции, стояла окна гостиной и смотрела на улицу. Бергер сидела с работой у столика и поглядывала на девушку.

– Полно, дитя, не принимай этого так близко к сердцу, – уговаривала она ее. – Ты вконец измучишь себя этим стра-

хом и ожиданием. Зачем непременно предполагать самый плохой исход?

Мариетта обернулась; она была бледна, а в голосе слышались слезы.

– Уже третий день, а я еще ничего не знаю. Как ужасно по часу на час ожидать вести о несчастье!

– Почему же непременно о несчастье? Еще вчера после полудня господин фон Эшенгаген был жив и здоров – я сама наводила справки – и выезжал с Вальмоденами. Может быть, дело было улажено мирным путем.

– О, в таком случае он давно известил бы меня! Он обещал и сдержал бы слово. Но если в самом деле случилось несчастье, если он убит... я не переживу этого!

Последние слова были произнесены так страстно, что Бергер с испугом взглянула на девушку.

– Будь же благоразумна, Мариетта! Разве ты виновата, что тебя оскорбил какой-то нахал, а жених твоей подруги вступился за тебя? Право, ты в таком отчаянии, будто твой собственный жених будет стоять под пистолетом.

Бледные щеки Мариетты вдруг вспыхнули ярким румянцем, она опять поспешно отвернулась к окну.

– Ты не понимаешь этого, тетя, – тихо сказала она. – Ты ведь не знаешь, сколько любви и ласки я видела в доме лесничего, Как искренне Тони просила у меня прощенья, когда узнала, что будущая свекровь так обидела меня. Что подумает она обо мне, когда услышит, что ее жених дрался из-за

меня на дуэли? Что скажет госпожа фон Эшенгаген?

– Убедятся же они когда-нибудь, что ты тут несколько не виновата; а в случае, если дуэль кончится благополучно, они даже вовсе ничего не будут знать. Я просто не узнаю тебя, дитя! Ты всегда разгоняла смехом всякую печаль и заботу, а теперь еще усугубляешь их. Уже два дня ты не ешь и не пьешь от волнения, но сегодня я не позволю, чтобы ты сидела за столом, как вчера и третьего дня, слышишь? Пойду, взгляну, готов ли обед.

Старушка встала и пошла на кухню. Она была права: веселая Мариетта стала неузнаваема. Конечно, ее должна была мучить мысль, что приключение в парке могло быть передано обитателям Фюрстенштейна в превратном виде; даже здесь, в городе, ее репутация, до сих пор так тщательно охраняемая, пострадала бы, если бы узнали о дуэли. Но в настоящую минуту эти соображения отошли на задний план; их вытеснил страх за что-то другое.

– «Моей кровью, если понадобится!» – бессознательно шептала она, повторяя последние слова Виллибальда и приклоняясь горячим лбом к оконному стеклу. – О, Боже мой, только не это!

Вдруг на углу улицы показался Виллибальд; он быстро приближался, глядя на номера домов. С подавленным криком радости Мариетта отскочила от окна и не дожидаясь, пока он позвонит, бросилась сама открывать дверь; на ее глазах еще блестели слезы, но она с восторгом воскликнула:

– Наконец-то вы пришли! Слава Богу!

– Пришел цел и невредим, – ответил Виллибальд, лицо которого просияло от такого приема.

Они сами не знали, как очутились в комнате; молодому человеку казалось, будто маленькая, нежная рука Мариетты схватила его за руку и увлекла из передней. Только теперь, когда они стояли друг перед другом, Мариетта заметила, что правая рука Вилли на широкой черной повязке.

– Боже мой! Вы ранены? – испуганно спросила она.

– Легкая царапина, о которой и говорить не стоит! Графу я оставил на память кое-что посерьезнее, но, в сущности, тоже пустяки: пуля только задела ему плечо, так что его драгоценной жизни не грозит ни малейшая опасность. И стрелять-то, негодяй, порядком не умеет!

– Значит, вы все-таки стрелялись? Я так и знала!

– Сегодня утром, в восемь часов. Вам больше нечего бояться; видите, все обошлось благополучно.

Молодая певица вздохнула с таким облегчением, будто гора скатилась с ее плеч.

– Благодарю вас... Вы рисковали из-за меня жизнью. Тысячу раз благодарю вас!

– Не за что! Я сделал это с удовольствием! – искренне проговорил Виллибальд. – Но так как ради вас я все-таки вооружился пистолетом, то вы должны позволить мне на память об этом событии преподнести вам маленький подарок. Не правда ли, теперь вы не швырнете его мне под ноги? –

и он, достав что-то, завернутое в белую шелковую бумагу⁶, развернул сверток; в бумаге оказались распустившаяся роза и два полураскрытых бутона.

Пристыженная Мариетта опустила глаза, молча взяла цветы и приколола розу к груди; затем она так же молча протянула Виллибальду руку; и он прекрасно понял, что она просила прощения.

– Вы, конечно, привыкли не к таким скромным приношениям, – сказал он, как бы извиняясь. – Я немало слышал о том, сколько у вас здесь поклонников.

Девушка улыбнулась.

– Вы сами видели, какого рода бывает иногда это поклонение, и мне не впервые приходится сталкиваться с этим. Мужчины считают, что с женщиной, выступающей на сцене, могут позволить себе все. Поверьте, иногда я очень тяжело переношу это, хотя многие мне и завидуют!

– Тяжело? Я думал, что вы любите свое занятие и ни за что не откажетесь от него.

– О, разумеется, я люблю его, но никак не думала, что с ним связано столько грязи и пошлости. Мой учитель, профессор Марани, говорит: «Надо взлетать в поднебесье, подобно орлу, тогда все низменное останется далеко внизу». Может быть, он и прав, но для этого нужно быть орлом, а я – всего-то «певчая птичка», как зовет меня дедушка, пев-

⁶ Шелковая бумага изготавливается из внутренней коры молодых побегов бумажной шелковицы (дерево до 10 м высотой или кустарник семейства тутовых).

чая птичка, у которой нет ничего, кроме голоса, и которая не в силах взлететь особенно высоко. Критики часто упрекают меня в недостатке огня и силы в моем исполнении, да я и сама чувствую, что у меня нет настоящего драматического таланта; я умею только петь и гораздо охотнее пела бы дома, в наших зеленых лесах, чем здесь, в золотой клетке.

В голосе обычно задорной, веселой девушки слышалось с трудом сдерживаемое волнение. Последнее приключение еще раз ясно показало ей всю беззащитность ее положения, и переполненное сердце невольно раскрылось перед человеком, которым так мужественно защитил ее. Он слушал, затаив дыхание, и от ее слов, в сущности, довольно грустных, его лицо засияло, как будто ему сообщили что-то чрезвычайно радостное. Вдруг он взволнованно заговорил:

– Так вас тянет прочь отсюда? Вы собираетесь бросить сцену?

Несмотря на всю свою печаль, Мариетта звонко рассмеялась, услышав этот вопрос.

– Нет, об этом я вовсе не думаю; что бы я стала тогда делать? Мой милый дедушка годами экономил на всем, лишь бы дать мне возможность стать певицей; плохо отблагодарила бы я его за это, если бы села на его шею на старости лет. Он не должен даже подозревать, что его «певчая птичка» тоскует по родному гнезду, что жизнь здесь иногда тяготит ее. Впрочем, обычно я не так малодушна, не падаю духом и храбро защищаюсь, когда нужно. Пожалуйста, не рассказы-

вайте в Фюрстенштейне о моих жалобах. Вы ведь едете туда?

По лицу молодого человека, только что сиявшему, пробежала тень, и теперь уже он опустил глаза.

– Да, сегодня же после обеда, – ответил он упавшим голосом.

– В таком случае у меня еще одна просьба: вы скажете своей невесте все – слышите? – все! Мы оба обязаны сказать ей правду. Я сегодня же подробно напишу ей о случившемся, а вы подтвердите то, что будет в моем письме, не правда ли?

Виллибальд, взглянув на свою собеседницу, произнес:

– Вы правы. Тони должна узнать все, всю правду; я уже решился на это, прежде чем пришел сюда, но это будет для меня тяжело.

– О, наверно, нет! Тони добрая и доверчивая девушка; она поверит мне и вам на слово, что мы оба нисколько не виноваты.

– Нет, я виноват, по крайней мере, перед своей невестой. Я еду в Фюрстенштейн только для того... – он остановился и глубоко перевел дух, – чтобы просить Тони возвратить мне мое слово.

– Боже мой, но почему? – воскликнула девушка, которую это признание привело в ужас.

– Почему? Потому что сейчас было бы нечестно с моей стороны предлагать Тони руку и вести ее к алтарю; потому что только теперь я понял, что важнее всего при обручении и женитьбе, потому что...

Виллибальд не продолжал, но его глаза говорили так ясно, что Мариетта без труда все поняла; ее лицо вдруг ярко вспыхнуло, она попятилась и сделала резкое отрицательное движение рукой.

– Господин фон Эшенгаген, молчите! Ни слова больше!

– Я не могу больше молчать! Я честно боролся с собой, пытался сдержать свое слово все время, пока жил в Бургсдорфе; я даже думал, что это возможно. Но, приехав сюда и увидев вас в день представления «Ариваны», я вдруг понял, что сопротивляться больше я не могу. Я не забывал вас ни на минуту и не забуду до конца жизни! Вот в чем я хочу откровенно признаться Тони; то же самое скажу я и матери, когда вернусь домой.

Признание было сделано. В Фюрстенштейне для этого нужна была помощь матери. Теперь же он говорил так тепло и задушевно, так прямо и честно, как в подобных обстоятельствах должен говорить мужчина. Он неожиданно для самого себя смело подошел к Мариетте, которая убежала к окну, и вновь заговорил; его голос, только что звучавший твердо, вдруг стал неуверенным.

– Ответьте мне еще на один вопрос! были очень бледны, когда открыли мне дверь, у вас были заплаканные глаза... Я понимаю, что эта история была вам неприятна, но... может быть, вы немножко боялись... и за меня?

Ответа не последовало; послышалось только легкое всхлипывание.

– Вы боялись за меня? Одно только маленькое, коротенькое «да», Мариетта! Вы не можете себе представить, как оно меня осчастливит!

Он наклонился к девушке. Она медленно подняла опущенную головку; ее глаза светились затаенным счастьем, а губы едва слышно прошептали:

– Я? Ах, я чуть не умерла от страха за последние два дня!

Виллибальд со страстным восклицанием привлек ее к своей груди, но только на одно мгновение; она быстро вырвалась из объятий.

– Нет, не теперь! Уйдите... прошу вас!

Он сразу выпустил ее и отступил.

– Вы правы, Мариетта, не теперь! Но когда я верну себе свободу, то приду сюда и потребую от вас другого «да». Прощайте!

Прежде чем Мариетта успела опомниться, Виллибальд выбежал. Вдруг она услышала голос Бергер, которая уже несколько минут стояла на пороге и теперь в ужасе подошла к ней.

– Господи, Боже, что это было, дитя? Что это значит? Неужели ты забыла?..

Мариетта не дала ей закончить; она обняла ее за шею и страстно воскликнула:

– Ах, теперь я знаю, почему так рассердилась тогда, когда он позволил своей матери оскорбить меня! Мне было так невыносимо больно считать его бесхарактерным и трусом! Я

полюбила его с первой минуты!

В доме Вальмодена готовились к зимним праздникам. В течение а многочисленные покои посольского дворца, бывшего в распоряжении Вальмодена, роскошно отделывались и обставлялись. Первый большой прием был назначен на следующей неделе, и, ожидая это событие, супруги были заняты бесчисленными визитами.

В то же время посланник был очень занят служебными обязанностями. Правда, праздничное настроение было вконец испорчено успехом «Ариваны». Теперь ему было почти невозможно было выступить против Роянова; «искателя приключений» просто носили на руках, и его поэтический талант восхвалялся, где только можно. Двор и общество не могли от него отвернуться, не скомпрометировав себя; к тому же было еще сомнительно, решатся ли его отвергнуть на основании одних намеков. Успех сделал Гартмута почти неуязвимым.

В довершение к этим неприятностям посланника известили о приезде Фалькенрида. От него нельзя было скрывать истину, иначе он мог узнать ее от других. Полковника ожидали на днях, и остановиться он должен был в посольстве, так как не был чужим и Адельгейде: она и ее брат выросли у него на глазах.

Когда десять лет тому назад майора Фалькенрида переве-

ли в провинцию, он был назначен командиром полка, стоявшего в маленьком городке, который, находясь поблизости от штальбергских заводов, полностью от них зависел. Новый майор слыл образцовым служакой, но в то же время был нелюдимом; он только на службе чувствовал себя в своей тарелке, а все свободное время посвящал изучению военных наук и ненавидел общество. Он был одинок, и это избавляло его от необходимости принимать гостей у себя, сам же он бывал только там, куда обязан был являться в силу своего служебного положения.

Однажды по делам службы он вынужден был познакомиться со Штальбергом, являвшимся царьком всего промышленного округа и принимавшим у себя сливки общества. Штальберг был единственным человеком, которому удалось поближе сойтись с Фалькенридом. Они уважали друг друга, и Штальберги могли похвастать тем, что Фалькенрид довольно часто и охотно гостил в их доме. Он посещал его на протяжении многих лет, и дети Штальберга выросли у него на глазах; поэтому Вальмоден был обижен, когда Фалькенрид не приехал на его свадьбу, объяснив это тем, что отлучиться ему не позволяет служба. Но Адельгейда мало или, скорее, ничего не знала о прошлом полковника. Она считала его бездетным и только от мужа слышала, что он очень рано женился, через несколько лет развелся с женой и в настоящее время вдовец.

Приблизительно через неделю после возвращения Валь-

моденов, когда около полудня Адельгейда сидела в своей комнате за письменным столом, ей доложили о приезде Фалькенрида; она быстро встала, бросив перо, и поспешила навстречу прибывшему.

– Добро пожаловать, полковник! Мы получили вашу телеграмму, и Герберт непременно хотел встретить вас на вокзале, но, как нарочно, герцог назначил ему в этот час аудиенцию, и он до сих пор во дворце. Поэтому мы могли послать за вами только экипаж.

Ее приветствие было дружеским, но в ответе гостя не чувствовалось ни малейшей сердечности. Фалькенрид серьезно и холодно пожал протянутую ему руку и садясь сказал:

– Ничего, успеем еще увидеться, когда Вальмоден вернется.

Фалькенрид, действительно, изменился так сильно, что его трудно было узнать. Если бы не его мускулистая фигура и манера держаться, его можно было бы принять за старика. В пятьдесят два года он был седым как лунь, лоб весь в морщинах, глубокие, резкие линии избороздили лицо, от этого он казался на десять лет старше; все в нем точно застыло, и смотрел он с мрачной замкнутостью. Он производил впечатление человека, которому все совершенно безразлично, за исключением своих служебных обязанностей.

– Я, кажется, помешал вам, Ада? – спросил он, по старой привычке называя молодую женщину так, как ее звали в отцовском доме, и бросил взгляд на стол, где лежало неокон-

ченное письмо.

– О, это не к спеху, – возразила Адельгейда. – Я писала Евгению.

– А! Я привез вам поклон от брата; он был у меня третьего дня.

– Я знаю, что он собирался в Берлин и хотел зайти к вам. Ведь он не видел вас почти два года, да и я видела вас только мельком, проездом через Берлин. Мы надеялись, что вы придете в Бургсдорф, где мы провели несколько дней, и, мне кажется, Регина была очень обижена тем, что вы и на этот раз не приняли с приглашения.

Полковник мрачно потупился.

– Регина знает, как дорого мне время, – уклончиво ответил он. – Но вернемся к вашему брату, Ада. Мне хотелось поговорить с вами, и потому я рад, что застал вас одну. Что произошло между Евгением и вашим мужем? У них какие-то разногласия?

Адельгейда смутилась, но ответила беззаботным тоном:

– Ничего особенного; они вообще не ладят.

– Не ладят? Вальмоден почти на сорок лет старше вашего брата и, кроме того, его опекун; младший, безусловно, должен уступать.

– Разумеется; но Евгений, несмотря на свое доброе сердце, часто бывает вспыльчив и говорит не подумав; он и мальчиком был такой.

– К сожалению. Когда он займет видное и ответственное

положение, которое его ожидает, ему придется сильно поработать над собой, если он захочет исполнять свои обязанности хоть приблизительно так, как его отец. Но мне кажется, здесь что-то другое. Ада, я сказал совершенно безобидную фразу о вашем мужестве, а именно, что никак не предполагал, что вы так честолюбивы. Евгений вдруг разгорячился, стал страстно защищать с, заговорил о какой-то жертве, которую сестра принесла ему, в пылу гнева у него вырвались такие выражения и намеки, что я был до крайности поражен.

– Напрасно вы обратили на них внимание. – Адельгейда беспокоилась. – Такая молодая, горячая голова во всем видит трагедию. Что именно сказал вам Евгений?

– В сущности, ничего. Он утверждает, что дал вам слово молчать и не может говорить без вашего разрешения; но, кажется, он просто ненавидит своего зятя. Что это значит?

Молодая женщина молчала; этот разговор явно был ей в высшей степени неприятен.

Фалькенрид, пытливо посмотрев на нее, продолжал:

– Вы знаете, я вообще мало интересуюсь тем, как кто поступает и думает; но намеки вашего брата бросают тень подозрения на моего друга юности и задевают его честь; понятно, я не мог стерпеть; но когда я сказал об этом Евгению и добавил, что обращусь за разъяснением к самому Вальмоде-ну, он ответил: «Мой почтенный зятюшка объяснит вам все «дипломатично», ведь именно в этом он проявил себя великим дипломатом. Лучше спросите Аду, если желаете знать

правду». Поэтому я и спрашиваю сначала вас; если же вы не можете или не хотите ответить, то я буду вынужден обратиться к вашему мужу, потому что не могу скрывать от него, как о нем отзываются.

Полковник говорил спокойно и сдержанно; очевидно, само по себе это обстоятельство ничуть его не интересовало; он только считал необходимым выяснить его, потому что оно затрагивало честь человека.

– Не говорите об этом Герберту, прошу вас! – поспешно перебила его Адельгейда. – Я все вам объясню. Увлечшись, Евгений сказал больше чем следовало; но он с самого начала принял это слишком близко к сердцу. Ничего бесчестного тут не было. Вы знаете, что год назад я была обручена во Флоренции. В то время отец был уже сильно болен, и доктора требовали, чтобы он провел зиму в Италии. Сначала мы поселились на два месяца во Флоренции; дальнейший маршрут должен был зависеть от состояния здоровья больного. Брат был с нами, но в начале зимы должен был вернуться домой. Мы нанимали виллу за городом и, разумеется, жили очень уединенно; Евгений приехал в Италию впервые и постоянно грустил, сидя в тихой комнате больного. Я поддержала его желание ненадолго съездить в Рим и даже настояла на поездке. Лучше бы я не делала этого! Но я не могла предвидеть, чем все это кончится.

– Другими словами, он развлекался, в то время как его отец умирал?

– Не судите его так строго! Ему не было еще и двадцати лет, до этого он был всегда на глазах у любящего, но тем не менее строгого отца. Свобода опьянила и ослепила его. Как я узнала впоследствии, молодого немца, незнакомого с жизнью, заманили в кружок мошенников, которые играли по-крупному. Под приличной внешностью скрывались подонки. Евгений по неопытности не разглядел этого. Он проиграл значительную сумму; однажды неожиданно нагрянула полиция, итальянцы стали сопротивляться, произошло настоящее сражение, в которое втянули и Евгения. Он только защищался, но, к своему несчастью, тяжело ранил одного из полицейских, и его вместе с другими арестовали...

Полковник слушал молча; его лицо оставалось безучастным, и он прежним сухим тоном произнес:

– И Штальбергу пришлось вытерпеть это от сына, который до того был образцом благовоспитанности!

– Отец ничего не узнал. Ведь это было совершено по неприятности, скорее это была ошибка, чем проступок. И это никогда больше не повторится; Евгений дал мне честное слово.

Фалькенрид вдруг резко и презрительно засмеялся.

– Честное слово! Ну, конечно, почему же не дать! Ведь его так же легко дать, как и нарушить. Неужели вы еще так доверчивы, что полагаетесь на слово такого мальчика?

– Да, я верю ему. – Адельгейда обиделась и с упреком подогрела на Фалькенрида. – Я знаю брата; несмотря ни на что,

он сын своего отца и сдержит слово, которое дал самому себе и мне; в этом я уверена.

– Хорошо, что вы еще умеете верить; я давно разучился, – сухо сказал Фалькенрид. – Что же было дальше?

– Брат с трудом добился разрешения известить меня. «Не говори отцу, это убьет его», – написал он мне. Я лучше него знала, что больной не перенесет подобного известия; мы были одни на чужой земле, у нас не было ни друзей, ни знакомых, действовать надо было немедленно. В эту страшную минуту я вспомнила о Герберте, который в то время служил при посольстве во Флоренции. Мы немного знали его уже раньше; он нанес нам визит, как только мы приехали, и предлагал свои услуги в случае, если нам понадобится посредничество нашего посланника. Потом он стал бывать у нас чаще и сразу же явился по моей просьбе. Я доверилась ему, рассказала все, попросила совета и помощи и... получила их.

– Какой ценой? – Полковник мрачно сдвинул брови.

– Нет-нет, это было не так, как вы думаете и как до сих пор думает Евгений. Меня никто не вынуждал; Герберт предоставил мне свободу выбора. Конечно, он не скрыл от меня, что история с братом была даже гораздо хуже, чем я думала, что, во избежание огласки, проигранную сумму непременно надо было заплатить и что, по всей вероятности, дело не обойдется без суда, потому что брат ранил полицейского. Он объяснил мне также, что личное вмешательство в подобную историю может очень повредить его репутации. «Вы требуе-

те, чтобы я спас вашего брата, – сказал он. – Может быть, я и смогу это сделать, но при том я рискую своим положением и ставлю на карту всю свою карьеру. Такую жертву можно принести разве что родному брату или шурина».

Фалькенрид вдруг встал и прошелся взад и вперед по комнате; потом остановился перед молодой женщиной и спросил сердитым голосом:

– И вы с перепугу, разумеется, поверили?

– А вы думаете, все было по-другому?

– Очень может быть. Я не знаком с тонкостями дипломатической службы, но знаю одно: в этом деле Вальмоден, действительно, проявил себя «великим дипломатом». Что вы ответили?

– Я просила дать мне время подумать; все это обрушилось на меня так внезапно. Но так как нельзя было терять ни одного часа, то в тот же вечер я дала Герберту право... заступиться за своего шурина.

– Разумеется! – с горечью пробормотал полковник. – Мудрый Герберт!

– Он сразу взял отпуск и сам отправился в Рим, а через неделю вернулся вместе с братом. Ему удалось не только освободить Евгения, но и совершенно замять это дело. Какими средствами он достиг этого, я не знаю, но, имея влиятельных друзей и не жалея денег, конечно, можно сделать многое, а Герберт швырял деньги налево и направо и воспользовался всеми связями, приобретенными за многолетнюю ди-

пломатическую службу. За своим личным поручительством он достал также деньги, чтобы покрыть карточный долг. Он говорил мне потом, что ему пришлось пожертвовать половиной своего состояния.

– Очень великодушно, если такой жертвой приобретаешь миллионы. Что же сказал Евгений о такой сделке?

– Он не подозревал о ней и вернулся в Германию. С тех пор Герберт стал ежедневно бывать у нас и сумел так расположить к себе моего отца, что тот наконец сам настоял на нашем браке; только тогда Герберт сделал предложение. Я была очень благодарна ему за помощь. Только от Евгения скрыть ничего не удалось, он догадался обо всем и вынудил меня признаться. С тех пор он постоянно мучит себя упреками и чувствует ненависть к зятю, несмотря на мои уверения, что Герберт – удивительно внимательный, самый деликатный муж.

Фалькенрид не спускал глаз с молодой женщины, как будто хотел прочесть на ее лице сокровенные мысли.

– Вы счастливы? – медленно спросил он.

– Я довольна.

– И это уже много в жизни! Мы рождаемся не для того, чтобы быть счастливыми. Я был неправ по отношению к вам, Ада; я думал, что выйти замуж за Вальмодена вас заставили блеск высокого положения, желание играть первую роль в обществе в качестве жены посланника, но... я очень рад, что был неправ! – Сказав это, полковник протянул молодой

женщине руку. Теперь его холодный взгляд потеплел, а в рукопожатии выражалась безмолвная просьба о прощении.

– Теперь вы знаете все, – закончила Адельгейда с глубоким вздохом, – и не будете затрагивать эту тему в разговоре с Гербертом; я вас очень прошу об этом. Вы видите, в его действиях не было ничего нечестного; повторяю, он не принуждал меня и не уговаривал; меня вынудила сила обстоятельств. Я не могла и не имела права ожидать, чтобы он принес такую жертву постороннему человеку.

– Если бы женщина в смертельном страхе умоляла меня о такой жертве, я принес бы ее без всяких условий.

– Так то вы! За вас и мне гораздо легче было бы выйти замуж.

Это невольное восклицание выдало молодую женщину, и стало понятно, что она пережила тогда, хотя об этом не было сказано и слова. Это была правда; уж если и необходимо было принести жертву, она гораздо охотнее доверилась бы этому угрюмому, замкнутому человеку, с суровыми, грубоватыми манерами, чем своему всегда вежливому, неизменно внимательному супругу, который вступил в торг, пользуясь стечением обстоятельств.

– Незавидный жребий выпал бы вам, Ада! – сказал полковник, печально покачав головой. – Я из тех людей, которые уже не в состоянии ничего дать другим и ничего не могут взять от жизни сами. Но вы правы, лучше нам с Вальмодемом не затрагивать этого вопроса, ведь если я и выскажу

ему свое мнение о его поступке, он как был, так и останется дипломатом.

Адельгейда встала, желая прекратить этот разговор, и, стараясь говорить непринужденным тоном, сказала:

– А теперь позвольте проводить вас в ваши комнаты, должно быть, вы устали после длинной дороги.

– Нет, ведь я солдат и не могу устать только потому, что провел ночь в дороге. Служба требует от нас гораздо большего.

И действительно, было видно, что его физические силы еще с надломлены; его мускулы казались стальными, только лицо было старым. Взгляд молодой женщины задумчиво остановился на полковнике; особенно она обратила внимание на его лоб, изборожденный глубокими морщинами, но высокий и красивый под седыми волосами. Ей казалось, что она видела у другого человека точно такой же лоб, только обрамленный темными кудрями. Трудно было найти что-либо более непохожее, чем эти два лица: одно – преждевременно состарившееся, покрытое морщинами от жизненных невзгод, другое – молодое, цветущее чужеземной красотой, с демоническим огнем в глазах. И все же и блеске молнии на лесной прогалине Адельгейда видела, несомненно, именно этот огромный лоб, даже с теми же синими жилами, ясно выступавшими на висках. Удивительное, непонятное сходство!

Они пошли в комнаты, приготовленные для гостя. Через несколько часов друзья юности сидели в кабинете Вальмоде-

на; он сразу же завел разговор о том, что считал необходимым сообщить полковнику, и рассказал, при каких обстоятельствах появился в этом городе Роянов, передал все, что знал жизни Гартмута и его матери, и наконец упомянул о смерти последней. Он боялся этой беседы, но его рассказ произвел все не то впечатление, какое он ожидал. Фалькенрид стоял, прислонившись к косяку окна, со скрещенными руками, и молча слушал его длинную речь; его лицо оставалось бесстрастным и непроницаемым. Казалось, то, что он услышал, совершенно его тронуло.

– Я считал себя обязанным сообщить тебе все это, – закончил наконец посланник. – Если до сих пор я не говорил того, что знал об их судьбе, то лишь потому, что не хотел напрасно мучить тебя воспоминаниями. Но теперь тебе необходимо знать, как обстоят дела.

Полковник не изменил своей позы и без всякого волнения произнес:

– Благодарю тебя за доброе намерение, но ты мог бы избавить меня от объяснения; что мне за дело до этого проходимца?

– Я считал необходимым приготовить тебя к возможной встрече. Вероятно, ты слышал, что Роянов в настоящее время у всех на виду; ему покровительствует сам герцог. Ты можешь встретиться с ним именно во дворце.

– Что же дальше? Я не знаю никакого Роянова, а он едва ли осмелится узнать, меня; мы, как чужие, разойдемся в

разные стороны.

Посланник пытливо смотрел на Фалькенрида, желая угадать, действительно ли тот так равнодушен, или это только невероятное самообладание.

– Я думал, что ты иначе отнесешься к появлению своего сына, – сказал он вполголоса. Слово «сын» было произнесено впервые, до сих пор он все время говорил о Роянове.

– У меня нет сына, запомни это, Вальмоден! – гневно воскликнул полковник. – Он умер для меня в тот вечер в Бургсдорфе, а мертвые не воскресают. Ты только что сказал, что считал своим долгом предупредить герцога, но не сделал этого ради меня. Только одним на свете я еще дорожу: честью своего имени, а благодаря твоему разоблачению это имя снова станет предметом глумления и позора. Делай то, что находишь нужным, я тебе не мешаю, но тогда и я сделаю то, что считаю своим долгом.

– Фалькенрид, ради Бога! – испуганно воскликнул посланник. – Что ты хочешь сказать? Как я должен понимать твои слова?

– Как тебе угодно! У вас, дипломатов, иной раз бывают совсем другие понятия о чести, чем у нашего брата; я же придерживаюсь одного мнения в этом отношении.

– Я буду молчать, даю тебе слово! Из-за меня имя Фалькенрида не будет притчей во языцех!

– Хорошо, не будем больше говорить об этом. Итак, ты подготовил герцога к тому, что я должен ему передать? –

спросил он после короткой паузы, резко меняя тему разговора. – Как он отнесся к этому?

К нему вернулась его непроницаемость, не допускавшая никаких расспросов. Впрочем, этот переход был очень приятен посланнику; здесь, как и везде, Вальмоден был дипломатом, который не привык идти напролом. Он никогда и не подумал бы выступить против Гартмута, если бы не опасался, что, если истина случайно откроется, то молчание будет впоследствии поставлено ему в вину. Теперь же в худшем случае у него было оправдание: слово, данное отцу.

Время Фалькенрида было строго рассчитано; у него не было ни минуты свободной: аудиенции у герцога, совещания с представителями военного ведомства, переговоры в своем посольстве – все это надо было успеть сделать за несколько дней. Вальмоден был занят не меньше, пока они не закончили все дела, но зато он, и особенно Фалькенрид имели полное основание быть довольными результатами; они достигли всего, чего желало их правительство, и могли быть вполне уверены в его признательности.

Конечно, только узкий круг лиц знал, что происходит что-то важное, но даже в этих кругах немногие понимали значение Переговоров.

В обществе по-прежнему интересовались только автором «Ариваны», хотя не понимали его странного поведения.

После успешного представления своей драмы Роянов бежал от всеобщего поклонения и похвал в «лесные дебри»,

как со смехом выражался принц Адельсберг. Где находились эти дебри, никто не знал; Эгон говорил, что дал слово другу никому не раскрывать его убежища, что после всех волнений ему необходим отдых и что через несколько дней он вернется. Таким образом никому не было известно, что Гартмут Роянов в Родеке.

В одно пасмурное зимнее утро перед домом прусского посольства стоял экипаж Вальмодена. Очевидно, собирались в дальнюю дорогу; об этом можно было судить по шубам и пледом, которые слуги носили в экипаж. В столовой только что окончили завтрак; посланник прощался с полковником Фалькенридом.

– Итак, до свиданья завтра вечером, – сказал он, протягивая руку. – К вечеру мы непременно вернемся, а ты ведь остаешься весь еще на несколько дней?

– Да, так как этого настойчиво желает герцог, – ответил Фалькенрид. – Я уже дал об этом телеграмму в Берлин, а мое донесение отправлено одновременно с твоим.

– Я полагаю, там останутся довольны результатами переговоров. Нелегко нам пришлось! Мы почти не отдыхали в эти дни! Зато теперь все в порядке, и я могу позволить себе отлучиться на сутки и съездить с Адельгейдой в Оствальден.

– Твое новое имение называется Оствальден? Да, помню, ты вчера говорил. Где, собственно, оно находится?

– Милях в двух от Фюрстенштейна. Когда мы гостили там, Шонау обратил мое внимание на этот замок, и я тогда же

осмотрел его. Имение довольно обширное и очень живописно расположено в прекрасном бору.

– Мне кажется, Ада не вполне одобряет твой выбор.

– Каприз, не больше! Сначала Адельгейда была просто в восторге от Оствальдена, а потом стала находить в нем всевозможные изъяны. Не могу же я обращать на это внимание! По всей вероятности, я еще долго останусь на прежней должности, а я не люблю уезжать летом куда-нибудь далеко; поэтому мне очень важно иметь поместье в четырех часах езды от города. В настоящее время замок сильно запущен, но его можно превратить в великолепную летнюю резиденцию. Я хочу еще раз хорошенько осмотреть его, чтобы по возможности скорее составить план реконструкции, да и вообще я еще не была Оствальдене в качестве хозяина.

Вальмоден с удовольствием рассказывал о своих планах. Он, еще недавно располагавший весьма небольшими средствами и ограничивавший себя во всем, теперь вдруг нашел нужным обзавестись имением в стране, где проживал лишь временно, и покупал княжеский замок, чтобы проводить в нем лето, но вовсе не находил нужным принимать в расчет желания жены, хотя именно ее богатство и сделало его крупным землевладельцем.

Эти мысли блуждали в голове Фалькенрида, когда он слушал своего друга, но он ничего не сказал. В последние дни он стал еще мрачнее и сосредоточеннее, и если задавал вопрос или делал какое-нибудь замечание, то по его тону бы-

ло слышно, что он делает это совершенно машинально, просто потому, что надо что-то говорить. Только когда вошла Адельгейда, уже полностью готовая к отъезду, он несколько оживился и пошел ей навстречу, чтобы проводить ее до экипажа. Вальмоден, севший вслед за ней, высунулся из окна.

– Завтра мы вернемся в любом случае. До свиданья!

Фалькенрид отступил кланяясь. Ему было совершенно безразлично, увидится он еще когда-нибудь со своим другом юности или нет; и это давно уже умерло в его душе. Но, поднимаясь по лестнице, он пробормотал вполголоса:

– Бедная Ада! Она заслуживала лучшей участи.

Между тем в Фюрстенштейне жизнь текла по-прежнему спокойно. Виллибальд был здесь уже около недели. Правда, он приехал двумя днями позже назначенного срока, но в этом была виновата рана, которую, по его объяснению, он причинил себе сам по неосторожности и которая в настоящее время уже почти зажила. Лесничий нашел, что в это короткое время его будущий зять сильно переменялся к лучшему, стал серьезнее, решительнее, и с большим удовольствием заметил дочери:

– Мне кажется, Вилли становится похожим на человека; сразу видно, что рядом нет его матери-командирши.

Впрочем, у Шонау не было времени наблюдать за женихом и невестой, потому что дел у него было по горло. Герцог распорядился кое-что изменить в лесном хозяйстве, и теперь Шонау усердно этим занимался. Он ежедневно слышал, что Антония с женихом в самых лучших отношениях, и потому предоставлял их большей частью самим себе.

Тем временем в Вальдгофене, в доме доктора Фолькмара, было неладно. Состояние доктора ухудшилось, он настойчиво требовал к себе внучку, и ей послал телеграмму. Мариетта немедленно получила отпуск, ее роль в «Ариване» передали другой певице, и она поспешила в Вальдгофен.

Антония каждый день ходила в Вальдгофен, чтобы уте-

шать и поддерживать Мариетту, которая всей душой любила дедушку. Присутствие Виллибальда, по-видимому, считалось также необходимым, потому что он неизменно сопровождал Тони; лесничий находил вполне естественным, что они по мере сил помогают бедной девочке.

Наконец, после трех суток, проведенных в страхе за жизнь вольного, опасность миновала, и появилась надежда на выздоровление. Шонау искренне радовался. Казалось, все обстояло благополучнейшим образом.

Вдруг совершенно внезапно, без всякого предупреждения, в Фюрстенштейн прилетела Регина фон Эшенгаген. Она явилась прямо из Бургсдорфа и как грозовая туча предстала перед Шонау, мирно сидевшим у себя в кабинете и читавшим газету.

– С нами крестная сила!.. Это ты, Регина? – воскликнул он в испуге. – Вот это называется сюрприз! Неужели ты не могла предупредить нас?

– Где Виллибальд? – вместо ответа зловещим голосом спросила Регина. – Он в Фюрстенштейне?

– Разумеется. Где же ему еще быть? Насколько я знаю, он писал тебе, что приехал сюда.

– Вели позвать его... сию же минуту!

– Какое у тебя лицо! – воскликнул Шонау. – Бургсдорф загорелся, что ли? Я не могу сию же минуту добыть твоего Вилли, он в Вальдгофене.

– У доктора Фолькмара, конечно! И она там?

– Кто «она»? Тони, разумеется, там; они каждый день навещают бедняжку Мариетту; ведь она была совсем в отчаянии. Кстати, что касается Мариетты, мне еще надо сказать тебе пару слов. Как ты могла так обидеть эту девушку да еще в моем доме? Я об этом узнал только недавно, иначе...

Его остановил сердитый хохот Регины. Она бросила на первый попавшийся стул шляпу и пальто и подступила к зятю.

– Так ты намерен еще упрекать меня за то, что я пыталась предотвратить несчастье, которое ты сам накликнул на свой дом? Впрочем, ты всегда был слеп и никогда не хотел слушать мои предостережения... А теперь уже слишком поздно!

– Ты как будто не в своем уме, Регина! – сказал лесничий, решительно не зная, что и думать. – Скажешь ли ты наконец, что все это значит?

Регина достала из кармана газету и протянула ему, указывая пальцем на одну из статей.

– Читай!

Шонау начал читать. Теперь и его лицо стало темно-красным от гнева и удивления. Указанная ему статья – светская хроника из столицы одного из южно-германских государств – писала следующее:

«Только теперь стало известно, что в прошлый понедельник в отдаленной части парка рано утром состоялась дуэль на пистолетах. Противниками были хорошо известный в нашем обществе граф В. и молодой помещик из северной Гер-

мании В. фон Э. который в настоящее время гостит у своего родственника, высокопоставленного члена посольства. Поводом к ссоре, окончившейся дуэлью, как говорят, послужила артистка нашего придворного театра, молодая певица, которая, впрочем, пользуется безупречнейшей репутацией. Граф В. ранен в плечо; г. фон Э. получи лишь легкую рану в руку и тут же уехал».

– Черт возьми! – яростно крикнул лесничий. – Жених моей дочери дерется на дуэли из-за Мариетты! Так вот откуда рана, с которой он приехал! Это премило! Что ты знаешь об этом, Регина? В моей газете этой заметки нет.

– Зато есть в моей! Как видишь, статья перепечатана из одной из местных газет. Я прочла ее вчера и сразу поспешила сюда, даже не заехав к Герберту, который, должно быть, ничего не знает, иначе он известил бы меня.

– Герберт будет здесь сегодня после обеда, – сказал Шо-нау, сердито швыряя газету на стол. – Он в Остенвальдене с Адельгейдой и написал мне, что на обратном пути заедет к нам. Очень может быть, что он едет по поводу Виллибальда, но это нисколько не меняет дела. С ума сошел, что ли, этот мальчишка?

– Разумеется, сошел! Ты смеялся надо мной, когда я предостерегала тебя против этой комедиантки и говорила, что ты не должен позволять дочери водиться с ней. Но того, что дело примет такой оборот, я, конечно, не подозревала до той минуты, пока не поняла, что Вилли, мой сын, влюблен в

эту Мариетту Фолькмар! Я в ту же минуту насильно увезла его подальше от опасности и вернулась с ним в Бургсдорф; это и было причиной нашего внезапного отъезда, но я умолчала о ней, потому что считала любовь Вилли мимолетным увлечением. Мне показалось, что мальчишка совсем образумился, иначе я не допустила бы его вторичной поездки. Все-таки из предосторожности я поручил» его брату. Он должен был оставаться в городе не более трех-четырех дней... и вдруг такая история! – и в совершенном отчаянии Регина плюхнулась в кресло.

Лесничий, напротив, быстро забежал по комнате.

– И это еще не самое худшее! – кричал он. – Хуже всего та комедия, которую он играет здесь перед невестой! Моя бедная девочка каждый день ходит в Вальдгофен, утешает, помогает своей подруге, как только может, а жених бежит следом за ней и пользуется этим для свиданий. Это Бог знает что такое! Нечего сказать, хорошо ты воспитала своего примерного сынка!

– Уж не думаешь ли ты, что я прощу ему это? – воскликнула Регина. – Он мне ответит, для того я и приехала. Я ему покажу!

Она подняла руку, как бы собираясь принести обет мщения, а Шонау, продолжая носиться по комнате, повторил, фыркая от гнева:

– Да, мы ему покажем!

Вдруг открылась дверь, и в комнате появилась обманутая

невеста, Антония фон Шонау, спокойная и рассудительная, как всегда, и проговорила невиннейшим голосом:

– Я только что узнала о твоём приезде, милая тетя! Добро пожаловать!

Вместо ответа с двух сторон раздался сердитый вопрос:

– Где Виллибальд?

– Он сейчас придет; он зашел на минутку к садовнику, потому что не знал о приезде матери.

– К садовнику? Конечно, опять за розами, как тогда? – вспыхнула Регина.

Лесничий же, раскрывая объятия, растроганно воскликнул:

– Дитя мое, мое бедное, обманутое дитя!.. Подойди ко мне! Дай обнять тебя твоему отцу!

Он хотел прижать дочь к груди, но в это время с другой стороны подоспела Регина и также потянула ее к себе, восклицая тем не менее трогательно:

– Мужайся, Тони! Тебя ждет страшный удар, но ты должна вынести его! Ты должна показать своему жениху, что от всей души презираешь его и его измену!

Такое бурное участие могло испугать кого угодно. К счастью, Антония обладала крепкими нервами. Она высвободилась из двойных объятий, отступила назад и произнесла спокойно и решительно:

– Я вовсе не намерена презирать Вилли. Собственно говоря, он только теперь начинает мне нравиться.

– Тем хуже! – возразил Шонау. – Бедное дитя, ты еще ничего не знаешь, ничего не подозреваешь! Твой жених стрелялся, дрался на дуэли из-за другой.

– Я знаю, папа!

– Из-за Мариетты! – пояснила Регина.

– Я знаю, милая тетя.

– Он любит Мариетту! – закричали оба в один голос.

– Я знаю все... уже целую неделю знаю все.

Эти слова потрясли разъяренных отца и тетку. Они замолчали и растерянно уставились друг на друга.

Между тем Тони продолжала с непоколебимым спокойствием:

– Вилли признался мне во всем сразу же, как только приехал. Он говорил так хорошо и задушевно, что я плакала – так была тронута. В то же время пришло письмо от Мариетты, в котором она просила меня простить ее; оно было еще трогательнее. Мне ничего не оставалось, как вернуть жениху свободу.

– Не спросив нас? – воскликнула Регина.

– Да это ничего бы не дало в данном случае, – спокойно возразила Антония. – Не могу же я выйти замуж за человека, объявившего мне, что любит другую! Поэтому мы втихомолку расторгли нашу помолвку.

– Вот как! А я узнаю об этом только теперь? Вы стали чересчур самостоятельны! – сердито проворчал отец.

– Вилли хотел на следующий же день сказать тебе, папа,

но после такого объяснения он не мог бы больше оставаться здесь, а в это время как раз заболел доктор и приехала Мариетта. Она была в страшном отчаянии, а у Вилли сердце разрывалось при мысли о необходимости оставить ее наедине со своим горем и уехать, не зная, какой оборот примет болезнь. Поэтому я предложила ему молчать, пока опасность не минует, и каждый день стала ходить в Вальдгофен, чтобы дать Вилли возможность видеться с Мариеттой и утешать ее. Они оба крайне благодарны мне и уже дали мне прозвище ангела-хранителя их любви.

Регина стояла прямо и неподвижно, как соляной столб. Шонау же сложил руки и проговорил с тяжким вздохом:

– Ну, благослови, Боже, твое доброе сердце, дитя мое! Ничего подобного в своей жизни я не видел. Однако, надо признаться, вы ловко обработали дельце! Так ты совершенно спокойно сидела и смотрела, как твой жених нежничал с другой?

Антония недовольно покачала головой. Очевидно, роль ангела-хранителя очень нравилась ей и нисколько не казалась трудной, так как ее чувство к жениху с самого начала было весьма холодным.

– О нежностях и речи не было; для этого доктор был слишком болен, – возразила она. – Мариетта все время плакала, а мы только и думали о том, как бы утешить ее. Теперь вы видите, что меня вовсе не обманывали и что Вилли действовал открыто и честно. Я сама потребовала, чтобы он не говорил

вам еще некоторое время, и, собственно говоря, ведь дело касается только нас двоих...

– Ты находишь? Так нас оно ничуть не касается? – гневно перебил ее лесничий.

– Нет, папа. Вилли говорит, что в таком деле как женитьба не следует думать о родителях.

– Что говорит Вилли? – переспросила Регина, которой такое заявление вернуло дар речи.

– Что для того, чтобы вступить в брак, нужно любить друг друга, и в этом он прав, – объявила Тони с необычайной живостью. – При нашей помолвке о любви и речи не было, собственно говоря, нашего мнения даже не спрашивали; но во второй раз я этого не потерплю. Я только теперь вижу, как прекрасно, когда двое людей всем сердцем любят друг друга, и как удивительно переменился Вилли под влиянием любви! Теперь и я хочу, чтобы меня любили, как Мариетту, а если я не встречу человека, который полюбит меня точно так же, то и вовсе не выйду замуж.

Сделав такое заявление, Антония с высоко поднятой головой вышла из комнаты, оставив отца и тетку в состоянии неопишуемого удивления.

Лесничий первый овладел собой; впрочем, в его голосе еще слышался с трудом подавляемый гнев, когда он повернулся к невестке и сказал:

– Хороших дел натворил твой сынок, Регина! Теперь и Тони хочет, чтобы ее любили, и вбила себе в голову какие-то

романтические бредни! А что касается Вилли, то, судя по всему, он уже стал настоящим романтиком. Мне кажется, что второе предложение он сделал сам.

Регина не обратила внимания на этот намек и возразила:

– Ты как будто относишься к этому с юмором, я же воспринимаю иначе.

– Это не поможет! Если такой пай-мальчик начинает бунтовать, то в большинстве случаев дело оказывается безнадежным, особенно если он влюбился. Однако интересно будет посмотреть, каков-то Вилли влюбленный; это, должно быть, – презамечательное зрелище!

Вскоре появился Виллибальд. Он уже знал о приезде матери и приготовился к сцене, так как понимал, что ее неожиданное появление в Фюрстенштейне могло быть вызвано только чем-то особенным. На этот раз он не попятился со страху, как два месяца назад, когда сунул розы в карман, а решил вступить в неизбежную борьбу.

– Твоя мать приехала, Вилли, – начал лесничий. – Ты, конечно, очень удивлен тем, что видишь ее здесь?

– Нет, дядя, это меня не удивляет. – Молодой человек даже ре собирался подходить к матери.

Та стояла перед ним подобно черной туче и заговорила грозным голосом:

– Так ты знаешь, почему я приехала?

– По крайней мере, догадываюсь, мама, хотя не понимаю, как ты могла узнать...

– Да обо всем напечатано в газетах и, кроме того, Тони сказала нам все!.. слышишь? Все!

Она произнесла последнее слово буквально уничтожающим тоном, но от этого Виллибальд не утратил самообладания, а спокойно ответил:

– Значит, мне нет надобности рассказывать. Я хотел сегодня же поговорить с дядей.

Это было уж слишком! Грозовая туча разразилась такими громом и молнией, что Вилли ничего больше не оставалось, как провалиться сквозь землю. Однако он только нагнул голову, чтобы пропустить налетевшую бурю, а когда наступило минутное затишье, выпрямился и сказал:

– Мама, теперь дай мне сказать. Мне очень жаль, что я должен причинить вам огорчение, но я ничего не могу изменить. В этой дуэли я не виноват так же, как и Мариетта. Ее преследовал нахал, я заступился за нее и проучил негодяя, а он прислал мне вызов, который я не мог отклонить. В том же, что я люблю Мариетту, я должен просить прощения только у Тони, и я сделал это сразу же, как только приехал. Она все знает и восприняла все спокойно. Мы расторгли наш союз добровольно, а не так как заключали.

– Ого! Теперь он уже нас упрекает! – рассердился лесничий. – Мы не принуждали вас, вы могли и отказаться, если не нравились друг другу.

– Мы и отказались, благо, еще не было поздно. Тони тоже убедилась, что одной привычки для брака мало, а однажды

узнав, в чем заключается счастье, конечно, всякий захочет его получить навсегда.

Регина фон Эшенгаген подскочила, будто ее ужалила змея; ей еще не приходило в голову, что за первой помолвкой, теперь уже уничтоженной, могла последовать вторая; об этом ужаснейшем из всех ужасов она вовсе не подумала.

– Получить? – повторила она. – Что ты хочешь получить? Не должно ли это значить, например, что ты собираешься жениться на этой Мариетте, на этой...

– Мама, прошу тебя о моей будущей жене говорить другим тоном! – остановил ее Вилли так спокойно и решительно, что рассерженная женщина в самом деле замолчала. – Тони вернула мне свободу, значит, моя любовь к Мариетте больше не преступление; а репутация Мариетты безупречна, в этом я убедился. Тот, кто станет оскорблять ее, будет иметь дело со мной, будь это даже моя родная мать!

– Гляди-ка, гляди, как расхрабрился! – пробормотал лесничий, в котором чувство справедливости уже одержало верх над гневом.

Но грозная мамаша была далека от того, чтобы внимать чувству справедливости. Она воображала, что уничтожит сына одним своим появлением, а он осмеливался проявлять такое неслыханное упорство! Именно его мужественное поведение особенно выводило ее из себя; оно служило доказательством глубины и силы чувства, заставившего его так перемениться.

– Я избавлю тебя от необходимости воевать с родной матерью, – сказала она с безграничной горечью. – Ты – совершеннолетний, владелец майората, я не могу препятствовать тебе; но если ты в самом деле введешь в Бургсдорф эту Мариетту Фолькмар, то я уйду.

Виллибальд вздрогнул и сделал шаг назад.

– Мама, ты говоришь это под влиянием гнева! – горячо воскликнул он.

– Я говорю совершенно серьезно. Как только комедиантка в качестве хозяйки переступит порог дома, где я тридцать лет прожила в страхе Божьем и где надеялась и уснуть вечным сном, и я покину его навсегда. Выбирай между ней и матерью!

– Регина, не доводи дела до крайности! – попытался успокоить ее Шонау. – Ставить такое жестокое условие – значит, подвергать бедного Вилли пытке.

Регина не слушала его доводов; она, бледная, с побелевшими губами, не сводя взгляда с сына, все время повторяла:

– Решай же: она или я!

Виллибальд тоже побледнел; его губы горько задрожали, когда он сказал тихо и печально:

– Это жестоко, мама! Ты знаешь, как я люблю тебя и какое горе ты причинишь мне, если уйдешь. Но если ты в самом деле так жестока и требуешь, чтобы я выбрал, то... я выбираю невесту.

– Bravo! – воскликнул лесничий, совершенно забыв, что

и он был в числе оскорбленных. – Я могу сейчас сказать то же, что недавно сказала Тони, – ты только теперь начинаешь мне нравиться, Вилли. Право, мне жаль, что ты не будешь моим зятем.

Регина не ожидала такого исхода; она твердо рассчитывала на свое прежнее влияние, но теперь ей стало ясно, что от него не осталось и следа. Однако она была не такой женщиной, чтобы уступать; она твердила бы свое, даже если бы это стоило ей жизни.

– Хорошо, между нами все кончено! – коротко сказала она и направилась к двери, не обращая внимания на уговоры зятя, который шел за ней следом. Но не успели они дойти до двери, как торопливо вошел слуга с докладом:

– Пришел управляющий из Родека и просит...

– Мне некогда! – с досадой крикнул Шонау. – Скажите Штадингеру, что я не могу принять его сейчас, что я занят важным семейным делом...

Он не договорил, потому что сам Штадингер появился на пороге и ответил сдавленным голосом:

– Я тоже пришел по семейному делу и очень печальному, господин лесничий. К сожалению, я не могу ждать и должен говорить сейчас же.

– Что такое? – спросил озадаченный Шонау. – Случилось несчастье? Насколько я знаю, принца нет в Родеке?

– Нет, его светлость в столице, но господин Роянов здесь и он-то и прислал меня. Он просит вас и господина фон Эшен-

гагена сейчас же пожаловать в Родек, и вы, сударыня, – Штадингер бросил взгляд на Регину фон Эшенгаген, – хорошо сделаете, если тоже пожалуете.

– Но зачем? Что случилось? – Лесничий не на шутку заволновался.

– Его превосходительство господин фон Вальмоден у нас в замке... и баронесса тоже.

– Мой брат? – воскликнула Регина, предчувствуя что-то.

– Да. Господина барона выбросило из экипажа, и он без сознания; доктор думает, что его жизнь в опасности.

– Господи! Мориц, мы должны сейчас же ехать!

Шонау уже схватился за колокольчик.

– Запрягать! Скорее! – крикнул он вошедшему слуге. – Как это случилось, Штадингер? Да говорите же!

– Господин барон с супругой ехали из Оствальдена в Фюрстенштейн, – стал рассказывать Штадингер. – Дорога идет через владения Родека, недалеко от замка. Наш лесничий, находившийся с егерями в лесу, подстрелил оленя, который перебежал дорогу как раз в то время, когда проезжал экипаж; лошади испугались и понесли, кучер не мог их сдержать. Два егеря бросились вдогонку и слышали, как госпожа баронесса просила мужа: «Сиди, Герберт! Ради Бога, не выскакивай!». Но господин барон, видно, растерялся, распахнул дверцу и выскочил, однако упал и со всего размаха ударился о дерево. За поворотом дороги кучер наконец справился с испуганными лошадьми; госпожа баронесса поспешила к месту

несчастья и нашла бедного барона тяжело раненным и без сознания. Егери отнесли его в Родек, потому что это было поблизости. Господин Роянов позаботился обо всем, что было нужно в первую минуту, а потом послал меня, чтобы известить вас.

Само собой разумеется, что под впечатлением этого потрясающего известия происходившая перед этим семейная сцена сразу прекратилась. Стали впопыхах готовиться к отъезду, позвали Тони, чтобы сказать и ей, и как только экипаж был подан, лесничий с невесткой поспешили вниз. Виллибальд, следовавший за ними со Штадингером, задержал его на лестнице и спросил вполголоса:

– Что говорит доктор? Вы знаете что-нибудь об этом?

Старик печально кивнул и ответил, также понижая голос:

– Я был в комнате, когда господин Роянов говорил с доктором; надежды никакой, бедный барон не доживет до вечера.

Маленький Родек, обычно безлюдный в декабре, редко видел на своем веку такое оживление как сегодня. Около полудня егери принесли раненого посланника. Они поняли, что везти его в Фюрстенштейн невозможно, и отправились в Родек, до которого было не больше четверти часа ходьбы. Роянов сделал необходимые распоряжения; прибывшим были предоставлены комнаты, которые обычно занимал принц, раненому оказали первую помощь и послали верхового за ближайшим врачом.

Когда доктор не оставил никакой надежды, в Фюрстенштейн был отправлен Штадингер, чтобы известить родственников; вскоре они приехали, но барон уже умирал. Он по-прежнему оставался в бессознательном состоянии и лежал без движения, а с исходом дня скончался.

К вечеру лесничий и Виллибальд вернулись в Фюрстенштейн. Еще до отъезда в Родек Шонау послал в город телеграмму, извещавшую посольство о несчастье, постигшем его главу, а теперь должен был послать извещение о смерти.

Регина осталась в Родеке со вдовой брата. Ждали утра, чтобы перевезти умершего в город, а до тех пор обе женщины находились возле него. Адельгейда, неумоимо исполнявшая свой долг у постели умирающего мужа, теперь, казалось, совершенно лишилась сил; неожиданное страшное со-

бытие надломило ее.

Гартмут стоял у окна своей комнаты на верхнем этаже и смотрел на пустынный, окутанный ночной мглой лес, призрачно белевший при свете звезд. Вчера выпал первый снег, и все кругом застыло под холодным белым одеянием; большая лужайка перед замком была занесена снегом, деревья покрылись тяжелым белым ковром, и под его тяжестью широкие ветви елей низко склонились над землей. Только на темном ночном небе спокойно и величаво горели множество звезд, а далеко на севере над горизонтом разливался легкий розовый свет, подобный первому проблеску утренней зари, хотя была еще темная морозная ночь.

Глаза Гартмута не отрывались от этого загадочного сияния. На душе у него было беспокойно, но в ее глубине слабо вспыхивала заря пробуждающегося утра. После той роковой беседы в лесу он не встречал Адельгейды и только сегодня увидел ее возле мужа, которого принесли в замок в крови, без сомнения, умирающим. Обстоятельства не допускали никаких воспоминаний и требовали немедленной помощи; он оказывал ее по мере сил, не переступая порога комнаты умирающего, и получал известия о нем только через врача. Он не показывался и Регине фон Эшенгаген и только позже поговорил с лесничим и Виллибальдом. Теперь все было кончено: Герберта фон Вальмодена не стало, его вдова была свободна.

При этой мысли из груди Гартмута вырвался глубокий

вздых, но это был вздох радости; его чувство стало другим, совсем другим с того момента, когда он рискнул на большую игру с женщиной, которую любил, и проиграл. Тогда он понял, что их разделяет глубокая пропасть, но она не уменьшилась и теперь, когда брачные узы Адельгейды были разорваны; она боялась человека, который ни во что не верит, для которого нет ничего святого, ведь он был таким же, как и тогда.

В душе Гартмут попросил у нее прощение за то, что ввел в свою «Аривану» образ, носивший ее имя; и эта Ада снова поднялась на высоту, с которой спустилась с предостережением на устах, а люди остались на земле со своей горячей ненавистью и любовью. Гартмут Роянов не мог унять пылкую кровь, кипевшую в его жилах, не мог, да и не хотел покориться жизни, в которой долг был превыше всего; для чего же иначе природа одарила его гениальными способностями, которые всюду победоносно прокладывали ему дорогу, если не для того, чтобы возвысить его над долгом и будничной прозой жизни? А он знал, что голубые глаза Адельгейды будут неутомимо толкать его на эту ненавистную ему дорогу. Никогда! Ни за что!

Розовое сияние над лесом стало темнее и поднялось выше; его можно было принять теперь за отблеск громадного пожара. Но этот спокойный, равномерный свет не мог происходить от огня; он стоял неподвижно на севере, таинственный, высокий и далекий. Это было северное сияние в его

пробуждающейся красоте.

Стук экипажа, приближавшегося к замку, вывел Гартмута из задумчивости. Было уже больше девяти часов, кто мог приехать так поздно? Может быть, другой врач, к которому тоже посылали, но которого не застали дома, или это был кто-то из Оствальдена, куда, вероятно, уже дошло известие? Экипаж направился к главному подъезду замка. Роянов пошел узнать, в чем дело.

Он уже дошел до лестницы, которая вела в переднюю, и поставил ногу на первую ступеньку, но вздрогнул и остановился, как окаменелый. Внизу раздавался голос, которого он не слышал десять долгих лет, но узнал его в первое же мгновение.

– Я приехал из посольства. Мы получили телеграмму, и я первым же поездом поспешил сюда. В каком он состоянии? Я могу его видеть?

Штадингер, встретивший приезжего, ответил так тихо, что его слов нельзя было расслышать, но, вероятно, приезжий все понял, потому что поспешно спросил:

– Неужели я опоздал?

– Да, господин фон Вальмоден скончался перед вечером. Последовала короткая пауза, потом незнакомец проговорил глухо, но твердо:

– Так проводите меня к его вдове! Доложите о полковнике Фалькенриде.

Штадингер пошел вперед; за ним следовала высокая фи-

гура в военной форме. Оба давно уже скрылись в комнатах нижнего этажа, а Гартмут все еще стоял, ухватившись за перила лестницы, и пристально смотрел вниз; только когда Штадингер вернулся, он опомнился и пошел назад в свою комнату.

С четверть часа он беспокойно ходил взад и вперед, борясь с самим собой. Он никогда не умел умирять свою гордость, не научился подчиняться, а перед глубоко оскорбленным отцом он должен был низко склонить голову, он это знал. В его душе опять проснулась жгучая тоска по отцу, и она наконец одержала победу.

«Нет, я не хочу больше бежать, как трус! Сейчас мы оказались с ним под одной крышей, в одних стенах, и я попытаюсь! Все-таки он мой отец, а я его сын».

Часы на башне Родека глухо и медленно пробили десять. В лесу было очень тихо и так же тихо было в доме, где лежал покойник. Управляющий и слуги легли спать; ушла отдохнуть и Регина фон Эшенгаген, уставшая от утомительного пути из Бургсдорфа и событий этого тяжелого дня. Только несколько окон в замке были слабо освещены, Адельгейда фон Вальмоден и полковник Фалькенрид еще не ложились.

Полковник решил, что завтра он проводит молодую женщину в город. Поговорив с ней и Региной, он долго стоял у труппа друга юности, который еще вчера так уверенно крикнул ему: «До свиданья!» и был так полон планов относительно своего имения И надежд на будущее. Теперь всему при-

шел конец. Холодный, неподвижный лежал он на столе, и такой же отрешенный стоял (теперь Фалькенрид у окна своей комнаты. Даже такое страшное событие не могло поколебать его ледяное спокойствие, потому что он давно разучился смотреть на смерть как на несчастье, — тяжела жизнь, а не смерть.

Он молча смотрел в окно на зимнюю ночь и тоже видел странное, призрачное сияние, озарявшее мрак леса. Теперь далекий горизонт пылал темно-красным светом, и вся северная часть неба казалась раскаленной невидимым пламенем; звезды мерцали словно сквозь пурпурную завесу. Вдруг по небу брызнули отдельные лучи; их становилось все больше и они поднимались все выше, к самому зениту, а под этим пылающим небом лежала Колодная, покрытая снегом земля. Северное сияние было в полном разгаре.

Фалькенрид так сосредоточился, любясь сиянием, что не слышал, как дверь передней открылась и снова закрылась, потом тихо скрипнула притворенная дверь его собственной комнаты. Но вошедший не сделал ничего, чтобы обратить на себя его внимание, и застыл на пороге.

Полковник стоял у окна вполоборота, но колеблющийся свет горевшей на столе свечи позволял видеть его лицо, изборожденный горем лоб и совершенно седые волосы. У Гартмута сжалось сердце: такой страшной перемены он не ожидал. Кто был виноват этой преждевременной его старости?

Несколько минут прошло в глубоком молчании; потом в

комнате раздался тихий и умоляющий, но полный с трудом сдерживаемой нежности голос.

– Отец!

Фалькенрид вздрогнул, как будто к нему обратился призыв; он медленно повернулся; на его лице было такое выражение, будто с ним на самом деле говорило привидение.

Гартмут быстро сделал несколько шагов к нему и остановился.

– Отец, это я! Я пришел...

Он замолчал, потому что встретился с глазами отца, которых он так боялся, и то, что увидел в них, лишило его мужества продолжать; он опустил голову и замолчал.

В лице полковника не было ни кровинки. Он не подозревал, что сын находится под одной с ним крышей, встреча задала его совершенно неподготовленным. Но у него не вырвалось восклицания, не видно было признаков гнева или растерянности; он стоял неподвижно и молча смотрел на того, кто был когда-то для него всем. Наконец он медленно поднял руку и указал на дверь.

– Уходи!

– Отец, выслушай меня!

– Уходи, говорю тебе!

– Нет, я не уйду! – страстно воскликнул Гартмут. – Я знаю, что наше примирение зависит от настоящей минуты. Я оскорбил тебя, и лишь теперь чувствую, насколько больно и глубоко; но ведь я был тогда семнадцатилетним мальчиком

и пошел за своей матерью. Подумай об этом, отец, и прости меня, прости своего сына!

– Ты – сын женщины, имя которой носишь, а не мой! – резко ответил полковник. – Фалькенрид не может считать сыном бесчестного человека.

Гартмут едва не вспылал, услышав страшные слова; кровь ударила ему в голову, но его взгляд упал на седые волосы отца, на его лоб, и он сдержался.

Оба думали, что они одни в тиши ночи, и не подозревали, что их разговор состоялся при свидетеле. Адельгейда не ложилась спать; она знала, что все равно не уснет после волнений дня, так быстро сделавшего ее вдовой; все еще в темном дорожном платье, в котором была, во время несчастной поездки, она сидела в своей комнате, как вдруг услышала голос полковника. С кем он мог говорить в такой поздний час? Он никого не знал здесь, и его голос звучал как-то особенно глухо и угрожающе! Молодая женщина с беспокойством встала и вышла в переднюю, чтобы послушать, не случилось ли там чего-нибудь. Вдруг она услышала другой голос, знакомый ей, произнесший слово «отец», и, как молния, перед ней блеснула истина. Она остановилась, как пригвожденная к полу.

– Ты хочешь сделать эту минуту еще тяжелее для меня, – сказал Гартмут, едва владея собой. – Пусть так, я и не ожидал иного. Вальмоден, конечно, сказал тебе все; воображаю, в каком виде он все представил! Но в таком случае он не мог

умолчать и о том, чего я достиг. Я принес тебе лавры поэта, отец, первые лавры, заслуженные мной. Познакомься с моим произведением, пусть оно поговорит с твоим сердцем, и ты почувствуешь, что его творец не мог жить и дышать, оставаясь военным, ведь эта профессия убивает поэтический талант. Тогда ты забудешь мою несчастную мальчишескую выходку.

Это был опять Гартмут Роянов, говоривший пылко и самоуверенно, с апломбом, это был творец «Ариваны», для которого не существовало понятие долга или какие-либо ограничения. Но здесь он натолкнулся на скалу, о которую разбивались все его доводы.

– Мальчишескую выходку? – жестко повторил Фалькенрид. – Да, так называли твой поступок, чтобы дать мне возможность остаться на службе; я же называю его иначе, так же, как все мои сослуживцы. Ты был накануне получения чина поручика, через несколько недель твое бегство было бы и перед законом постыдным дезертирством, и я лично никогда не расценивал его иначе. Ты был воспитан в строгих понятиях о чести и знал, что делал; ты был уже не мальчик. Кто скрывается от военной службы, являющейся его долгом перед отечеством, тот – дезертир; кто нарушает свое слово, тот – бесчестный человек; ты сделал и то, и другое. Впрочем, ты и тебе подобные без труда проделываете такие вещи.

Услышав эти беспощадные слова, Гартмут стиснул зубы и задрожал всем телом.

– Замолчи, отец, этого я не вынесу! – глухо заговорил он. – Я хотел смириться, сломить свою гордость, но ты сам отталкиваешь меня. Это та же жестокая суровость, которой ты когда-то оттолкнул мою мать; я знаю это от нее самой. В том, как сложилась ее жизнь, а вследствие этого и моя, во всем виновата лишь твоя суровость.

Полковник скрестил руки на груди, и его губы презрительно дрогнули.

– Знаешь от нее самой? Верю! Любая падшая женщина постарается скрыть от сына такую правду. Тогда я не хотел осквернять твой слух этой правдой, потому что ты был чист и невинен; теперь же ты, конечно, поймешь, если я скажу, что нашей разлуки требовала моя честь. Человек, опозоривший мое имя, пал от моей руки, а женщину, обманувшую меня, я оттолкнул.

Гартмут побледнел. Этого он не знал, даже не подозревал; он в самом деле думал, что причиной развода была только суровость, составлявшая врожденную черту характера его отца. И теперь в его глазах резко снизился авторитет матери, которую он так страстно любил.

– Я хотел оградить тебя от ядовитой атмосферы, окружавшей от ее влияния, – продолжал Фалькенрид. – Глупец! Даже без ее вмешательства ты был бы потерян для меня; ты унаследовал черты матери, в твоих жилах течет ее кровь, и рано или поздно на предъявила бы свои права; ты все-таки стал бы тем, кем тал – безродным проходимцем, не знающим

ни отечества, ни чести.

– Это уже слишком! – дико вскрикнул Гартмут. – Называть меня такими словами я не позволю никому, даже тебе! Теперь вижу, что между нами примирение невозможно; я уйду, но свет будет судить иначе, чем ты! Он уже признал мое первое произведение, и я сумею добиться уважения, в котором мне отказывает родной отец!

Полковник смотрел на сына страшным взглядом и произнес медленно, леденящим голосом, отчеканивая каждое слово:

– Так позаботься о том, чтобы свет не узнал, что признанный поэт всего два года назад в Париже был шпионом.

Гартмут вздрогнул, точно пораженный выстрелом.

– Я? В Париже? Ты с ума сошел!

– Опять ломаешь комедию? Не трудись; я знаю все; Вальмоден предоставил мне доказательства того, какую роль играли в Париже Салика Роянова и ее сын. Я знаю источник средств для роскошной жизни, которую вы продолжали вести, хотя лишились имения. У вас было много клиентов, потому что они отличались замечательной ловкостью, и всякий, кто мог купить их услуги, получал их.

Гартмут стоял бледный, как привидение. Так вот на что намекал тогда Вальмоден! Тогда он не понял намека и искал объяснения совершенно в другом направлении. Так вот что скрывала от него мать, вот почему поцелуями и ласками она всегда заменяла ответы на его вопросы, усыпляя подозрения.

Она дошла в своем падении до этого последнего позора, а ее сына обвиняли вместе с ней!

Наступившее молчание было ужасно, оно продолжалось несколько минут, когда же Гартмут заговорил, его голос был совершенно беззвучен, а слова отрывисто срывались с его губ.

– И ты думаешь... что я... что я знал об этом?

– Да! – холодно и твердо ответил полковник.

– Отец, ты не можешь, не должен подозревать меня в этом! Наказание было бы слишком ужасно! Ты должен мне верить, если я скажу тебе, что у меня не было даже тени сомнения, что часть нашего имущества уцелела, что... Поверь мне, отец!

– Нет! – холодно сказал Фалькенрид.

Гартмут вне себя бросился на колени.

– Отец, заклинаю тебя всем, что есть святого на небе и на земле! О, не смотри на меня такими страшными глазами! Ты сведешь меня с ума этим взглядом! Отец, даю тебе честное слово...

Его прервал страшный хохот отца.

– Честное слово? Как тогда в Бургсдорфе? Вставай! Брось ломать комедию! Меня ты ею не проведешь. Ты ушел от меня, нарушив слово, и возвращаешься с ложью; ты – настоящий сын своей матери! Иди своей дорогой, а я пойду своей. Я требую от тебя только одного: не смей носить фамилию Фалькенрида рядом с опозоренной фамилией Роянова; пусть

свет не знает кто ты! Если же это случится, да падет Божий гнев на твою голову, потому что тогда я покончу с собой.

С криком ужаса Гартмут вскочил на ноги и бросился к отцу. Но тот остановил его повелительным движением руки.

– Может быть, ты думаешь, что я люблю жизнь? Я жил потому, что должен был жить, считал это своей обязанностью. Но есть граница, за которой человек избавляется от этой обязанности; ты знаешь ее и поступай сообразно с этим!

Он отвернулся от сына и снова отошел к окну. Гартмут, не сказав больше ни слова, вышел.

В передней огонь не горел, но она была освещена отблеском пылающего неба, и в этом свете стояла бледная как смерть женщина, глядя на вошедшего с выражением, не поддающимся описанию. Ему достаточно было взглянуть на нее, чтобы понять, что она слышала все. Это было ужаснее всего! Он подвергся такому смертельному унижению в присутствии женщины, которую любил, его втоптали в грязь у нее на глазах.

Гартмут сам не знал, как вышел из замка; он чувствовал только, что задыхается в этих стенах, что его как будто гонят отсюда фурии. Он опомнился под елью, нагибавшей над ним свои отяжелевшие от снега ветви. В лесу была морозная ночь, но по небу разливался таинственный свет и рассыпались дрожащие пурпурные лучи, сходящиеся в зените и образующие подобие короны – пылающее огненное знамение.

Опять наступило лето; начался июль, и в эти жаркие, солнечные дни лесные горы неотразимо влекли к себе своей прохладной тенью, своими зелеными душистыми долинами.

Оствальден, имение Герберта фон Вальмодена, все время оставалось без хозяев, но несколько дней тому назад сюда приехала молодая вдова в сопровождении своей золовки Регины фон Эшенгаген. После смерти мужа она покинула южную Германию и вернулась на родину. Ее замужество продолжалось всего восемь месяцев, и хотя она была только двадцатилетней женщиной, но уже носила вдовий траур.

Регина очень охотно согласилась ехать с Адельгейдой. Она, же тогда неограниченная повелительница Бургсдорфа, осталась при своем непреклонном «или я, или она», а так как Виллибальд выказал не меньшее упорство, то она исполнила свою угрозу и переселилась в город в первые же дни траура по брату.

Но она ошибалась, думая, что это крайнее средство подействует. Она надеялась, что сын не позволит ей уехать, но ее расчеты оказались напрасными, хотя она и заставила его почувствовать всю горечь разлуки. Виллибальд получил полную возможность доказать, что его вдруг пробудившаяся самостоятельность и любовь к Мариетте не были минутной вспышкой. Конечно, он сделал все, что мог, для того, чтобы

уговорить мать, но когда это не удалось, то он также выказал не меньшее упорство чем она, и мать, и сын не виделись уже несколько месяцев.

О его помолвке с Мариеттой до сих пор не объявляли. Виллибальд считал, что деликатность по отношению к бывшей невесте и ее отцу обязывает его не объявлять о второй помолвке сразу же после расторжения первой. Кроме того, контракт связывали Мариетту с придворным театром еще на целых шесть месяцев, и так как ее обручение оставалось пока тайной, то нарушить этот контракт раньше истечения срока было невозможно. Только теперь девушка вернулась в дом деда, где ждали и Виллибальда. Разумеется, мать последнего не знала об этом, иначе она едва ли приняла бы приглашение Адельгейды и никогда не поселилась бы по соседству с Вальдгофеном.

Погода стояла солнечная и жаркая, но дорога в Оствальден шла в основном через спасительную прохладу леса Родекка. По ней ехали два всадника – один, в серой куртке и охотничьей шляпе (это был лесничий Шонау), другой, стройный молодой человек в чрезвычайно элегантном летнем костюме – принц Адельсберг. Они случайно встретились и из разговора узнали, что едут в одно и то же место.

– Вот уж и во сне-то мне не снилось, что встречу вас здесь, ваша светлость! – сказал лесничий. – Говорили, что этим летом вы вовсе не приедете в Родек, а Штадингер, которого я видел дня три тому назад, и не подозревал тогда о вашем

приезде.

– Штадингер разохался и разворчался, когда я нагрянул так неожиданно, – ответил принц. – Еще немного, и он вытолкал бы меня за дверь собственного дома только потому, что я прибыл вслед за своей телеграммой, и он не успел привести все в порядок. Но жара в Остенде была просто невыносима; я не мог дольше находиться на раскаленном морском берегу, и меня неудержимо потянуло в мой прохладный тихий Родек. Слава Богу, я вырвался наконец из духоты и сутолоки курортной жизни!..

Его светлость не считал нужным говорить правду; он только потому так поспешно покинул берег Северного моря, что хотел воспользоваться известным «соседством», случайно узнав об этом от Штадингера, который, прося разрешения, сделать в Родеке кое-какие перемены, упомянул между прочим, что эти нововведения уже сделаны в Оствальдене, где в настоящее время находится сама хозяйка. К его удивлению, через три дня явился сам принц, которого полученное известие заставило послать к черту все его планы путешествий в течение лета. Конечно, лесничий не поверил объяснению и заметил несколько насмешливо:

– В таком случае удивительно, как это наш двор так долго выдерживает в Остенде. Ведь там, как я слышал, и герцог с герцогиней, и принцесса Софья с племянницей, родственницей ее покойного мужа.

– Да, с племянницей! – Эгон быстро обернулся и посмот-

рел на говорящего. – Вы тоже хотите поздравить меня? Я вижу это по вашему лицу! Но если вы сделаете это, я сию минуту тут же, среди леса, вызову вас на дуэль.

– Я вовсе не хочу, чтобы вы меня вызывали, ваша светлость! Но газеты совершенно открыто говорят о помолвке, которой особенно желает принцесса.

– Мало ли чего желает моя почтенная тетушка! Я обычно придерживаюсь другого мнения; к сожалению, так случилось и на этот раз. Я приехал в Остенд по приглашению герцога, которое не мог отклонить; но тамошний воздух мне очень вреден, и я не могу так легкомысленно рисковать своим здоровьем! Я уже чувствовал приближение солнечного удара, и он, наверно, настиг бы меня, если бы я не решился, пока не поздно...

– Вырваться! – dokonчил лесничий. – Это на вас похоже, ваша светлость. Но ведь таким образом вы рискуете впасть в тройную немилость.

– Это очень вероятно, но я постараюсь как-нибудь перенести ее в уединении и самоизгнании. Этим летом я намерен посвятить себя своим имениям, особенно Родеку; его необходимо перестроить. Штадингер писал мне об этом, но я счел нужным приехать лично.

– Ради переделки печных труб? – с удивлением спросил Шонау. – Штадингер говорил, что зимой в замке дымили камины, и он хочет сделать новые трубы.

– Много знает Штадингер! – воскликнул принц, рассер-

женный тем, что Штадингер со своей правдивостью опять стал ему поперек дороги. – У меня большие планы... А, вот мы и приехали.

Принц пустил лошадь крупной рысью, и лесничий последовал его примеру, потому что в самом деле Оствальден был перед ними. Старинный, увитый плющом замок с двумя башнями по бокам и тенистым, несколько запущенным парком вокруг имел чрезвычайно живописный вид. По слухам, теперешняя владелица не собиралась ни переделывать его, ни продавать; ей, наследнице Штальберга, ничего не стоило иметь одним поместьем больше или меньше.

Гости узнали от прислуги, что сама хозяйка в парке, а Регина фон Эшенгаген в своей комнате. Принц велел доложить о себе хозяйке дома, а лесничий решил сначала посетить невестку, которой не видел с прошлой зимы, и направился прямо в ее апартаменты.

– Вот и я! – сказал он. – Мне, конечно, нет надобности докладывать о себе моей любезной невестушке, хотя я и мой дом у нее теперь, кажется, в немилости. Почему ты не приехала к нам третьего дня с Адельгейдой? Предлогу, который она передала мне от твоего имени, я не верю и вот целых два часа трясся верхом и жарился на солнце, чтобы потребовать от тебя объяснения.

Регина протянула ему руку. Внешне она не изменилась за последние шесть-семь месяцев, но миловидность, делавшая ее прежде привлекательной, несмотря на грубость, исчезла.

Она ни за что не призналась бы в этом, но было видно, что она сильно страдала от того, что ее единственный сын, до сих пор превыше всего ставивший волю и любовь матери, теперь стал ей совершенно чужим.

– Я ничего не имею против тебя, Мориц, – возразила она. – Я знаю, что ты относишься ко мне по-прежнему дружески, но ты сам должен понимать, что мне тяжело бывать в Фюрстенштейне.

– Уж не из-за той ли неудавшейся помолвки? Можешь успокоиться; ты сама видела, как спокойно восприняла Тони эту историю. Ей больше нравилась роль ангела-хранителя, чем роль невесты; она даже пробовала несколько раз вместе со мной письменно уговаривать тебя. К сожалению, мы не имели ни малейшего успеха.

– Да, но я очень ценю ваше великодушие.

– Великодушие? – смеясь повторил Шонау. – Положим, действительно не часто случается, чтобы бывшая невеста и тесть старались замолвить доброе слово за сбежавшего жениха и зятя и добыть ему и его возлюбленной материнское благословение, но уж такие у нас возвышенные души! Сверх того, мы оба убедились, что Вилли, собственно говоря, только теперь стал разумным человеком, а это могла сделать только Мариетта.

Регина при этих словах нахмурилась, но не нашла нужным ответить и просто спросила:

– Тони вернулась? Адельгейда говорила, что она в городе,

но что ее ждут со дня на день.

– Да, она вернулась вчера, только с нагрузкой. Она привезла с собой некоего субъекта и заявила, будто он должен быть ее супругом, а тот в свою очередь утверждает то же и не менее решительно. Мне ничего больше не оставалось, как согласиться и сказать «Аминь».

– Как! Тони опять обручена?

– Да, и на этот раз она действовала самостоятельно, я ни о чем и не подозревал. Ты ведь помнишь, она вбила себе тогда в голову, что и ее должны полюбить безгранично, что и она должна насладиться прелестями романтики. Как видно, обо всем этом позаботился поручик Вальдорф; она с величайшим удовольствием рассказывала мне, как он стал перед ней на колени и объявил, что не может без нее жить, как она ответила ему подобным же трогательным уверением и так далее. Да, Регина, в наше время детей уже нельзя водить на помочах, когда они достигнут брачного возраста; они воображают, что брак – их дело, и, собственно говоря, в этом есть рациональное зерно.

Последняя фраза была произнесена весьма язвительно, но Регина пропустила ее мимо ушей и задумчиво повторила:

– Вальдорф? Никогда не приходилось слышать эту фамилию. Где Тони познакомилась с этим офицером?

– Это товарищ моего сына; однажды он приезжал к нам в гости вместе с ним; таким образом завязалось знакомство и с его матерью, и та пригласила к себе Тони на несколько

недель. Там они и влюбились друг в друга, и объяснились. Я ничего не имею против этого брака. Вальдорф – красивый, веселый малый и по уши влюблен; правда, немножко фатоват и легкомыслен, но это пройдет, когда у него будет умная жена. Осенью он выйдет в отставку, потому что моя дочь не годится в жены поручику; я куплю молодым людям имение, а на Рождество отпразднуем свадьбу.

– Очень рада за Тони, – тепло сказала Регина. – Это известие сняло большую тяжесть с моей души.

– Ну и прекрасно! – Лесничий кивнул головой. – Но тебе не мешало бы последовать моему примеру и снять тяжесть с души другой известной тебе пары. Будь благоразумна, Регина, уступи! Малютка Мариетта осталась честной девушкой, хотя и побывала на сцене; все в один голос прекрасно отзываются о ее репутации. Тебе нечего стыдиться такой невестки.

Регина вдруг гневно встала.

– Раз и навсегда прошу тебя, Мориц, избавь меня от таких разговоров! Я сдержу свое слово. Виллибальд знает условие, от которого зависит мое возвращение в Бургсдорф; если он не подчинится ему, мы будем жить врозь.

– Ну, он не так глуп, – сухо заметил Шонау. – Отказаться от невесты лишь потому, что она не нравится мамаше, – такому условию ни один человек в мире не подчинится.

– Ты выражаешься весьма любезно! Впрочем, что знаете вы, мужчины, о материнской любви и о благодарности, кото-

рой дети должны платить за нее? Вы все, без исключения, – неблагодарные, неделикатные эгоисты.

– Ого! Я не потерплю подобных нападков на мужчин! – крикнул лесничий не менее горячо, но вдруг опомнился и заговорил примирительным тоном: – Регина, мы не виделись семь месяцев, не будем ссориться в первый же день, это мы успеем сделать и позже. Оставим пока в покое твоего непокорного владельца майората и поговорим о себе. Тебе понравилось в городе? Ты кажешься не особенно довольной.

– Я в высшей степени довольна, – решительно заявила Регина. – Если мне чего и недостает, так только работы; я не привыкла бить баклуши.

– Так найди себе дело! Только от тебя зависит опять стать во главе большого хозяйства.

– Ты опять начинаешь?

– На этот раз я говорю не о Бургсдорфе, – сказал Шонау, играя хлыстом. – Я хочу только сказать... Ты сидишь совсем одна в городе, а когда Тони выйдет замуж, я буду сидеть в Фюрстенштейне совсем один... это очень скучно. Что, если бы... Ну, я уже раз предлагал тебе... но тогда ты не захотела; может быть, ты теперь решишься... Что, если бы мы, в придачу к этим двум свадьбам, составили третью пару?

– Нет, Мориц, теперь я менее чем когда-либо расположена выходить замуж.

– Опять отказ? – закричал лесничий, выведенный из себя. – Это уже второй раз! Тогда ты не захотела потому, что

не могла расстаться с сыном и со своим возлюбленным Бургсдорфом, а теперь, убедившись, что оба прекрасно обходятся без тебя, ты опять не хочешь, потому что «не расположена». Расположения тут совсем не нужно, необходимо лишь немножко рассудка. Но ты – само недоразумение и упрямство.

– Ты весьма оригинальным образом делаешь предложение, – перебила его Регина с крайним негодованием. – Нечего сказать, мирно жили бы мы, будучи мужем и женой, если ты, еще не женившись, уже так ведешь себя!

– Конечно, не мирно, но зато и не скучно, – заявил Шонау. – Я думаю, мы ужились бы. Еще раз, Регина, хочешь ты или не хочешь выйти за меня замуж?

– Нет, у меня нет ни малейшей охоты «уживаться» с тобой.

– Пусть будет так! Если тебе доставляет удовольствие вечно отказывать – отказывай, сделай одолжение! Но Вилли все-таки женится, и он совершенно прав, теперь я непременно буду посаженным отцом на его свадьбе, назло тебе!

С этими словами Шонау, как ошпаренный, выскочил из комнаты, и Регина осталась одна в прескверном настроении. Они поссорились при первом же свидании; по-другому они просто не могли...

Тем временем принц встретился с Адельгейдой в парке. Он настойчиво просил ее не уходить, и они стали прогуливаться под тенью могучих деревьев.

Адельгейда, разумеется, еще носила вдовий траур, но ее спутнику казалось, что он никогда не видел ее такой прекрасной как сегодня в этой черной одежде и креповой вуали, из-под которой выбились светлые волосы. Его глаза то и дело останавливались на этой красивой белокурой головке, и он без конца задавал себе вопрос, отчего Адельгейда так переменялась.

До сих пор Эгон знал эту женщину лишь холодной, полной гордого спокойствия, делавшей ее недоступной в обществе и при встрече с ним; теперь холодность исчезла, это он видел и чувствовал, но не мог разгадать странную черточку, появившуюся на ее лице. Не могла же молодая вдова так сильно горевать по мужу, который и по возрасту, и по своей прозаической, холодной, расчетливой натуре не мог дать ей любви, свойственной молодости. И все-таки на лице Адельгейды было выражение затаенного страдания, молчаливого, но тяжкого горя. Откуда это загадочное выражение, этот влажный блеск в голубых глазах, которые, казалось, только теперь узнали, что такое слезы?

«Мне все кажется, что в ней когда-нибудь вспыхнут жизнь и страсть, и суровую полярную зиму сменит цветущее лето», – шутя сказал когда-то принц; теперь его предсказание сбывалось, правда, медленно, едва заметно, но это мягкое, грустное выражение, вытеснившие прежнюю строгую серьезность, этот мечтательный взгляд придавали молодой женщине прелесть, которой ей недоставало до сих пор,

несмотря на всю ее красоту. Вначале они обменялись обычными вопросами. Эгон рассказал некоторых событиях при дворе и в столице, случившихся в течение зимы, и объяснил свой внезапный приезд в Родек тем, о убежал от невыносимой жары в Остенде и от тоски по прохладному, тихому лесу. Однако легкая улыбка, промелькнувшая на губах его спутницы, показала ему, во-первых, что она слишком мало верит этому предлогу, а во-вторых, что до нее дошло газетное сообщение о предполагающейся помолвке. Это чрезвычайно рассердило принца, и он стал размышлять, как бы ему выяснить это недоразумение здесь, где он не мог быть вполне откровенным. Вдруг Адельгейда спросила:

– На этот раз вы будете одни в Родеке, ваша светлость? Прощлым летом у вас был гость.

По лицу принца пробежала тень; при этом напоминании он забыл и о слухах о своей помолвке, и о досаде.

– Вы говорите о Гартмуте Роянове? Едва ли он придет. В настоящее время он на Сицилии, то есть, по крайней мере, был там два месяца назад; с тех пор я не получал от него известий и не знаю даже, куда ему писать.

Адельгейда нагнулась, чтобы сорвать несколько цветков на обочине дороги, и тихо заметила:

– А я думала, что вы переписываетесь.

– И я надеялся на частую переписку, когда мы расставались, и не моя вина, что вышло иначе. В последнее время Гартмут стал для меня загадкой. Вы же видели, какой бле-

стящий успех имела у нас «Аривана»; с тех пор ее ставили на многих сценах, и она всюду завоевывала симпатии публики; а в это время ее автор буквально бежит от все возрастающей славы, прячется от людей, даже от меня. Ну кто может понять это?

Адельгейда выпрямилась, но рука, в которой она держала сорванные цветы, слегка дрожала, а ее глаза напряженно смотрели на принца.

– Когда господин Роянов уехал из Германии? – спросила она.

– В начале декабря. Незадолго перед этим, почти сразу после первого представления своей драмы, он уехал на несколько дней в Родек; я считал это капризом и уступил. Вдруг он неожиданно явился ко мне в город в таком виде, в таком настроении, что я просто испугался; он объявил, что уезжает, не стал слушать мои просьбы, не отвечал на вопросы, а только без конца твердил, что обязательно должен ехать, и, действительно, улетел, как ураган. Прошло несколько недель, пока я получил от него весточку. С тех пор он время от времени писал, хотя и довольно редко, но, по крайней мере, я знал, где он, и мог ему отвечать. Несколько месяцев он оставался в Греции, переезжая с места на место, потом отправился на Сицилию, но тут связь прекратилась. Я страшно беспокоюсь о нем.

Эгон говорил с явным волнением, доказывавшим, как тяжело он переносил разлуку с любимым другом. Он не подо-

зревал, что его спутница могла бы объяснить ему загадку. Она знала, что гонит Гартмута из одного места в другое, что заставило его с ужасом отшатнуться от прославленного имени поэта, на котором оказалось скрытое от света, но страшное клеймо позора. С той роковой ночи в Родеке, открывшей ей все, это было первое известие о Гартмуте.

– Поэты созданы иначе, чем обыкновенные люди, – сказала она, медленно ощипывая цветок. – Они пользуются привилегией быть иногда непонятными.

– Нет, это не то. Я давно подозреваю, что в жизни Гартмута есть что-то темное, загадочное, но никогда не расспрашивал его, потому что он не выносит даже намека об этом. Над ним как будто тяготеет рок, который нигде не дает ему покоя и душевного мира и внезапно снова настигает его именно тогда, когда он считает себя уже освобожденным от него. Гартмут опять произвел на меня такое впечатление, когда в таком расстроенном виде прощался со мной. Удержать его не было возможности. Вы не можете себе представить, как мне его не хватает! Я избаловался, более двух лет пользуясь обществом этой пылкой натуры, так щедро расточавшей свой талант, теперь все мне кажется безжизненным, бесцветным, и я часто не знаю, как без него жить дальше.

Дойдя до конца парка, они остановились; перед ними растлались зеленые луга, а дальше поднимались покрытые лесом горы. Адельгейда слушала молча, мечтательно глядя вдаль; вдруг она обернулась и протянула Эгону руку.

– Мне кажется, вы можете быть другом, способным на самопожертвование, ваша светлость. Господину Роянову не следовало покидать вас; может быть, вы и спасли бы его от этого рока.

Эгон не верил своим глазам и ушам: этот теплый и задушевный тон, этот взгляд, в котором сверкали слезы, это почти страстное сочувствие его горю поразили его и привели в восторг. Он порывисто схватил протянутую руку и горячо прижал ее к губам.

– Если что-нибудь может утешить меня в отсутствие Гартмута, то лишь ваше участие! – воскликнул он. – Вы позволите мне пользоваться правами соседа и иногда заезжать в Оствальден? Не отказывайте мне! Я так одинок в Родеке и приехал сюда единственно для того...

Принц вдруг остановился, почувствовав, что признание теперь еще неуместно; он ясно видел, что оно оскорбляет Адельгейду; она быстро отняла свою руку и отступила. Одного мгновения было достаточно, чтобы превратить ее в прежнее холодное «северное сияние».

– Для того, чтобы избежать жары и шумной курортной жизни в Остенде, – хладнокровно закончила она. – По крайней мере, вы так сказали, ваша светлость.

– Это был только предлог. Я уехал из Остенда для того, чтобы прекратить слухи, которые связывались с моим пребыванием там и успели даже проникнуть в газеты. Они лишены всякого основания; даю вам слово!

Принц воспользовался этим удобным случаем, чтобы успокоить Адельгейду; но впечатление, которое он произвел, не соответствовало его ожиданиям. Молодая женщина опять замкнулась; он поплатился за свою торопливость.

– К чему такое торжественное заявление, ваша светлость? Ведь это были только слухи, и я понимаю, что вы хотите еще сохранить свою свободу. Однако пора возвращаться в замок. Вы сказали, что вместе с вами приехал Шонау; надо с ним поздороваться.

Эгон молча кивнул в знак согласия и на обратном пути добросовестно старался говорить по возможности равнодушным, невинным тоном; ведь он должен быть здесь не более как «соседом по имению». Во дворе замка он воспользовался первым попавшимся предлогом, чтобы проститься; его не удерживали, но все же пригласили бывать в Оствальдене, а пока это было для него главное.

– Проклятая торопливость! – бормотал он уезжая. – Теперь от меня будут держаться как можно дальше, пожалуй, несколько недель. Стоит сделать шаг к этой женщине, чтобы она моментально превратилась в лед. Но, – лицо молодого принца просияло, – лед начинает, наконец, таять! Я видел это по ее взгляду и тону. Надо запастись терпением; награда стоит того, чтобы подождать.

Эгон не подозревал, что взгляд и тон, на которых основывались его надежды, относились к другому, что даже позволение бывать в Оствальдене было дано ему единственно с

целью узнавать от него о другом.

В середине июля на Рейне вдруг разгорелась война с Францией, и это жуткое известие потрясло всю Германию от моря до Альп.

Призыв на войну пролетел и по южной Германии, подобно урагану вырывая мужчин из семей, нарушая весь уклад жизни, разрушая все планы и расчеты. Все, что неделю тому назад шло мирным и размеренным шагом, обычной колеей, было подхвачено и унесено этим ураганом.

Тони Шонау, праздновавшей свою помолвку в Фюрстенштейне, пришлось проститься с женихом, который должен был отправиться в свой полк. В Вальдгофене вдруг появился Виллибальд, чтобы провести с Мариеттой несколько дней, остававшиеся до его отъезда в полк; в Оствальдене Адельгейда готовилась к отъезду, чтобы еще раз обнять брата, который уже был мобилизован. Получив известие об объявлении войны, принц Адельсберг оставил Родек и поспешил в столицу, куда приехал одновременно с герцогом.

В маленьком садике доктора Фолькмара стоял Виллибальд, настойчиво убеждая в чем-то дедушку своей невесты, который сидел перед ним на скамье и, по-видимому, не соглашался с тем, что ему говорили.

– Так торопиться, милый Вилли, не годится, – качал он головой. – Ваша помолвка еще не объявлена, а вы хотите уже

сломя голову бежать под венец. Что скажут люди?

– На идут это весьма понятным в связи с теперешними обстоятельствами, – возразил Виллибальд, – а о внешних приличиях мы можем не заботиться. Я иду на войну, и мой долг на всякий случай обеспечить будущее Мариетты; я не могу допустить мысли, что после моей смерти ей придется опять поступить на сцену или зависеть от милости моей матери. Капитал, который я должен унаследовать, пока в руках моей матери, она одна и пользуется им. Мне принадлежит только майорат, который в случае, если я буду убит, перейдет к моим наследникам, но по нашим семейным традициям вдова бывшего владельца майората обеспечивается большим доходом. В случае, если мне не суждено будет вернуться с войны, я хочу дать своей невесте, по крайней мере, имя и положение в обществе, на которые она имеет право. Я не смогу спокойно отправиться в поход, не устроив этого дела.

Он говорил спокойно, но твердо. В этом молодом человеке, так ясно излагавшем обстоятельства дела и так настойчиво выражавшем свое желание, невозможно было узнать застенчивого, беспомощного Виллибальда.

Доктор не мог ничего возразить против его доводов; он лучше всех знал, что, если война отнимет у нее жениха, Мариетта опять останется беззащитной и без всяких средств. И у него становилось легче на душе при мысли, что она будет обеспечена. Поэтому он перестал противоречить и только спросил:

– А что говорит Мариетта? Она согласна?

– Согласна; мы решили это еще вчера, как только я приехал, разумеется, ей я не говорил о вдовьей части и тому подобных вещах, потому что она расстроилась бы, что я так спокойно рассуждаю о возможности своей смерти. Я объяснил ей, что, если я буду ранен, в качестве моей жены она может без всяких церемоний провожатых приехать ко мне, и даже оставаться около меня, и она решилась. Ведь и без того наша свадьба была бы очень скромной.

Виллибальд помрачнел. Вздохнув, доктор произнес:

– Конечно, у кого же будет охота устраивать празднество, когда жениху и невесте приходится идти к алтарю без благословения матери. Вы действительно испробовали все средства, Вилли?

– Все. Неужели вы думаете, что мне будет легко в такой день обойтись без матери? Но она не оставила мне выбора, и потому я должен перенести это. Итак, я сейчас же приступлю к делу; я привез все свои бумаги.

– Вы думаете, что можно будет обвенчаться за несколько дней? – с сомнением спросил доктор.

– В настоящее время можно, потому что перед войной формальности ограничиваются самым необходимым, чтобы дать возможность желающим обвенчаться без проволочек. Как только Мариетта станет моей женой, мы поедем в Берлин, и она будет оставаться там, пока мой полк не выступит, а потом вернется к вам до окончания похода.

– Вы правы, это лучшее, что можно сделать при данных обстоятельствах. Ну, моя маленькая певчая птичка, так ты в самом деле согласна венчаться так второпях, как желает твой жених?

Этот вопрос относился к Мариетте, которая вышла в эту минуту в сад. На ее бледном лице были видны следы пролитых слез, но тем не менее оно светилось от счастья, когда она бросилась в объятия Виллибальда.

– Я готова хоть сию минуту, дедушка! Нам легче будет проститься, когда мы будем принадлежать друг другу, ты согласен, не правда ли?

Старик полупечально, полурадостно посмотрел на молодых людей и с волнением сказал:

– Так венчайтесь с Богом! Я от всего сердца даю вам свое благословение.

Договориться относительно всех приготовлений особого труда не составляло. Было решено, что свадьба состоится как можно скорее и без всякой торжественности. Виллибальд хотел сегодня же ехать в Фюрстенштейн сообщить о принятом решении лесничему, который с прежним дружелюбием известил его о вторичной помолвке своей дочери. Потом доктор ушел к какому-то больному, и Виллибальд остался наедине с невестой. Они долго не виделись, а будущее было неясным и грозным, но ближайшие часы и дни еще принадлежали им, и эта мысль делала их счастливыми, несмотря ни на что.

Углубившись в тихий разговор, они не заметили, как от-

крылась входная дверь дома и кто-то медленными, нерешительными шагами прошел через коридор; только шуршание платья по песку дорожки заставило их поднять головы. Вдруг они вскочили, как по команде.

– Моя мать! – вскрикнул Виллибальд в радостном испуге, но в то же время обнял за плечи Мариетту, как бы желая защитить ее от новой обиды.

Действительно, лицо Регины, остановившейся в нескольких шагах от них, было сурово и угрюмо, и ничто в ней не указывало на желание помириться. Совершенно игнорируя девушку, она обратилась к сыну самым суровым тоном:

– Я узнала от Адельгейды, что ты здесь, и пришла спросить тебя, что делается в Бургсдорфе. Позаботился ли ты об управляющем на время твоего отсутствия? Кто знает, на сколько времени затянется поход...

Выражение радости на лице Виллибальда исчезло.

– Я сделал все, что было возможно. Но большая часть моих рабочих призвана в армию, а управляющий тоже на днях уезжает; о том же, чтобы найти кого-нибудь на его место, в настоящее время и думать нечего; поэтому работы придется ограничить самыми необходимыми, а надзор за ними я поручил старику Мартенсу.

– Мартенс – глупый баран, – с прежней грубостью сказала Регина. – Если вожжи попадут ему в руки, то в Бургсдорфе все пойдет шиворот-навыворот. Остается только мне самой отправиться туда и присматривать за порядком.

– Ты хочешь?.. – воскликнул Виллибальд, но мать без церемонии отрезала ему:

– Ты думаешь, я могу допустить, чтобы твое добро пошло прахом, пока ты будешь на войне? В моих руках имение не пропадет, ты это знаешь; я достаточно долго управляла им, буду, управлять и теперь, пока ты не вернешься.

Она продолжала говорить холодным, повелительным тоном. Виллибальд, все еще обнимая рукой невесту, подошел к ней.

– Ты заботишься о моем добре, мама! – сказал он с упреком. – Ты думаешь только о нем, а для девушки, которая мне дороже и милее всего, что у меня есть, у тебя нет ни теплого слова, ни даже взгляда. Неужели ты пришла в самом деле лишь для того, чтобы сказать мне, что поедешь в Бургедорф?

Губы Регины задрожали; она немного смягчилась.

– Я пришла, чтобы еще раз взглянуть на своего сына, прежде чем он уйдет на войну, может быть, на смерть, – сказала она с горечью и болью в голосе. – Я случайно узнала, что ты приехал проститься с невестой, но к матери не пришел, и этого... этого я не могла перенести.

– Мы пришли бы к тебе! – воскликнул Виллибальд. – Перед отъездом мы собирались сделать последнюю попытку тронуть твое сердце. Посмотри, мама, вот моя невеста, моя Мариетта; она ждет от тебя ласкового слова.

Регина пристально посмотрела на молодых людей, и ее лицо опять передернулось от внутренней боли, когда она уви-

дела, как Мариетта робко и в то же время уверенно прижималась к груди человека, под защитой которого чувствовала себя теперь в полной безопасности; материнская ревность выдержала последнюю тяжелую борьбу и наконец признала себя побежденной. Регина протянула девушке руку.

– Я обидела тебя, Мариетта. Конечно, я была тогда неправа, но за это ты отняла у меня моего мальчика, который не знал и не любил никого, кроме меня, а теперь не знает и не любит никого, кроме своей невесты. Мне кажется, мы квиты.

– О, Вилли любит свою мать не меньше чем прежде! – горячо запротестовала Мариетта. – Я лучше всех знаю, как он страдал от разлуки.

– Да? Ну так постараемся ради него быть терпимы друг другу. – Регина сделала не совсем удачную попытку пошутить. – Мы обе будем сильно переживать за него, когда он уйдет на войну; у нас будет вдоволь горя и заботы, не правда ли, дитя? Мне кажется, нам легче будет переносить страх, если мы будем бояться вместе. – Она протянула руки, и в следующую секунду Мариетта, всхлипывая, прижалась к ней. В глазах Регины засверкали слезы, когда она нагнулась, чтобы поцеловать свою будущую дочь, но затем она сказала своим прежним повелительным тоном: – Ну, ну, не плачь! Выше голову, Мариетта!.. Помни, что невеста солдата должна быть мужественной.

– Жена солдата, – поправил Виллибальд, стоявший рядом с сияющими глазами. – Мы решили обвенчаться до моего

выступления в поход.

– В таком случае место Мариетты по всем правам в Бургсдорфе, – ответила Регина, почти не выказывая удивления и, по-видимому, находя такое решение вполне в порядке вещей. – Не возражай, дитя! Молодой фон Эшенгаген нечего делать в Вальдгофене за исключением тех случаев, когда она гостит у дедушки. Или, может, быть, ты боишься сердитой свекрови? Я полагаю, в нем, – она указала на сына, – ты имеешь достаточно надежную защиту, даже когда его нет дома. Он способен объявить войну родной матери, если она не будет носить на руках его жену.

– И она будет носить ее на руках, я знаю! – вставил Вилли. – Уж если моя мать раскроет кому-нибудь свое сердце, то раскроет полностью.

– Да, теперь ты льстишь. – Регина бросила на него укоризненный взгляд. – Итак, Мариетта, ты поедешь со мной на свою новую родину. О хозяйстве тебе нечего беспокоиться, это мое дело. Такая молоденькая девочка не может заниматься сельским хозяйством, да я и не допущу, чтобы кто-нибудь вмешивался в него, пока я в Бургсдорфе. Если я опять уеду, другое дело; но уж я предвижу, что Вилли всю жизнь будет носиться с тобой как с принцессой. Пусть так, лишь бы он вернулся живым и здоровым.

Она протянула руку Вилли, и, может быть, никогда еще мать и сын не обнимались так горячо и сердечно, как сегодня.

Когда четверть часа спустя все трое вошли в дом, они застали там лесничего, который буквально попятился при виде своей невестки. Регина вдоволь насладились его удивлением.

– Ну, Мориц, по-твоему, я все еще олицетворение тупости и упрямства? – спросила она, протягивая ему руку.

Но Шонау, еще не успевший переварить отказ, полученный неделю тому назад, отдернул руку и проворчал что-то, из чего можно было приблизительно заключить, что долго пришлось им всем ждать, пока у нее разум взял верх над упрямством. Затем он обратился к молодым людям:

– Так вы решили бегом обвенчаться? Мне сказал об этом доктор Фолькмар, которого я сейчас встретил, и вот я пришел предложить свои услуги в качестве посаженного отца. Впрочем, теперь это лишнее, потому что мамаша здесь.

– Да, но мы не меньше рады и тебе, дядя! – воскликнул Виллибальд.

– Ну, конечно, между прочим, меня можно пригласить на свадьбу, – проворчал лесничий, бросая язвительный взгляд на Регину. – Значит, свадьба перед самым барабанным боем? Надо признаться, Вилли, ты в сапогах-скороходах шагаешь из своего прозаического Бургсдорфа в царство романтики. Именно от тебя я менее всего ожидал этого. Впрочем, и моя Тони теперь совсем помешалась на романтике; они с Вальдорфом тоже были бы весьма не прочь обвенчаться до начала похода, да я не позволил, потому что у нас обстоятельства вовсе не те, что у вас, и я не желаю сразу же остаться одино-

ким, как сын.

Он опять сердито взглянул на Регину, но она подошла к нему ласково сказала:

– Не сердись, Мориц, мы с тобой всегда ладили, забудем о ссоре и на этот раз. Видишь, я могу иногда сказать и «да», по крайней мере, когда вижу, что от этого зависит счастье моего пальчика.

Лесничий еще несколько мгновений колебался, но потом от души пожал протянутую ему руку.

– Вижу! – согласился он. – А, может быть, со временем ты отучишься от проклятой манеры отказывать и в некоторых других случаях, Регина?

В кабинете принца Адельсберга стоял управляющий Родек, званный в столицу для получения еще кое-каких приказаний от его молодого хозяина перед его отъездом. Эгон, уже в мундире его полка, отдал старику, несколько распоряжений и отпустил его.

– Держи мое старое лесное гнездо в таком же порядке, как до их пор! – закончил он. – Может быть, я еще приеду в Родек несколько часов, хотя, впрочем, едва ли, так как приказ выступать может быть дан не сегодня-завтра. Нравлюсь я тебе в мундире?

Он встал и выпрямился во весь рост. На стройной юношеской фигуре прекрасно сидел мундир поручика, и Штадингер окинул ее восхищенным взглядом.

– Просто прелесть! – сказал он. – Право, жаль, что ваша светлость не выбрали себе профессией военной службы.

– Ты думаешь? Как бы то ни было, теперь я солдат и телом, и душой. Правда, служба в военное время будет нелегкой, и мне придется еще привыкать к ней, но не лишне поучиться строгому выполнению долга.

– Да, ваша светлость, вам это совсем не мешает, – заметил чересчур откровенный Штадингер. – А то ваша светлость целыми годами разъезжаете по Востоку в компании с водяной змеей да целым стадом слонов и перечите всему вы-

сочайшему двору, как это было в Остенде, потому что ни за что не желаете жениться, а из всего этого не выходит ничего, кроме...

– Неприятностей, – докончил принц ему в тон. – Одного мне будет сильно недоставать на войне, Штадингер, а именно твоей безграничной грубости. Я вижу по твоему лицу, что ты намерен прочесть мне последнее наставление, но избавь меня от него и лучше поклонись от меня Ценце, когда вернешься домой. Ведь теперь она в Родеке?

– Да, ваша светлость, теперь она в Родеке. – Старик подчеркнул слово «теперь».

– Ну, конечно, потому что я отправляюсь во Францию. Впрочем, ты будешь доволен мной; я вернусь настоящим воплощением благоразумия и добродетели и женюсь.

– В самом деле? – радостно воскликнул изумленный Штадингер. – Вот-то будет праздник для высочайшего двора!

– Ну, это еще вопрос! – засмеялся Эгон. – Пожалуй, своей помолвкой я приведу высочайший двор в ужас, а светлейшую тетушку Софию сведут судороги. Не смотри на меня с таким глупым видом, Штадингер, все равно ничего не поймешь, но я разрешаю тебе ломать голову над этой загадкой в продолжение всей войны. Однако ступай и, если нам не суждено будет больше увидеться, не поминай лихом.

Штадингер сморщил лицо, стараясь придать ему сердитый вид, чтобы скрыть подступающие слезы, но это ему не удалось.

– Как может ваша светлость так говорить? – заворчал он. – Неужели я, старик, останусь один на свете и не увижу вас больше, такого молодого, такого красивого, такого веселого? Я не переживу этого.

– А я немало-таки досаждал тебе, мой старый леший, – сказал принц, протягивая ему руку. – Но ты прав, надо думать о победе, а не о смерти; если же и то, и другое случится одновременно, то и умирать будет Не тяжело.

Старик наклонился над рукой своего хозяина, и на нее упала слеза.

– Как бы я хотел пойти с вами! – тихо произнес он.

– Верю, – смеясь сказал Эгон. – И, несмотря на свои седые волосы, ты был бы неплохим солдатом; но теперь наша очередь идти, а вы, старики, должны оставаться дома. Прощай, Штадингер! – Он дружески потряс его руку. – Что это? Кажется, ты плачешь? Стыдись! Прочь слезы и плохие предчувствия! Ты еще не раз будешь читать мне нравоучения.

– Дай-то, Бог! – Петр Штадингер вздохнул и еще раз влажными глазами взглянул на молодое, жизнерадостное лицо которое улыбалось ему так весело, с такой уверенностью в победе и вышел, печально опустив голову; он только теперь почувствовал, до какой степени любил своего молодого принца.

Эгон взглянул на часы; он должен был явиться к начальству, но, увидев, что до назначенного срока остается еще час, взял газету и углубился в чтение.

Вдруг в соседней комнате послышались быстрые шаги. Принц удивленно поднял голову; прислуга так не ходила, а о посетителе ему доложили бы. Впрочем, этот посетитель не нуждался в докладе; вся прислуга знала это, в доме принца Адельсберга перед ним раскрывались настежь все двери.

– Гартмут, ты? – обрадованный и изумленный Эгон бросился на грудь вошедшему. – Ты опять в Германии, а я и не подозревал об этом! Злой человек, ты целых два месяца не давал о себе знать! Ты приехал, чтобы проститься со мной?

Гартмут не ответил ни на приветствие, ни на объятие принца; он мрачно молчал, а когда наконец заговорил, его голос не выражал ни малейшей радости от свидания.

– Я прямо с вокзала. Я почти не надеялся застать тебя, а это для меня очень важно.

– Почему ты не предупредил меня о приезде? Я ведь писал тебе сразу же после объявления войны. Ты ведь был тогда еще на Сицилии?

– Нет, я уехал, как только понял, что война неизбежна, и не получил твоего письма. Я уже целую неделю в Германии.

– И только теперь являешься ко мне? – с упреком спросил принц.

Роянов не обратил внимания на упрек; его глаза были устремлены на мундир друга, и в этом взгляде можно было прочесть жгучую зависть.

– Я вижу, ты уже на службе, – торопливо сказал он. – Я тоже хочу поступить в немецкую армию.

Эгон в безграничном удивлении сделал шаг назад.

– В немецкую армию? Ты? Румын?

– Да, и потому-то я и пришел к тебе; ты должен помочь мне в этом.

– Я? Но ведь теперь я не кто иной, как простой офицер. Если у тебя такое серьезное намерение, тебе следует обратиться в одну из назначенных для этого комиссий.

– Я уже обращался в нескольких местах, но нигде не хотят принимать иностранца, требуют всевозможных бумаг и удостоверений, которых у меня нет, мучают меня бесконечными расспросами. Везде меня встречают с недоверием и подозрительностью, никто не понимает моего желания.

– Признаться откровенно, Гартмут, и я его не понимаю. Ты всегда питал глубокое отвращение к Германии, ты, сын страны, где высшие слои общества знакомы только с французским образованием и обычаями и по своим наклонностям симпатизируют исключительно Франции; при таких условиях недоверие к иностранцу совершенно понятно. Но почему ты не обратишься лично к герцогу, если хочешь непременно настоять на своем? Ты знаешь, что он любит автора «Ариваны»; тебе стоит только попросить его, и его приказ устранил все затруднения и заставит сделать для тебя исключение.

– Я знаю это, – ответил Гартмут, – но туда я тоже не могу обратиться, герцог задаст мне тот же вопрос и ему нельзя не ответить, а правду... я не могу сказать.

– И мне не можешь? – Принц положил ему руку на плечо. – Почему ты так стремишься поступить в нашу армию? Чего ты ищешь под немецкими знаменами?

Гартмут ответил глухо и с усилием:

– Искупления или смерти.

– Ты вернулся тем же, кем уехал, – загадкой! – Эгон покачал головой. – Тогда ты отказался от всяких объяснений; неужели я и теперь не узнаю твоей тайны?

– Помоги мне поступить на службу, и я расскажу тебе все! – воскликнул Роянов с лихорадочным волнением. – Все равно на каких условиях! Но не говори ни с герцогом, ни с кем из генералов, обратись к кому-нибудь из низших чинов. Твое имя и родство с влиятельным герцогом придадут сил твоему заступничеству; принцу Адельсбергу не откажут, если он будет лично просить за добровольца.

– Но мне зададут тот же вопрос, что и тебе. Ты – румын.

– Нет, нет! Уж если необходимо признаться тебе, то я немец!

Одно мгновение принц смотрел на друга с сильным изумлением, а потом сказал:

– Иногда я подозревал это; тот, кто мог написать «Аривану» на немецком языке, должен был родиться немцем, а не только воспитываться в Германии. Но фамилия Роянов...

– Это фамилия моей матери, которая была румынкой. Я – Гартмут фон Фалькенрид.

Собственное имя для самого Гартмута прозвучало как

чужое, ведь столько лет он не произносил его. Но и Эгон вздрогнул.

– Фалькенрид? Так звали прусского полковника, приехавшего с секретным поручением из Берлина. Ты ему родственник?

– Это мой отец.

Молодой принц с состраданием взглянул на друга, так как видел, что здесь кроется какая-то семейная драма, и был слишком деликатен, чтобы продолжать расспросы; поэтому он ограничился вопросом:

– И ты не хочешь взять фамилию своего отца? Ведь тогда тебя приняли бы в любой прусский полк.

– Нет, тогда доступ в армию будет закрыт для меня навеки, ведь десять лет тому назад я убежал из кадетского корпуса.

– Гартмут!

В этом восклицании выразался ужас.

– Ты, как и мой отец, считаешь это преступлением, достойным смертной казни? Правда, ты вырос на свободе и не имеешь понятия о бесчеловечном притеснении, царящем в этих заведениях, о тирании, с которой воспитанников заставляют там сгибать шею под ярмом слепого повиновения. Я не мог вынести этого, меня неудержимо тянуло на свободу, к свету; я просил, умолял отца – все было напрасно; он продолжал держать меня на цепи. Тогда я разорвал ее и ушел с матерью.

Гартмут говорил отрывисто, с полным отчаяния упорством, но его глаза со страхом следили за выражением лица слушателя. Отец со своими консервативными понятиями о чести осудил его, но друг, который обожал его, ценил его талант и восхищался всем, что бы он ни сделал, конечно, должен был понять необходимость такого шага. Однако этот друг молчал, и в его молчании содержался приговор.

– Значит, и ты, Эгон? – в голосе Гартмута, несколько минут напрасно ждавшего ответа, слышалась глубокая горечь. – И ты, Эгон, так часто говоривший, что ничто не должно мешать полету гения, что поэт обязан разорвать все цепи, удерживающие его на земле? Я сделал это, и то же самое сделал бы и ты!

– Нет, Гартмут, ты ошибаешься. Может быть, я убежал бы из училища, но уклониться от военной службы – никогда!

Вот они опять, эти суровые слова, которые Гартмут слышал еще мальчиком: уклониться от военной службы! От них и теперь вся кровь бросилась ему в голову.

– Почему ты не дождался, пока тебя произведут в офицеры? – продолжал Эгон. – В Пруссии этот чин получают очень рано. Через несколько лет ты мог бы выйти в отставку и был бы еще в таком возрасте, когда только начинают жить; ты был бы свободен, не теряя чести.

Гартмут молчал. То же говорил ему когда-то и отец, но он не хотел ждать и покоряться; ярмо ограничений стесняло его, и он просто сбросил его с себя, не заботясь о том, что

вместе с ним отвергает долг и теряет честь.

– Ты не знаешь, как все это разом нахлынуло на меня тогда, – ответил он сдавленным голосом. – Моя мать... я не хочу обвинять ее, но она была для меня злым роком. Отец разошелся с ней, когда я был еще ребенком; я считал ее умершей, и вдруг она явилась и увлекла меня за собой своей горячей материнской любовью, обещанием свободы и счастья. Она одна виновата в том, что я нарушил это несчастное слово.

– Какое слово? Разве ты уже принял присягу?

– Нет; я обещал отцу вернуться, когда он отпускал меня в последний раз на свидание с матерью...

– А вместо этого убежал с ней?

– Да.

Ответ едва можно было расслышать; наступила долгая пауза. Принц не говорил ни слова, но на его открытом, всегда светлом лице было глубокое, горькое страдание, – в эту минуту он терял горячо любимого друга.

Наконец Гартмут заговорил, не подымая глаз:

– Теперь ты понимаешь, почему я хочу во что бы то ни стало поступить в армию. Теперь, когда начинается война, мужчина может искупить проступок, совершенный им в юношестве. Поэтому при первых же тревожных слухах я оставил Сицилию и полетел в Германию; я надеялся сразу поступить на службу, не подозревая, что наткнусь на все эти затруднения и препятствия; но ты можешь устранить их, если замолвишь за меня слово.

– Нет, не могу, – холодно сказал Эгон. – После всего, что я сейчас узнал, это невозможно.

– Не можешь! Скажи прямо – ты не хочешь?

Принц молчал.

– Эгон! – в голосе Гартмута слышалась отчаянная мольба. – Ты знаешь, я никогда еще ни о чем не просил тебя, это первый и последний раз, но теперь я заклинаю тебя помочь мне во имя нашей бывшей дружбы. Это средство освободиться от злого рока, преследующего меня с той страшной минуты, средство примириться с отцом, с самим собой... Ты должен мне помочь!

– Не могу, – повторил принц. – Я понимаю, как тебе тяжело, но считаю отказ справедливым; ты порвал со своим отечеством и долгом. Ты, сын офицера, сбежал от военной службы, теперь она закрыта для тебя. Ты должен покориться.

– И ты говоришь это так холодно, так спокойно? – вне себя крикнул Гартмут. – Разве ты не видишь, что для меня это вопрос жизни или смерти? Я виделся с отцом в Родеке, когда он приехал к умирающему Вальмодену; он раздавил меня своим презрением, страшными словами, брошенными мне в лицо. Это и погнало меня из Германии и заставило, не зная отдыха, переезжать с места на место. Его слова сделали мою жизнь адом. Я приветствовал объявление войны, как весть об освобождении, я хотел сражаться за отечество, от которого некогда сам отказался, и вдруг передо мной захлопывается дверь, за которой для меня все! Эгон, ты отворачи-

ваешься от меня? Ну так мне остается только одна дорога! – и резким, полным отчаянья движением Роянов повернулся к столу, на котором лежали пистолеты принца.

Но тот бросился к нему и отдернул его назад.

– Гартмут, ты с ума сошел!

– Может быть, еще сойду. Пытка, которой вы все подвергаете меня, способна довести до безумия!

Это был крик безграничного отчаяния. Эгон тоже был бледен и дрожащим голосом ответил:

– Чем прибегать к этому... лучше я попытаюсь добиться, чтобы тебя зачислили в какой-нибудь полк.

– Наконец-то! Благодарю тебя!

– Обещать я ничего не могу, потому что к герцогу я не буду обращаться, он не должен ничего знать. Завтра он уезжает на фронт, а если позже и узнает, что ты служишь в его армии, то война будет уже в полном разгаре, и ввиду совершившегося факта уже не станут настойчиво допытываться, как и почему ты оказался в армии. Но пройдет несколько дней, прежде чем дело будет решено. Ты останешься до тех пор моим гостем?

– Нет, я даже не останусь в городе. Я поеду к лесничему в Родек и прошу тебя дать мне знать туда. И я тут же приеду. Прощай, Эгон!

– Прощай!

Они расстались, не пожав друг другу руки, не сказав больше ни слова, и когда дверь за Гартмутом закрылась, он по-

нял, что потерял друга, который до этого обожал его. И здесь он был осужден, и здесь от него отвернулись! Тяжело пришлось искупать старый грех.

Над бором расстилалось мрачное небо, с которого время от времени лились на землю потоки дождя; вершины гор были кутаны серым туманом, ветер трепал деревья. Была середина лета, а день был по-осеннему холодный.

Адельгейда осталась в Оствальдене одна. Она получила от брата известие, что он уже выступил с полком и потому предполагаемое свидание с ней не может состояться; вследствие этого она отложила свой переезд в Берлин и присутствовала на свадьбе Виллибальда и Мариетты, которые обвенчались в присутствии ишь самых близких родственников. После венчания молодые ехали в Берлин, где Вилли должен был немедленно отправиться полк. Мариетта хотела провести с ним те немногие дни, которые оставались до его выступления, а потом ехать в Бургсдорф, где же находилась ее свекровь.

Было около полудня, когда принц Адельсберг подъезжал Оствальдену. Он взял на сегодня отпуск для устройства «некоторых неотложных дел», но эти дела привели его не в Родек, в Оствальден; он приехал проститься с Адельгейдой, которой не видел со времени своего первого визита.

Когда экипаж сворачивал к замку, принц увидел шедшего навстречу священника из соседнего местечка со святыми дарами сопровождении причетника. Очевидно, он приходил

с последним утешением к тяжелобольному; выходя из экипажа, принц прежде сего осведомился, кому наносился этот печальный визит. Ему ответили, что болен один из служащих в замке и хозяйка в настоящую минуту у больного, но ей сейчас доложат о приезде гостя. Эгон беспокойно ходил взад и вперед по гостиной, куда его провели. Он приехал объясниться с Адельгейдой, без чего, как ему казалось, он не мог уехать на войну, навстречу смерти, и эта война должна была служить ему оправданием в том, что он осмелился приблизиться с такими желаниями к женщине, еще не снявшей вдовьего траура. Эгон не хотел еще делать предложение; он желал увезти с собой лишь ту надежду, которая во время последнего свидания ярко вспыхнула в его душе и наполнила ее счастьем, когда Адельгейда выказала теплое участие к его тоске о далеком друге. Он не подозревал, что это была роковая ошибка.

Но, несмотря на это, лицо молодого принца было печальным. Его беспокоил не отъезд; он шел в бой с воодушевлением, с радостной уверенностью юности, которая не может себе представить ничего, кроме победы, и далеко гонит от себя всякие грустные предчувствия; кроме того, Эгон мечтал о будущем счастье, и сейчас хотел сделать все, чтобы быть уверенным в нем.

Вошла Адельгейда.

– Извините, пожалуйста, что заставила вас так долго ждать, ваша светлость, – сказала она поздоровавшись. – Ве-

роятно, вам сказали, что я была у постели умирающего?

– Я слышал об этом, – сказал Эгон, поспешивший ей на встречу. – Больному в самом деле так плохо?

– К сожалению. Бедный Танер! Раньше он был домашним учителем здесь, по соседству, в одном семействе, но вынужден был оставить место из-за тяжелой болезни. По рекомендации моего родственника-лесничего я поручила ему привести в порядок библиотеку моего покойного мужа, которая была перевезена в Оствальден, и все надеялись, что легкая работа и укрепляющий лесной воздух дадут ему возможность совершенно выздороветь. Танер был очень благодарен за это и еще вчера рассказывал, как рада его мать, что он, как не совсем поправившийся после болезни, освобожден от военной службы и не пойдет на войну. И вдруг сегодня утром у него хлынула горлом кровь, и доктор говорит, что бедняга проживет не более часа. Ужасно видеть, как погибает такая молодая жизнь, и чувствовать, что невозможно ее спасти.

– На днях будут погибать тысячи молодых жизней, – заметил Эгон. – Так вы сами были у постели умирающего?

– Он просил позвать меня. Он знает, что его ждет, и потому хотел видеть меня, чтобы попросить за старуху-мать, которая теряет в нем единственную поддержку. Я успокоила его, но это было все, что я могла для него сделать.

Свидание с умирающим сильно потрясло молодую женщину. Эгон тоже посочувствовал бедняге.

– Я приехал проститься, – сказал он после короткого мол-

чания. — Мы выступаем послезавтра, и я не мог отказать себе в удовольствии еще раз посетить вас. К счастью, я еще застал вас; мне сказали, что и вы уезжаете.

— Да, в Берлин. С Оствальденом слишком плохая связь, что крайне неудобно в такое время лихорадочного ожидания. Ведь и мне есть о ком беспокоиться, мой брат тоже в действующей армии.

Опять наступила короткая пауза. Принц хотел воспользоваться последней фразой Адельгейды, чтобы перейти к тому, что было у него на душе, как вдруг молодая женщина предупредила его, спросив внешне равнодушно, но слегка дрогнувшим голосом:

— В последний ваш приезд вы были очень озабочены отсутствием известий о вашем друге, ваша светлость. Подал ли он наконец признаки жизни?

Эгон опустил глаза и холодно ответил:

— Да. Роянов опять в Германии.

— С тех пор, как объявлена война?

— Да, он приехал...

— Чтобы принять участие в войне? О, я знала это!

— Вы знали это? Я думал, что вы знаете Гартмута только через меня и только как румына.

На щеках молодой женщины вспыхнул яркий румянец; она почувствовала, что ее восклицание выдало ее, но быстро овладела собой.

— Я познакомилась с господином Рояновым только по-

следней осенью, когда он гостил у вас, в Родеке, но его отца я знаю уже много лет, и он... Если я не ошибаюсь, вам известно все, что произошло, ваша светлость?

– Да, теперь я все знаю, – сказал Эгон.

– Ну, так полковник Фалькенрид был близким другом моего отца и часто бывал у нас. Правда, я никогда не слышала, чтобы у него был сын, и считала полковника бездетным; лишь в день смерти моего мужа я узнала всю правду, потому что была свидетельницей встречи Фалькенрида с сыном.

Молодой принц облегченно вздохнул, только что проснувшееся в нем мучительное подозрение рассеялось.

– В таком случае я понимаю ваше участие, – ответил он. – Полковник Фалькенрид, действительно, достоин сожаления.

– Только он? – спросила Адельгейда, удивленная Жестким тоном его слов. – А ваш друг?

– У меня нет больше друга, я потерял его! – воскликнул Эгон с горечью. – Уже одно то, в чем он признался мне два дня тому назад, разделило нас глубокой пропастью; но то, что я знаю теперь, разлучает нас навсегда.

– Вы очень строго судите проступок семнадцатилетнего мальчика! Ведь тогда он был почти ребенком.

– Я говорю не об этом бегстве и измене данному слову, хотя и они представляют уже довольно серьезный проступок для сына офицера; я говорю о том, что узнал вчера... Я вижу, вы еще не знаете самого худшего, да и как могли бы вы узнать это? Избавьте меня от такого сообщения!

Адельгейда побледнела, ее глаза неподвижно, с ужасом устремились на принца.

– Прошу вас, скажите мне всю правду, – произнесла она. – Вы сообщили, что господин Роянов вернулся, чтобы стать солдатом; я думала, что он сделает это, ждала этого, потому что только этим он может искупить свою вину. Он уже зачислен в войска?

– К счастью, дело еще не зашло так далеко, и судьба избавила меня от тяжелой ответственности. Он обращался в различные полки, но везде получил отказ.

– Отказ? Почему?

– Потому что он не мог назваться немцем, а к иностранцу, к румыну, все питают справедливое недоверие. В настоящее время надо быть очень осторожными, чтобы не допустить в ряды своей армии шпиона.

– Господи Боже, что вы хотите этим сказать? – Адельгейда только теперь начинала понимать, в чем дело.

– Гартмут явился ко мне и потребовал, чтобы я помог ему поступить в армию. Сначала я отказался, но он сумел вырвать у меня обещание угрозой, которую едва ли можно было воспринимать всерьез. Я сдержал слово и обратился к одному из полковых командиров, брат которого служит секретарем нашего посольства в Париже и только что вернулся оттуда. Этот господин был у своего брата-полковника, когда я посетил того. Услышав имя Роянова, он насторожился, стал расспрашивать, о ком идет речь, и потом сказал... Я не знаю,

как у меня хватит сил повторить то, что он сказал! Я любил Гартмута как никого на свете, и вдруг теперь узнал, что мой друг – негодяй, что он и его мать занимались в Париже шпионажем. Может быть, он намерен заниматься тем же и в рядах нашей армии!

Принц закрыл глаза рукой, с трудом скрывая свое горе от того, что его идеал был так безжалостно растоптан. Адельгейда тоже встала; ее рука, лежавшая на спинке кресла, дрожала.

– Что же ответили на это вы? Что ответил он?

– То есть Роянов? Я больше не видел его и не увижу; я избавлю и себя, и его от этого свидания. В настоящее время он в лесничестве Родека и ждет там моего ответа. Я в трех строках сообщил ему, что узнал, не прибавив ни слова. Он, наверно, уже получил записку и, конечно, понял ее.

– Всемогущий Боже! Ведь это заставит его искать смерти! – воскликнула Адельгейда. – Как вы могли сделать это? Как вы могли осудить несчастного, не выслушав его?

– Несчастного? – резко повторил принц. – Неужели вы действительно принимаете его за несчастного?

– Да, потому что слышу это ужасное обвинение уже не впервые; отец при встрече с ним в Родеке тоже обвинил его в шпионаже.

– Если даже родной отец обвиняет его...

– Не забудьте, его отец – глубоко оскорбленный и ожесточенный человек, а потому не может быть беспристрастным

судьей. Но вы, такой близкий друг Гартмута, должны были бы вступить за него и защитить!

Эгон полувопросительно, полуудивленно смотрел на взволнованную женщину.

– Кажется, вы сами хотите взяться за это? – медленно проговорил он. – Я не могу, потому что в жизни Гартмута много такого, что подтверждает это подозрение; оно объясняет мне все, что казалось до сих пор загадочным, и, кроме того, обвинение основано на совершенно определенных фактах.

– Да, обвинение против его матери! Она была злым роком для своего сына, но он не знал о постыдном промысле, до которого она унизилась. Я видела, как он был ошарашен, когда отец произнес страшное слово «шпион», с каким ужасом он отбивался от него; это было отчаяние человека, который наказан суровее, чем заслужил. То бегство, то нарушенное честное слово лишают его теперь доверия самых близких ему людей. Но если отец и друг осудили его, то я ему верю! Он не виноват!

Взволнованная молодая женщина выпрямилась во весь рост, ее щеки пылали, в голосе звучало страстное увлечение, которое свойственно лишь любви, когда речь идет о защите любимого человека. Эгон стоял неподвижно и смотрел на нее. Это было пробуждение, о котором он так часто мечтал. Теперь жизнь и страсть били в Адельгейде ключом, полярная зима сменилась роскошным южным летом, но не он, а другой вызвал это превращение.

– Я не берусь решать, правы ли вы, – тихо проговорил принц после небольшой паузы. – Я знаю только, что, виноват Гартмут или нет, в эту минуту ему можно позавидовать.

Адельгейда вздрогнула; она поняла намек и молча опустила голову перед полным упрека взглядом принца.

– Я приехал проститься, – снова заговорил Эгон. – Я хотел задать вам перед разлукой один вопрос, высказать одну просьбу. Теперь это лишнее, мне остается сказать вам только «Прощайте»!

Адельгейда взглянула на него полными слез глазами и протянула руку.

– Прощайте! Да хранит вас Бог в бою!

– Зачем мне жизнь... теперь? – невольно вырвалось у принца. – Мне скорее хотелось бы... Нет, не смотрите на меня так умоляюще! Я ведь знаю теперь, что это была роковая ошибка с моей стороны, и не стану мучить вас признанием. Но, Адельгейда, я с радостью согласился бы быть убитым, если бы мог купить этим взгляд и тон, которые вы нашли сейчас для другого... Прощайте! – и он, поцеловав руку молодой женщины, поспешно вышел.

После полудня буря усилилась. Ветер завывал в лесу, неистово дул на открытых возвышенностях и все быстрее гнал по небу облака. Бушевал он и на том лесистом холме, который прошлой «осенью был свидетелем важной по своим последствиям встречи Гартмута и Адельгейды, но Роянов, одиноко стоявший теперь на нем, прислонившись спиной к стволу дерева, казалось, не замечал этого.

Лицо Гартмута было мертвенно-бледным, и в его застывших чертах отразилось недоброе спокойствие; огонь в его темных глазах потух, мокрые волосы тяжело нависли на лоб. Ветер сорвал с его головы шляпу, однако он не заметил этого так же, как не замечал дождя, от которого насквозь промокла его одежда. После нескольких часов блуждания по лесу он очутился на этом месте, привлеченный сюда бессознательным воспоминанием; это было самое подходящее место для исполнения его намерения.

Известие, которого он ждал с лихорадочным нетерпением, наконец пришло, но это было не письмо, а всего несколько строк, без обращения и с подписью: «Князь Эгон Адельсберг». Однако в этих скудных строках заключался смертный приговор для человека, получившего их. Он был навсегда отвержен, его презирали, и друг осудил его, даже не выслушав, – рок страшно карал сына Салики.

Треск толстого сука, с шумом упавшего на землю совсем рядом, заставил Гартмута очнуться от мрачного забытья; однако он не вздрогнул и только медленно повернул голову в ту сторону. Если бы этот сук упал на один фут ближе, то задел бы молодого человека и, может быть, один миг положил бы конец его позору и муке. Но смерть не так-то легко дается тому, кто ее ищет; обычно судьба посылает ее тем, кто любит жизнь, если же человек желает покончить с жизнью, то должен пасть от собственной руки.

Гартмут снял ружье, упер его прикладом в землю и стал ощупывать рукой грудь, ища нужное место. Он еще раз взглянул на покрытое облаками небо, потом на маленькое темное лесное озерко с обманчивым лугом, над болотистой почвой которого клубился туман, как когда-то у него на родине. Там он видел манящие, зовущие за собой блуждающие огни; он последовал за этими посланцами бездны, и они жадно втянули его в глубину. Теперь ему уже не было возврата туда, где сверкало другое, светлое пламя. Выстрел в сердце должен был положить конец всему.

Гартмут уже намеревался приставить ружье к груди, как вдруг издали услышал свое имя; его звали голосом, в котором слышался мучительный страх. Высокая фигура в темном дождевом плаще стремительно бежала к нему с опушки леса. Ружье выпало из рук Гартмута; он увидел лицо Адельгейды, которая остановилась перед ним, дрожа всем телом.

Проходили минуты. Ни он, ни она не говорили ни слова:

Гартмут первый овладел собой.

– Вы здесь? – спросил он с деланным спокойствием. – В лесу, в такую непогоду?

Адельгейда взглянула на ружье и вздрогнула.

– Я хотела бы задать этот вопрос вам.

– Я был на охоте, но погода слишком плохая, и я хотел разрядить ружье, чтобы...

Роянов не договорил, потому что взгляд молодой женщины, полный упрека и боли, сказал ему, что ложь будет напрасна; он замолчал и мрачно потупился. Адельгейда также перестала притворяться, будто ничего не знает, и воскликнула дрожащим от ужаса голосом:

– Господин фон Фалькенрид... Господи! Что вы хотели сделать?

– То, что было бы уже сделано, если бы вы не вмешались, – жестко сказал Гартмут. – И, верьте мне, было бы лучше, если бы случай привел вас сюда пятью минутами позднее.

– Меня привел не случай; я была в лесничестве и узнала, что вы ушли уже несколько часов тому назад. Страшное предчувствие заставило меня бежать за вами и искать вас здесь; я была почти уверена, что найду вас на этом месте.

– Вы искали меня? Меня, Ада? – Голос Гартмута прерывался от бурного наплыва чувств. – Откуда вы узнали, что я в лесничестве?

– От принца Адельсберга, посетившего меня сегодня утром, вы получили его письмо?

– Не письмо, а только извещение, – ответил Гартмут дрожащими губами. – В этих строках нет ни одного слова, обращенного лично ко мне; в них деловым языком сообщается лишь о том, чем принц считал необходимым уведомить меня... и я понял их.

Адельгейда молчала; ведь она знала, что это заставит его решиться на самоубийство. Она медленно подошла ближе, чтобы стать под защиту деревьев, потому что бушевавший на открытой возвышенности ветер почти сбивал с ног; только Гартмут как будто ничего не замечал.

– Я вижу, вы знаете содержание записки, – продолжал он, – а оно и не ново для вас, ведь вы были свидетельницей того, что случилось тогда, в Родеке. Но, верьте мне, Ада, то, что я почувствовал, увидев вас в призрачном свете северного сияния, озарявшем ту ужасную ночь, и поняв, что меня смешали с грязью в вашем присутствии, – та мука удовлетворила бы даже моего отца. Она отплатила мне за все зло, которое я причинил ему.

– Вы несправедливы к отцу, – серьезно возразила молодая женщина. – Когда он оттолкнул вас, вы видели его неумолимым, твердым как камень; когда же я пришла к нему после вашего исчезновения, то увидела его иным. Он был убит горем и дал мне глянуть в исстрадавшуюся душу отца, который любил своего сына больше всего на свете. Вы больше не пробовали убедить его своей невиновности?

– Нет, он так же мало поверил бы мне, как Эгон. Тому, кто

нарушил данное слово, нет доверия, хотя бы он был готов искупить его ценой жизни. Может быть, моя смерть на поле битвы открыла бы глаза ему и Эгону; если же сейчас я умру от собственной руки, они увидят в этом лишь поступок, подсказанный виновному отчаянием, и не перестанут презирать меня даже в могиле.

– Не все так думают, – тихо сказала Адельгейда. – Я верю вам, Гартмут, несмотря ни на что.

Он посмотрел на молодую женщину, и на его лице сквозь безнадежный мрак отчаяния промелькнуло что-то, напоминавшее о прежней пылкости.

– Вы, Ада? И вы говорите это мне на том самом месте, на котором отвергли меня? Тогда вы еще не знали...

– А потому и боялась человека, для которого нет ничего святого, который не признает другого закона, кроме своей воли и своих страстей. Но та зимняя ночь, когда я видела вас у ног вашего отца, показала мне, что вы скорее изнемогаете под бременем судьбы, чем под тяжестью собственной вины. С тех пор я знаю, что вы можете и должны сбросить с себя несчастное наследие матери. Не падайте духом, Гартмут! Путь, который я указывала вам тогда, еще открыт и, ведет ли он к жизни или к смерти, – все равно, он ведет вверх.

– Нет, все кончено! Вы не можете себе представить, что сделал со мной отец теми ужасными словами, чем была моя жизнь с тех пор. Я... но лучше не буду говорить об этом, ведь этого никто не поймет. И все-таки благодарю вас, Ада, за то,

что вы мне верите. С этим мне легче будет умереть.

Молодая женщина сделала быстрое, испуганное движение к ружью, лежавшему у его ног.

– Бога ради, не делайте этого!

– Зачем же мне еще жить? Мать наложила на меня клеймо позора, и оно закрывает передо мной все пути, ведущие к искуплению, к спасению! Меня презирают, считают чужим среди моих соотечественников, не принимают в армию, где может сражаться беднейший из крестьян, мне отказывают в праве, которое отнято только у последних, лишенных чести преступников; ведь в глазах Эгона я не кто иной, как такой же преступник, и он боится, что я могу изменить своим братьям, что я стану шпионом!

Гартмут в отчаянии закрыл лицо руками, и последнее слово глухим стоном сорвалось с его губ. Вдруг он почувствовал, что рука Адельгейды тихо легла на его плечо.

– Это клеймо снимется вместе с именем Роянова. Откажитесь от этого имени, Гартмут! Я принесла вам то, чего вы безуспешно добивались, – доступ в ряды войск.

Гартмут поднял голову и посмотрел на нее с недоверчивым изумлением.

– Не может быть! Каким образом вы...

– Возьмите эти бумаги, – перебила его Адельгейда, вынимая из кармана портмоне. – Они выданы на имя Иосифа Та-нера; приметы: двадцать девять лет, высокий рост, смуглый цвет лица, черные волосы и глаза; вы видите, все подходит.

С этими бумагами вас примут добровольцем.

Она протянула Гартмуту бумажник, и он судорожно схватил его как будто это было драгоценнейшее из сокровищ.

– Но эти бумаги...

– Принадлежат умершему. Правда, они были переданы мне для другой цели, но ведь покойнику они больше не нужны, и он простит меня, если я спасу ими живого человека.

Гартмут раскрыл бумажник. Ветер рвал бумаги из его рук, так что он с большим трудом мог разобрать их содержание. Молодая женщина продолжала:

– Иосиф Танер занимал скромную должность в Оствальдене. Сегодня утром у него пошла горлом кровь, хотя болезнь казалась уже излеченной; ему оставалось жить всего несколько часов, и он поручил мне передать последний привет и вещи матери. Бедная женщина получит все, что может напоминать ей о сыне, только эти документы я взяла для вас. Ведь этим мы никого не обкрадываем; для матери Танера они не составляют никакой ценности. Строгий судья, вероятно, назовет это обманом, но я с радостью беру на себя вину, Бог и отечество простят мне этот обман...

Гартмут спрятал бумажник в карман, выпрямился и откинул мокрые от дождя пряди волос с высокого лба, единственной черты лица, унаследованной им от Фалькенрида.

– Вы правы, Ада. Словами я не в состоянии отблагодарить вас за то, что вы мне даете, но постараюсь доказать свою благодарность.

– Я знаю это. Отправляйтесь с Богом и... до свиданья!

– Нет, не желайте мне вернуться! – мрачно возразил Гартмут. – Война может примирить меня с самим собой, но не отцом и не с Эгоном, потому что если я останусь жив, они ничего не узнают, и позорное пятно останется на мне. Но если я погибну, скажите им, кто лежит в чужой земле и под чужим именем; может быть, тогда они поверят вам и снимут печать презрения хоть с моей могилы.

– Вы хотите быть убитым? – спросила Адельгейда с горьким упреком. – Даже если я скажу вам, что ваша смерть убьет меня?

– Тебя, Ада? – воскликнул Гартмут, загораясь страстью. – Разве тебя уже не пугает моя любовь, судьба, которая влекла нас руг к другу? Значит, я мог бы достичь высочайшего счастья в мире, потому что ты свободна; но теперь оно дается мне лишь на один миг и снова отодвигается на недостигаемую высоту, как сказочное существо, носящее твое имя в моей драме. Но пусть будет так!.. все-таки счастье пришло ко мне и хоть раз, хоть на прощанье я могу обнять его!

Он привлек к себе любимую женщину и прижался губами ее лбу.

– Гартмут, – умоляюще прошептала Адельгейда, – обещай мне, что не будешь искать смерти.

– Обещаю, но смерть сама сумеет найти меня. Прощай!

Гартмут вырвался из объятий Адельгейды и быстро ушел; молодая вдова осталась одна. Над ее головой проносился

ураган, могучие вершины деревьев шумели и стонали, буря продолжала свою дикую песню. Но вдруг на западе между разорвавшимися черными тучами вспыхнула яркая пурпурная полоска; это был лишь случайно затерявшийся луч солнца, но на одно мгновение он озарил лесистые холмы и быстро удалявшуюся фигуру человека, который еще раз обернулся и на прощанье махнул рукой. Быстро бегущие тучи снова сомкнулись, и яркий луч, последний пламенный привет заходящего светила, потух.

Трепетный огонь камина красноватым светом озарял внутренность маленького одинокого домика, прежде служившего жилищем железнодорожному сторожу; теперь же в нем помещался один из передовых постов армии. Эта комната с закопченными стенами и маленькими окошками производила неприятное впечатление, но огромные поленья, пылавшие в камине, щедро распространяли в ней приятное тепло, далеко не лишнее, потому что на дворе было страшно холодно и всюду лежал снег. Солдатам, стоявшим здесь перед крепостью, приходилось не легче, чем их товарищам под Парижем, хотя эти полки принадлежали к южной армии.

Вошли два молодых офицера. Один, придерживая дверь и пропуская в нее гостя, смеясь воскликнул:

– Будьте любезны, нагнитесь, товарищ, не то вы, пожалуй, вышибете головой притолоку.

Предостережение было не лишено основания, потому что гигантская фигура гостя, прусского поручика запаса, крайне не сочеталась с низенькой дверью; однако ему удалось благополучно войти, и он остановился, озираясь кругом, в то время как его спутник, судя по форме, офицер одного из южно-германских полков, продолжал:

– Позвольте предложить вам стул в нашем «салоне». Итак, вы ищете Штальберга? Он на аванпостах с моим товарищем,

но должен скоро вернуться. Впрочем, с четверть часика вам, наверно, придется подождать.

– С удовольствием подожду, – ответил пруссак. – По крайней мере, из этого я могу сделать вывод, что рана Евгения в самом деле не такая опасная, как он и писал. Я искал его в лазарете, но там узнал, что он пошел к кому-то на аванпосты; так как завтра мы, вероятно, двинемся дальше, то мне не хотелось упускать случай повидаться с ним, вот я и пришел сюда.

– Да, он в самом деле ранен легко, пуля только задела руку и рана почти зажила, хотя он еще некоторое время будет не способен нести службу. Вы дружны с ним?

– Да, но, кроме того, мы в родстве через замужество его сестры. Но я вижу, ваша светлость, вы не помните меня; позвольте заново представиться: Виллибальд фон Эшенгаген. Мы встречались в прошлом году...

– В Фюрстенштейне, – живо перебил его Эгон. – Разумеется, я отлично помню вас, но удивительно, как мундир изменяет человека! Я, действительно, совершенно не узнал вас сначала.

Принц с некоторым удивлением смерил взглядом бывшего робкого «деревенского дворянина», выглядевшего тогда пресмешным малым, а теперь оказавшегося в высшей степени предстательным офицером. Конечно, не только мундир так изменил Виллибальда; дело, начатое любовью, довершили походная жизнь и отсутствие привычной обстановки. Мо-

лодой владелец майората стал не только человеком, как выразился его дядя Шонау, а настоящим мужчиной.

– Наше прежнее знакомство было очень поверхностным, – снова заговорил принц, – тем не менее позвольте мне поздравить. Вы обручены...

– Полагаю, что вы заблуждаетесь на этот счет, ваша светлость, был представлен вам в Фюрстенштейне в качестве будущего зятя хозяина дома, но...

– Обстоятельства изменились, – со смехом договорил Эгон. – Я знаю об этом, потому что мой товарищ, о котором я вам только го говорил, а именно лейтенант Вальдорф – счастливый жених фрейлейн Шонау. Мои слова относились к фрейлейн Мариетте Фолькмар.

– Неужели?

– В настоящее время она уже госпожа Эшенгаген.

– Вы уже женаты?

– Пять месяцев как женат. Мы обвенчались перед самым этим выступлением в поход, и моя жена живет теперь с моей матерью в Бургсдорфе.

– В таком случае поздравляю вас с женитьбой. В сущности, товарищ, следовало бы не поздравлять вас, а потребовать от вас отчета в непростительном похищении, которое вы учинили по отношению к искусству. Будьте добры, передайте вашей супруге, вся наша столица до сих пор оплакивает эту потерю. – Не премину передать, хотя боюсь, что городу теперь когда горевать о таких мелочах. А вот, кажется,

и господа офицеры возвращаются, я слышу голос Евгения.

За дверью в самом деле послышались голоса, и в следующую минуту ожидаемые офицеры вошли. Молодой Штальберг радостно поздоровался с родственником, которого ни разу не видел за все время похода, хотя оба служили в одном корпусе. Рука у него была еще на перевязи, но он имел совершенно бодрый и здоровый вид. Евгений не обладал красотой сестры и ее силой воли; внешность и манеры скорее говорили о мягкой, ласковой, чем сильной натуре; но все же он очень напоминал сестру, и, вероятно, это сходство и было причиной симпатии к нему принца Адельсберга. Вслед за ним вошел и его спутник, красивый молодой офицер со смелыми, блестящими глазами; принц познакомил его с Эшенгагеном.

– Надеюсь, что не вызову кровавой стычки между вами, господа, если представлю вас друг другу, – шутливо сказал он. – Все равно когда-нибудь да придется же произнести ваши имена. Итак, господин фон Эшенгаген, господин фон Вальдорф.

– Боже, сохрани! По крайней мере, я – воплощенное миролюбие, – весело воскликнул Вальдорф. – Я очень рад познакомиться с двоюродным братом моей невесты, господин фон Эшенгаген, тем более что вы уже связаны священными узами брака. Мы охотно последовали бы вашему примеру и обвенчались под бой барабана, но мой тесть объявил с самой сердитой миной: «Надо сперва победить, а потом же-

ниться». Ну, вот уже пять месяцев, как мы без перерыва воюем, а как только вернемся домой, я сразу обручусь. – Он дружески пожал руку бывшему жениху своей невесты и обратился к принцу: – Мы привели вам, ваша светлость, одного субъекта, которого перехватили по дороге. Эй, ординарец из Родека, предстаньте пред светлые очи господина поручика, принца Адельсберга!

Дверь открылась и, несмотря на вечерние сумерки, принц узнал морщинистое лицо и седые волосы вошедшего. Он вскочил.

– Силы небесные! Да ведь это Штадингер!

Действительно, старик Штадингер собственной персоной стоял перед своим молодым хозяином. Его появление было встречено взрывом общего восторга, поэтому со стороны казалось, что его знают все присутствующие, хотя большинство офицеров видели его впервые.

– Прежде всего зажжем свет, чтобы хорошенько разглядеть старого «лешего» его светлости! – воскликнул Вальдорф, зажигая две свечи и с комическим торжеством поднося их к самому лицу старика.

Эгон рассмеялся.

– Видишь, Штадингер, какую известную и популярную личность ты здесь представляешь! Позволь же отрекомендовать тебя по всем правилам. Вот, милостивые государи, Петер Штадингер, известный своей грубостью, в которой никому еще не удалось его превзойти, и потрясающими пропове-

дями на нравоучительные темы. Очевидно, он убежден, что я не в состоянии жить без того и другого, и хочет и здесь, на войне, доставить мне удовольствие своими милыми обычаями. Надо надеяться, что и на вашу долю что-нибудь перепадет, господа. Ну, Штадингер, выкладывай!

Но вместо того, чтобы последовать приказанию, старик обеими руками схватил руку принца и произнес трогательным тоном:

– Ах, ваша светлость, как мы в Родеке боялись за вас!

– О, да это уже совсем вежливо, – сказал Штальберг, принц же состроил строгую мину.

– В самом деле? И потому ты сразу собрался в путь и бросил Родек на произвол судьбы? Вот уж не ждал я от тебя такого нерадивого отношения к своим обязанностям!

– Но ведь я приехал по приказанию вашей светлости! Вы ведь сами написали мне, ваша светлость, чтобы я приехал взять Лонса из лазарета и что вы берете на себя все расходы на дорогу и прочее. Я приехал сегодня в полдень и застал малого совсем уже бодрым; доктор думает, что через неделю его можно будет взять и никакого лечения больше не нужно. Всего, что ваша светлость сделала для Родека, и не перескажешь! Да воздаст вам Бог сторицей!

Эгон сердито вырвал у него свою руку.

– Теперь я поручик, заметь себе это, и прошу не называть меня иначе. Но что это значит? Ведь именно сейчас я ждал твоей грубости, а ты стал кроток, как ягненок, и разыгры-

ваешь перед нами трогательные сцены. Чтобы этого не было! Господа, Лоис – это внук моего старого лешего, славный, красивый парень; но у него есть сестра, еще куда красивее его. К сожалению, безрассудный дед удаляет ее из Родека каждый раз, как я приезжаю туда. Почему ты не взял с собой Ценцы? Мог бы, кажется, сообразить и привезти ее сюда?

Штадингер выпрямился и возразил с прежней грубой прямоотой:

– Я полагал, что здесь, на войне, вашей светлости некогда заниматься подобными глупостями.

– Ага, вот наконец! – шепнул принц Вальдорфу, стоявшему рядом, а затем громко сказал: – Ты очень ошибаешься. Военная жизнь может довести человека до полного одичания, и когда я вернусь...

– Тогда ваша светлость обещали наконец жениться, – напомнил ему старик таким безапелляционным тоном, что в группке молодых офицеров громко захохотали.

Эгон вторил им, но его смех был немного вынужденный, как и ответ:

– Да, да, обещать я, действительно, обещал, но передумал. Лет через десять я, пожалуй, сдержу слово, а то, может быть, и через двадцать, но никак не раньше.

Штадингер, разумеется, пришел в величайшее негодование и дал полную волю своему гневу.

– Так я и знал! Когда вашей светлости приходит какая-нибудь разумная мысль, она и сутки не может продержаться в

вашей голове! Ведь был же женат ваш покойный батюшка, и каждый непременно должен жениться. С женитьбой сами собой кончаются все глупости...

– Вот теперь слышно, что это он! Учитесь, господа! – сказал Эгон.

Молодые офицеры принялись подтрунивать над Штадингером и наконец довели беднягу до того, что он забыл всякую почтительность и предстал во всем блеске своей грубости.

Через четверть часа Виллибальд и Штальберг стали собираться уходить; они подошли к принцу проститься.

– Так завтра вы выступаете? – спросил принц.

– На рассвете. Мы двигаемся к Р. на соединение с бригадой генерал-майора Фалькенрида, но, по всей вероятности, пройдет несколько дней, прежде чем мы доберемся туда, потому что вся местность отсюда до Р. занята неприятелем, и нам придется с боями прокладывать себе дорогу.

– Так скажи генералу, Вилли, что я последую за вами не позже чем через неделю, – произнес Штальберг. – Досадно, что из-за какой-то царапины мне придется так долго оставаться здесь, но на будущей неделе я выпишусь из лазарета и сразу же отправлюсь в полк. Надеюсь, что успею до сдачи Р.

– В таком случае вам не мешает поторопиться, – вставил Эгон. – Где командует генерал Фалькенрид, там враг долго не сопротивляется. Во время штурма он со своими солдатами всегда впереди и уже не раз проделывал невероятные вещи. Для него как будто нет ничего невозможного.

– Ему везет и в том отношении, что он всегда на передовой, – заметил Вальдорф. – Вот и теперь ему поручено взять Р., тогда как мы еще Бог весть сколько времени простоим здесь; и он возьмет его, в этом нет никакого сомнения, а может быть, уже и взял. Ведь пока нас разделяет неприятель, мы узнаем обо всем намного позже.

Поручик встал, чтобы проводить гостей, но принц не пошел с ними. Он остановился перед камином со скрещенными руками, глядя на огонь, серьезно, даже угрюмо вглядываясь в трепетное пламя, но в его веселых, ясных глазах была какая-то тревога. Он совсем забыл о присутствии Штадингера; только когда тот напомнил о себе покашливанием, он встрепенулся.

– Ах, ты еще здесь? Поклонись от меня Лоису и скажи, что я сам приду завтра навестить его. Прощаться мы с тобой пока не будем, ведь пока ты еще остаешься здесь. Вероятно, ты не думал, что у нас так весело? Да, надо стараться легко смотреть на жизнь, когда каждый день может быть последним.

Старик внимательно поглядел ему в глаза и вполголоса проговорил:

– Да, господа офицеры были веселы, а ваша светлость веселее всех, но все-таки на душе-то у вас невесело.

– У меня? Что ты выдумываешь? Почему мне в самом деле не быть веселым?

– Не знаю, но я это вижу. Прежде, когда ваша светлость

возвращались из Фюрстенштейна или подымали кутерьму в Родеке с господином Рояновым, у вас был совсем другой вид и смеялись вы совсем иначе; а вот сейчас, когда вы смотрели в огонь, можно было подумать, что у вашей светлости очень тяжело на сердце.

– Убирайся ты со своими наблюдениями! – сердито крикнул Эгон. – Ты думаешь, мы только и делаем, что шутим? Поневоле призадумаешься иной раз, когда постоянно видишь перед собой кровавые ужасы войны.

Против этого нечего было возразить, и Штадингер замолчал, хотя и не изменил мнения. Он был уверен, что с его светлостью что-то неладно и что за его напускной веселостью скрывается нечто совсем другое. В это время в комнату вернулся Вальдорф, но дверь за собой не закрыл.

– Ну, входите же! – крикнул он человеку, стоявшему за дверью. – Вот ординарец от седьмого полка с рапортом! Ну, глухи вы, что ли? Идите же сюда!

Приказание было повторено весьма нетерпеливым тоном. Солдат, показавшийся на пороге, как будто не решался войти, даже сделал движение, будто хотел быстро отступить назад, в темноту. Теперь он повиновался, но остановился у самой двери, так что его лицо оставалось в тени.

– Вы с аванпостов на Церковной горе? – спросил Вальдорф.

– Так точно!

При звуке этого голоса Эгон вздрогнул; он быстро сделал

шаг вперед, но, как бы опомнившись, остановился, однако его взгляд с выражением почти ужаса устремился на лицо говорившего. Это был еще молодой, рослый солдат в грубой шинели рядового и в фуражке на коротко остриженных черных волосах. Он стоял неподвижно, вытянув руки по швам, и продолжал рапорт по уставу, только его голос был как-то странно глух и сдавлен.

– От капитана Зальфельда, – рапортовал он: – Мы перехватили подозрительного человека, переодетого в крестьянское платье, но, несомненно, принадлежащего к неприятельской армии и желавшего пробраться в крепость. В найденных при нем бумагах...

– Подойдите ближе! – раздраженно приказал Вальдорф. – Вас еле слышно.

Солдат подошел к офицерам, и свет упал прямо на его лицо. Оно было покрыто неприятной синеватой бледностью, зубы были стиснуты, а глаза опущены.

Рука Эгона судорожно сжала эфес сабли; он с трудом сдержал восклицание, готовое сорваться с его губ; Штадингер же широко открытыми глазами уставился на говорящего...

– В найденных при нем бумагах нет ничего важного, но они содержат намеки, которые он, вероятно, должен был дополнить устно. Капитан полагает, что если допросить его по-строже, он выдаст то, что ему было поручено, и спрашивает, должен ли он оставить пленного сюда или отправить его в

главный штаб.

В этом донесении не было ничего странного или необычного. Перехватывать подозрительных субъектов случалось нередко, так как неприятель постоянно пытался связаться с крепостью и, несмотря на бдительность осаждающих, это ему, конечно, удавалось. Но у принца Эгона как будто захватило дух, так что он ответил не сразу.

– Передайте капитану, что я прошу переслать пленного сюда. Через два часа мы сменяемся и идем как раз в главный штаб; я беру это на себя.

– Надо надеяться, молодец заговорит, если серьезно взяться него, – заметил Вальдорф. – Не у него первого душа уйдет пятки, когда ему пригрозят полевым судом. Ну, да мы еще осмотрим!

Солдат стоял, ожидая, чтобы его отпустили; ни один мускул не дрогнул на его лице, но глаз он не поднял. Эгон, успевший овладеть собой, спросил коротким, командным тоном:

– Вы из седьмого полка?

– Так точно!

– Ваше имя?

– Иосиф Танер.

– По призыву?

– Нет, доброволец.

– Давно?

– С тридцатого июля.

– Значит, вы прошли с полком весь путь?

– Так точно.

– Хорошо. Доложите же капитану!

Солдат повернулся и вышел.

Вальдорф, пожимая плечами, сказал, посмотрев вслед уходящему:

– Всем, находящимся на Церковной горе, приходится очень туго. Ни днем, ни ночью ни минуты покоя; они устают до смерти, да еще их часто командируют на помощь разведчикам. Бедняги роются в твердой, как камень, мерзлой земле, так что пот с них катится градом, а руки все в крови. Нашим несравненно лучше.

Он вышел в соседнюю комнату, чтобы назначить ефрейтора для караула к ожидаемому пленному и дать ему нужные указания. Эгон же порывисто распахнул окно и высунулся из него – ему казалось, что он задыхается. Вдруг он услышал за спиной испуганный шепот Штадингера:

– Ваша светлость! Разве вы не заметили?

– Чего?

– Ординарец, который сейчас был здесь... Ведь это... господин Роянов!

Эгон, сознавая необходимость полного спокойствия в эту минуту, обернулся и холодно сказал:

– Тебе, кажется, начинают мерещиться привидения. Некоторое сходство, действительно, есть; оно и мне бросилось в глаза, оттого я и спросил его имя. Ты слышал – его

зовут Танером.

– Но, право же, это был сам господин Роянов! – воскликнул непоколебимый Штадингер, которого никогда еще не обманывали его зоркие глаза. – Недоставало только черных кудрей да гордого, повелительного вида... И голос его!

– Отвяжись ты со своими глупостями! – вспылил Эгон. – Разве ты не знаешь, что господин Роянов на Сицилии? Как же он может очутиться здесь как ординарец седьмого полка? Ведь это более чем смешно!

Штадингер замолчал. Конечно, то, что он говорил, было смешно и невозможно, потому-то молодой принц просто вышел из себя; его рассердило то, что простого рядового могли принять за его друга. И в самом деле, надменный Роянов, так умевший приказывать и гонявший всю прислугу в Родеке до того, что она с ног сбивалась, и ординарец, на которого Вальдорф прикрикнул за то, что он недостаточно громко говорит, – были так же непохожи друг на друга, как небо и земля. Если бы только не этот голос!

– Так вы думаете, ваша светлость?... – снова заговорил старик, но уже не так уверенно.

– Что ты – старый духовидец! – сказал Эгон мягче. – Ступай к себе на квартиру и выпишись с дороги, а то тебе везде начинает мерещиться сходство с кем-нибудь. Спокойной ночи!

Штадингер ушел. К счастью, он не знал Иосифа Танера, да, кроме того, эта встреча повергла его в такой ужас, что от него совершенно ускользнуло с трудом сдерживаемое волне-

ние его хозяина, и все же он качал головой: что ни говори, а странная история!

Оставшись один, принц быстро зашагал по комнате. Итак, то, в чем он отказал своему бывшему другу, все-таки удалось ему! Иосиф Танер! Он догадывался, чья рука помогла Гартмуту проникнуть в армию, недоступную для человека с именем Роянова. Чего не сделает любовь женщины, желающей во что бы то ни стало дать возможность своему возлюбленному искупить свою вину! Она сама послала его навстречу смертельной опасности, чтобы спасти его для жизни и для себя.

Неудержимая ревность вспыхнула в сердце Эгона при этой мысли, и в то же время в нем снова заговорило недоверие, от которого он не мог отделаться. В самом ли деле Гартмут хотел искупить на войне свою вину? Не представляло ли его присутствие на аванпостах опасности, ответственность за которую падала на него, принца Эгона, в случае, если он промолчит?

Но тут принц вспомнил бледное, мрачное лицо своего бывшего друга, который при этой встрече должен был вынести самую мучительную пытку. Никто лучше принца не знал высокомерной гордости Гартмута, и этой гордости приходилось теперь изо дня в день терпеть, чтобы ее втоптывали в грязь из-за низкого положения ее обладателя. Вальдорф говорил, что на Церковной горе солдаты часто работают в мороз до седьмого пота, а руки стирают до крови. И такую

работу выполнял избалованный, привыкший к поклонению Роянов, у ног которого год тому назад была вся восхищенная столица, которого осыпали знаками внимания герцог и его семья, и исполнял по доброй воле, в то время как блестящий успех его драмы обеспечивал ему средства к жизни. И при этом он был еще и сыном генерала Фалькенрида!

Глубокий вздох облегчения вырвался из груди Эгона! Это вернуло ему наконец утраченную веру; мучительное сомнение исчезло. Давняя юношеская вина Гартмута была теперь искуплена, другая же – более ужасная – была не его вина, а вина его матери.

Было около десяти часов вечера, когда принц Адельсберг отправился к командующему. Он шел к нему по приглашению – генерал был близким другом его покойного отца и потому в походе по-отечески заботливо относился к принцу. Много дал бы Эгон за то, чтобы остаться сегодня вечером одному, потому что встреча с Гартмутом потрясла его до глубины души, но от приглашения начальника отказаться было нельзя.

Входя в дом, принц встретил на лестнице одного из адъютантов, который почти бежал куда-то и только крикнул ему, что получены плохие вести, но принц узнает о них от самого генерала. Эгон задумчиво пошел вверх по лестнице.

Генерал был один и взволнованно ходил по комнате; его лицо в самом деле не предвещало ничего хорошего.

– Вот и вы, принц, – сказал он, остановившись. – К сожалению, мы получили сведения, которые наверняка испортят всем нам настроение.

– Мне только что сказали об этом, – ответил Эгон. – Что случилось, генерал? Ведь утренние донесения были благоприятны.

– Я получил это известие всего час тому назад. Вы сами доставили в главный штаб пленного, который был взят нашими на аванпостах. Знаете, что при нем было?

– Разумеется; капитан Зальфельд передал мне бумаги вместе с пленным, но я уверен, что пленный должен был устно дополнить эти письменные донесения, которые составлены весьма осторожно; очевидно, неприятель рассчитывал на то, что они могут попасть в наши руки. Правда, пленный отказывался говорить, но ведь здесь его должны были как следует допросить.

– Это было сделано. Он оказался трусом, и когда ему пригрозили расстрелом, предпочел ради спасения жизни во всем признаться. Помните, в одной из бумаг шла речь о том, что в крайнем случае можно последовать героическому примеру коменданта Р.?

– Да, но я не понимаю, какому примеру, ведь крепость накануне сдачи. Генерал Фалькенрид извещает, что собирается вступить в нее завтра же.

– И я боюсь, что он сдержит слово! – взволнованно воскликнул генерал.

Эгон посмотрел на него с недоумением.

– Вы боитесь?

– Да, потому что готовится беспримерное предательство. Крепость хотят сдать, а когда наши займут ее, взорвать.

– Господи Боже! – с ужасом воскликнул принц. – Неужели нельзя дать знать генералу Фалькенриду?

– В том-то и дело, что, пожалуй, не удастся! Я уже послал предупреждения по двум разным дорогам, но прямое сообщение с Р. отрезано, горные тропы заняты неприятелем, по-

сыльные идут окружным путем и навряд ли успеют вовремя.

Эгон молчал, совершенно растерявшись. Действительно, все подступы были заняты неприятелем; полк Эшенгагена должен был очистить путь, но на это могло уйти несколько дней.

– Мы взвесили все шансы, – снова заговорил генерал, – но нам не остается никакого другого выхода, кроме слабой надежды на то, что сдача Р. по какой-либо причине будет отложена. Впрочем, Фалькенрид не позволит затягивать дело и настоит на сдаче; но тогда он погибнет, а с ним погибнут сотни, а может быть, и тысячи людей.

Он опять заходил по комнате; было видно, как близко к сердцу принимал этот всегда хладнокровный человек судьбу бригады, которой грозила такая опасность. Принц стоял, тоже не зная, что придумать; вдруг его осенило; он поднял голову и произнес:

– Генерал! А что, если бы можно было, несмотря ни на что, переслать депешу через горы! Хороший ездок мог бы, пожалуй, успеть в Р. завтра до полудня; конечно, ему пришлось бы мчаться сломя голову и рисковать жизнью.

– Прорваться через посты неприятеля? Это безумие! Вы сами военный и должны понимать, что это невыполнимо; смельчак не проедет и полмили, как его подстрелят.

– А если все-таки найдется человек, который решится? Я знаю такого человека, генерал!

– Не хотите ли вы этим сказать, что сами готовы принести эту бесполезную жертву? Я запрещаю вам и думать об этом, принц! Я умею ценить храбрость моих офицеров, но не стану жертвовать ими, разрешая им такие безумства.

– Я говорю не о себе, – сказал Эгон. – Этот человек служит в седьмом полку, стоящем теперь на Церковной горе; он принес мне рапорт о захваченном пленном.

Генерал задумался, но потом недоверчиво покачал головой.

– Говорю вам, это невозможно. Впрочем... как его зовут?

– Иосиф Танер.

– Рядовой?

– Да, но доброволец.

– Вы его хорошо знаете?

– Да, генерал. Пожалуй, это лучший наездник во всей армии, бесстрашный до безумия и способный действовать в данном случае с предусмотрительностью офицера. Если дело хоть сколько-нибудь выполнимо, он его выполнит.

– И вы думаете, что... Я не имею права приказывать такое; это было бы, собственно говоря, безумием... Вы думаете, что этот человек добровольно возьмется за такое поручение?

– Ручаюсь.

– В таком случае я, конечно, не могу препятствовать: от этого зависит слишком многое. Я велю сейчас позвать этого Танера.

– Позвольте мне самому передать ему это поручение, – быстро возразил Эгон.

– Вы хотите сделать это лично? Почему?

– Ради экономии времени; дорога, по которой Танеру придется ехать, идет мимо Церковной горы; чтобы дойти оттуда сюда, в главный штаб, и обратно, потребуется целый час.

Против этого ничего нельзя было возразить. Генерал, вероятно, чувствовал, что тут кроется что-то особенное. Первый встречный рядовой едва ли решился бы на такое безумно дерзкое дело, бросавшее его в объятия смерти. Но старый воин не стал больше допытываться и только спросил:

– Вы отвечаете за этого человека?

– Да, – твердо и спокойно произнес принц.

– В таком случае передайте ему сами. Только еще одно: надо снабдить его пропуском на случай, если ему действительно удастся достичь наших постов по ту сторону, потому что малейшая задержка может быть губельна, когда дорога каждая минута. – Генерал подошел к письменному столу, написал несколько строк на листе бумаги и вручил его принцу. – Вот пропуск, а вот и депеша Фалькенриду. Вы немедленно дадите мне знать, согласился ли Танер.

– Сразу же, генерал!

Эгон взял бумаги, простился с генералом, поспешил к себе на квартиру, приказал оседлать лошадь и пять минут спустя уже ехал на Церковную гору.

Церковная гора, прозванная так немцами потому, что на

ней стояла небольшая церковка, представляла лишь небольшой, частично покрытый лесом холм, служивший крайним выступом тянувшихся здесь гор. Здесь проходила граница расположения немецких войск, и в разбросанных у подножия холма усадьбах был размещен седьмой полк, служба в котором по справедливости должна была считаться самой тяжелой и опасной.

Полуразрушенная войной церковь, занесенная глубоким снегом, была пустой. Стены и крыша еще держались, но часть потолка обрушилась, а в разбитые окна со свистом врывался ветер. Сзади подымался засыпанный снегом лес. Все это смутно вырисовывалось при тусклом свете полумесяца, который только что выглянул из-за тяжело нависших туч и освещал окрестности своим призрачным сиянием, иногда вновь скрываясь за тучами.

Была такая же морозная ночь, как тогда, в Родеке, и опять, как тогда, темно-пурпурный свет разливался на горизонте; но это было не северное сияние, таинственное и полное красоты. Зарево, пылавшее на севере, свидетельствовало о сражениях; это горели деревни и усадьбы, подожженные бомбардировкой. Пожары, страшные спутники войны, окрашивали горизонт своим отблеском.

Здесь с ружьем в руках на посту стоял одинокий часовой — Гартмут фон Фалькенрид. Его глаза были устремлены на пылающий горизонт, где тяжелые массы облаков казались кровавыми, и из-за дыма, стлавшегося по земле, временами вы-

летали снопы ярких искр. Мороз все крепчал, и его ледяное дыхание до мозга костей пробирало одинокого часового. Правда, не он один нес такую тяжелую службу, но его товарищи не были изнежены многолетним пребыванием на Востоке и в залитой солнцем Сицилии. С тех пор, как Гартмут повзрослел, он ни разу не видел северной зимы; для него теперешний холод был губельным.

К нему медленно подкрадывалась слабость, от которой тело наливалось свинцом, а веки тяжело опускались на глаза. Он знал, что будет за этим, но напрасно старался ободриться, двигаться; на минуту ему удавалось стряхнуть с себя оцепенение, но затем снова наступал упадок сил. Неужели ему не было суждено даже погибнуть от пули врага?

Взгляд Гартмута, как будто ища помощи, обратился на полуразрушенный храм. Но что значили для него церковь, алтарь? Он давно ни во что не верил. Смерть он считал преддверием вечной Ночи, а жизнь, если бы удалось искупить свою вину, могла бы еще дать ему все – обладание любимой женщиной, славу поэта, может быть, даже примирение с отцом. Ничему этому не суждено было сбыться, он должен был до конца оставаться на своем посту, ожидая бесславной смерти, незаметно подползавшей к нему из ледяного мрака. Этого требовал долг.

Вдруг на расстоянии послышались шаги и голоса; они постепенно приближались и заставили Гартмута очнуться от оцепенения, которое уже начало овладевать его мозгом. Он

напряг всю силу воли, чтобы приободриться, и приготовился выстрелить, но подходившие оказались своими. Что это могло значить? Время смены еще не наступило. Однако через несколько минут перед ним стояли унтер-офицер и новый часовой.

– Смена по приказанию, привезенному офицером из главного штаба! – объяснили ему, и место Гартмута занял коренастый солдат, которому мороз был, казалось, нипочем.

Гартмут хотел присоединиться к унтер-офицеру, как вдруг с другой стороны из темноты вышел сам офицер с приказом о его смене.

– Пусть унтер-офицер идет вперед, Танер, мне надо поговорить с вами. Следуйте за мной!

Они пошли. Не желая сделать часового свидетелем их разговора, принц вошел в часовню, а за ним и Гартмут. Бледный свет луны, падавший через окно, осветил внутренность храма со следами разрушения: часть скамеек была поломана обрушившимся потолком, только алтарь в нише оставался невредим.

Дойдя до середины, Эгон остановился и обернулся.

– Гартмут!

– Господин поручик!

– Брось это, мы одни. Не думал я, что мы так с тобой свидимся!

– И я надеялся, что судьба избавит меня от этого, – глухо ответил Гартмут. – Ты пришел...

– Из главного штаба. Мне сказали, что ты стоишь на посту на Церковной горе; это ужасная служба в такую ночь как сегодня!

Гартмут молчал. Он знал, что без вмешательства Эгона это была бы его последняя ночь. Эгон смотрел на него с беспокойством. Несмотря на слабое освещение, он видел, до чего промерз и изнурен человек, который стоял перед ним, прислонившись к колонне, точно стоять без опоры был уже не в силах.

– Я пришел, чтобы передать тебе поручение, от которого, конечно, ты можешь и отказаться, если захочешь, – снова заговорил принц. – Дело считается почти невозможным, и для кого-нибудь другого оно, пожалуй, и действительно невозможно, но я знаю, что у тебя хватит мужества. Вопрос только в том, хватит ли у тебя силы при таком истощении.

– Если я отдохну с четверть часа да обогреюсь, силы вернуться. В чем дело?

– В том, чтобы, рискуя жизнью, пробраться через горы; ты должен передать известия в Р., проехав через посты неприятеля.

– В Р.? – воскликнул Гартмут вздрагивая. – Ведь там стоит...

– Генерал Фалькенрид со своей бригадой. Он погибнет, если не получит известие вовремя; мы поручаем его спасение его сыну.

Гартмут встрепенулся. Исчезли оцепенение и изнеможе-

ние; в лихорадочном возбуждении он схватил принца за руку.

– Я должен спасти отца? Я? Каким образом? Что я должен сделать?

– Слушай! Пленный, о котором ты принес мне рапорт, рассказал о готовящемся предательстве. Крепость хотят взорвать после сдачи, как только гарнизон выйдет из нее, а наши войдут. Генерал уже послал связных разными дорогами, но они дойдут слишком поздно, так как посланы длинными окружными путями. Твой отец намерен вступить в крепость завтра же; надо предупредить его обо всем, а это возможно лишь в том случае, если связной проедет прямо через горы, занятые неприятелем; тогда он может быть на месте завтра до полудня, но зато эта дорога...

– Я знаю ее, – перебил Гартмут. – Направляясь сюда, мой полк прошел ее две недели тому назад. Тогда проходы в горах были еще свободны.

– Тем лучше. Разумеется, ты снимешь мундир, потому что он может выдать тебя.

– Я поменяю только шинель и фуражку; если меня задержат, я все равно погибну. Если бы только достать хорошую, выносливую лошадь.

– Лошадь готова; со мной мой арабский жеребец Сади; ты его знаешь и не раз ездил на нем; он летит как птица и сегодня ночью покажет, на что способен.

Разговор велся с лихорадочной торопливостью. Принц

вынул бумаги, полученные из главного штаба.

– Вот приказ главнокомандующего, обеспечивающий тебе всяческое содействие, как только ты достигнешь наших постов, а вот депеша. Отдохни сначала с полчаса, а то у тебя не хватит сил, и ты свалишься на дороге.

– Неужели ты думаешь, что теперь мне нужен отдых? – воскликнул Гартмут. – Теперь, если я свалюсь, то только от неприятельской пули. Благодарю тебя, Эгон, за эту минуту! Наконец-то ты снимаешь с меня это позорное подозрение!

– И в то же время посылаю тебя на смерть, – тихо проговорил Эгон. – Не будем скрывать от себя истину: если ты проедешь благополучно, это будет чудо.

Чудо? Гартмут глянул на алтарь, озаренный бледным, дрожащим светом луны. Он давно разучился молиться, но в эту минуту из его души вырвалась горячая, полная страха, немая мольба к Небу, к силе, могущей творить чудеса: «Сохрани меня до тех пор, пока я спасу отца и наших! Только до тех пор сохрани меня!».

В следующую секунду он уже выпрямился; казалось, Эгон своей вестью влил горячую жизненную силу в жилы этого человека, чуть не умиравшего от истощения.

– А теперь простимся! – прошептал принц. – Прощай, Гартмут!

Эгон протянул руки, и Фалькенрид прижался к его груди; они забыли обо всем, что их разделяло, старая пылкая приязнанность вспыхнула с новой силой, вспыхнула в последний

раз: оба чувствовали, что больше не увидятся, что прощаются навсегда.

Четверть часа спустя с Церковной горы мчался всадник. Красивый арабский жеребец бешеным галопом летел через покрытые снегом поля, опушенные инеем леса, замерзшие потоки – прямо к горным тропам.

На следующий день была ясная, морозная погода, но холод несколько смягчился.

В квартире принца Адельсберга сидели Евгений Штальберг и Вальдорф; последний был сегодня свободен от службы. Вчера, возвращаясь с караула, он поскользнулся на льду и, упав, повредил себе руку, что и помешало ему сегодня принять участие в рекогносцировке, на которую отправился принц Эгон. Офицеры ожидали своего светлейшего товарища, который должен был скоро вернуться, а тем временем забавлялись поддразниванием Штадингера, который и сегодня явился к своему господину и также ожидал его.

Молодые офицеры ничего не знали об известии, полученном вчера в главном штабе, и потому были в прекраснейшем настроении и прилагали все усилия, чтобы опять заставить Штадингера нагрубить; но сегодня старик был сдержан и неразговорчив и только беспрестанно спрашивал, когда же вернется принц и серьезно ли дело, в котором сегодня принимает участие его светлость. Наконец у Вальдорфа лопнуло терпение.

– Я думаю, вы с удовольствием упаковали бы вашего принца, Штадигер, и увезли его с собой подальше от бомб в Родек! – раздраженно сказал он. – Здесь, на войне, надо отвыкать от трусости, заметьте себе это.

– И, кроме того, принц отправился на простую рекогносцировку, – вставил Евгений. – Он со своим отрядом немножко прогуляется с Церковной горы в близлежащие долины и ущелья, чтобы разузнать, что там делается. По всей вероятности, они только обменяются несколькими любезностями с господами французами и вежливо удалятся; конфликты начнутся только через несколько дней.

– Но стрелять все-таки будут? – спросил Штадингер с таким испуганным лицом, что оба офицера громко расхохотались.

– Да, стрелять все-таки будут, – ответил Вальдорф. – Вы, кажется, панически боитесь этой стрельбы, а между тем находитесь достаточно далеко от нее.

– Я? – старик выпрямился с глубоко оскорбленным видом. – Я хотел бы быть там!

– Конечно, для того, чтобы охранять своего любимого принца? Едва ли он разрешил бы вам это. Вы все хватали бы его за полы и кричали бы: «Берегитесь, ваша светлость! Вот летит пуля!» О, это было бы прелестно!

– Господин поручик, не следовало бы вам так обижать старого охотника, которому не раз случалось взбираться за сернами в горы и стрелять в них с такого места, где едва можно было поставить ногу. Но сегодня у меня на душе крайне тяжело и тоскливо. Хоть бы скорей прошел этот день!

– Мы не хотели обижать вас, – успокоил его Евгений. – Мы верим вам, Штадингер, да вы совсем и непохожи на тру-

са. Только не приставайте к нам со своими предчувствиями. Люди, много раз бывавшие под пулями, уже не придают им значения. Когда мы все благополучно вернемся с войны, я приеду с сестрой в Оствальден, и мы станем добрыми соседями; принц очень любит свое лесное гнездо. Ну, хватит переживать, вот он уже возвращается.

В самом деле на лестнице послышались быстрые шаги. Старик с облегчением вздохнул, но в открывшихся дверях показался только денщик Эгона.

– Его светлость идет? – спросил Вальдорф.

Но Штадингер не дал солдату ответить; он взглянул ему в лицо и вдруг судорожно схватил за руку.

– Что случилось? Где... где мой господин?

Солдат печально пожал плечами и молча указал на окно. Офицеры испуганно бросились туда, Штадингер же опрометью сбежал по лестнице в садик, находившийся перед домом, и с воплем упал на колени перед носилками, которые два санитары только что опустили на землю. На носилках неподвижно лежал принц.

– Тише! – предупредил врач. – Принц тяжело ранен.

– Вижу, – прохрипел старик. – Но не смертельно?.. Не правда ли, не смертельно? Скажите только это, доктор!

Он смотрел на врача с таким отчаянием и мольбой, что у того не хватило духу сказать правду; он отвернулся к офицерам, которые теперь тоже сбежали вниз и засыпали его тихими, испуганными вопросами.

– В грудь, – ответил он им так же тихо. – Принц потребовал, чтобы его несли к нему на квартиру; мы несли его очень осторожно, но конец приближается скорее, чем я ожидал.

– Значит, смертельно? – спросил Вальдорф.

– Безусловно, смертельно.

Доктор знаком остановил санитаров, которые хотели было снова взяться за носилки.

– Оставьте, принц, кажется, хочет сказать что-то своему слуге; на счету каждая минута.

Эгон, казалось, был без сознания; его белокурая голова бессильно откинулась назад, глаза были закрыты; из-под шинели, которой его прикрыли, виднелся расстегнутый окровавленный мундир.

– Ваша светлость, – стал умолять Штадингер тихим, но душераздирающим тоном. – Взгляните на меня, скажите что-нибудь! Ведь это я, Штадингер.

Знакомый голос что-то пробудил в сознании тяжелораненого; он медленно открыл глаза, и слабая улыбка пробежала по его лицу, когда он узнал старика, стоявшего около него на коленях.

– Мой старый леший, – тихо сказал он. – Вот для чего пришлось тебе приехать!

– Вы не умрете, ваша светлость! – пробормотал старик. – Нет, вы не умрете... ни в коем случае!..

– Ты думаешь, что умирать страшно? – спокойно продолжал Эгон. – Вчера ты не ошибся, у меня было тяжело на ду-

ше; теперь же легко. Поклонись от меня моему Родеку, моему лесу и... ей... хозяйке Оствальдена.

– Кому? Госпоже фон Вальмоден? – переспросил Штадингер в ужасе от услышанного.

– Да... передай ей мой последний привет. Пусть иногда вспоминает обо мне...

Слова отрывисто, с трудом слетали с помертвевших губ принца, но они не оставляли никакого сомнения в значении этого привета. Услышав имя сестры, Евгений вздрогнул и наклонился над умнющим. Эгон еще успел увидеть брата Адельгейды; он узнал рты, так напоминавшие ее, и снова по его лицу пробежала слабая улыбка. Потом он спокойно и устало опустил белокурую голову на грудь своего старого «лешего», и прекрасные ясные глаза закрылись навеки. Смерть наступила быстро и без страданий; принц как будто просто заснул.

Штадингер не шевелился, не издал ни звука, боясь потревожить последние минуты своего молодого господина, которого нянчил в детстве, а теперь он умирал в его объятиях. Но когда все было кончено, самообладание покинуло старика; он в отчаянии бросился на труп и заплакал, как ребенок.

То же яркое зимнее солнце сияло по другую сторону гор, освещая торжество победоносной немецкой армии. Переговоры с комендантом Р. были закончены и крепость сдана; капитулировавший гарнизон только что вышел из крепости, и часть победителей уже заняла его место.

На главной площади города, лежащего ниже цитадели, стоял со своим штабом генерал Фалькенрид, готовый тоже вступить в крепость. Ярко блестели каски и ружья солдат, подымавшихся к цитадели; отряд следовал за отрядом. Фалькенрид отдал последние приказания и, став во главе своих офицеров, подал знак к отъезду.

Вдруг из главной улицы бешеным галопом на площадь вылетел всадник; благородный конь был весь в мыле, его бока – в крови от острых шпор. И у всадника лицо было залито кровью, сочившейся из-под платка, которым был перевязан его лоб. Он летел, как ураган, сметая все на своем пути. Наконец он домчался до площади и врезался в толпу офицеров, пробираясь к генералу.

Однако лошадь была на последнем издыхании и грохнулась оземь, но в ту же минуту всадник вскочил на ноги и бегом направился к командующему бригадой.

– От главнокомандующего! – крикнул он.

Фалькенрид вздрогнул. Он не узнал обезображенного

кровью лица и только понял, что человек, мчавшийся так, не щадя лошади, конечно, должен был сообщить важные вести; но, услышав этот голос, понял, кто это.

Гартмут покачнулся и коснулся рукой лба; казалось, он сейчас упадет, как и его конь, но он приложил невероятные усилия и устоял на ногах.

– Генерал предупреждает... замышляется предательство... крепость будет взорвана, как только гарнизон выйдет. Вот депеша! – прерывисто произнес он и, выхватив из кармана бумагу, подал ее Фалькенриду.

Офицеры, взволнованные ужасным донесением, столпились вокруг начальника, как бы ожидая от него подтверждения невероятного известия, но увидели престранное зрелище. Генерал, известный своим непоколебимым хладнокровием и никогда не терявший присутствия духа даже при самых необычайных обстоятельствах, был бледен как мертвец, и, держа в руке нераспечатанную бумагу, уставился на всадника такими глазами, точно перед ним из-под земли выросло привидение.

– Ваше превосходительство, депеша! – осмелился вполголоса напомнить один из адъютантов, не более других понимавший, что это значит.

Этих слов было достаточно, чтобы заставить Фалькенрида опомниться; он быстро распечатал и прочитал депешу; это снова был солдат, не знающий ничего, кроме долга...

Громким, уверенным тоном он отдал приказание. Офице-

ры полетели во все стороны, раздалась команда, послышались звуки сигналов, и через несколько минут отряды войск, поднимавшиеся к цитадели, уже остановились, так же как и выступавший гарнизон. В крепости забили тревогу. Ни свои, ни неприятели не знали, что это означает. Казалось, будто победители снова хотят оставить только что завоеванную позицию. Но приказания, как обычно, выполнялись быстро и точно; несмотря на поспешность, войска двигались в полном порядке и повернули обратно в город.

Фалькенрид оставался на площади, распорядясь, принимая донесения, наблюдая и руководя. Однако он нашел минуту, чтобы обратиться к сыну, которому до сих пор ничем не дал понять, что узнал его.

– Ты в крови... пусть тебя перевяжут.

Гартмут отрицательно мотнул головой.

– После. Сначала я хочу увидеть, что войска спасены.

Его поддерживало страшное возбуждение; он все еще твердо стоял на ногах и с лихорадочным напряжением следил за движением войск. Фалькенрид взглянул на него и спросил:

– Как тебе удалось пробраться сюда?

– Через горы.

– Через горы? Но ведь перевалы заняты неприятелем?

– Да... заняты.

– И ты все-таки выбрал этот путь?

– Это было необходимо, иначе я не успел бы вовремя. Я

выехал только вчера вечером.

– Да ведь это – настоящий подвиг! Как вам это удалось? – воскликнул один из старших офицеров, только что подскакавший с рапортом и слышавший последние слова.

Гартмут не ответил и медленно поднял глаза на отца. Теперь он уже не боялся взгляда, так долго его пугавшего. Он прочел в нем свое прощение.

Но и величайшая сила воли имеет свой предел, и энергия человека, ценой невероятных усилий совершившего подвиг, наконец, истощилась. Последнее, что видел Гартмут, было лицо отца. Кровавый туман застилал его глаза; он почувствовал, как что-то горячее и влажное заструилось по его лбу, и погрузился в темноту.

В эту минуту прозвучал взрыв, и весь город вздрогнул. Крепость, очертания которой только что резко и отчетливо выделялись на голубом небе, вдруг превратилась в кратер, извергающий пламя; точно ад вырвался из рухнувших стен, каменные глыбы взлетели высоко в воздух и дождем стремительно посыпались на землю; в то же время к небу взвились огненные языки, и среди черного дыма из исполинских развалин поднялся могучий столб пламени.

Если бы Гартмут опоздал на несколько минут, все было бы кончено, хотя и сейчас все-таки без жертв не обошлось; люди, находившиеся поблизости от крепости, были убиты или тяжело ранены, но все же по сравнению с тем неисчислимым бедствием, которое могло произойти, если бы известие опоз-

дало, потери были незначительными. Генерал с его штабом и почти все войска были спасены.

Фалькенрид с обычной распорядительностью и энергией тотчас принял меры, которых требовала ужасная катастрофа; он везде поспевал, и своим влиянием и собственным примером ему удалось восстановить спокойствие в полках, захваченных врасплох изменой в самый разгар торжества победы. Лишь тогда, когда с обязанностями начальника было покончено, в свои права вступил отец.

Когда Гартмут упал, его перенесли в один из ближайших домов, и он лежал все еще без сознания. Он не видел и не слышал отца, стоявшего с доктором у его постели; обморок был глубоким и продолжительным. Фалькенрид некоторое время молча смотрел на его бледное лицо с закрытыми глазами, потом обратился к доктору:

– Так вы не считаете рану смертельной?

– Сама по себе рана не смертельна, но чрезмерное напряжение при такой скачке, большая потеря крови, ночной холод... я боюсь, ваше превосходительство, что вы должны приготовиться к худшему.

– Я готов, – ответил Фалькенрид.

Он опустился на колени у постели и поцеловал сына, которого нашел, может быть, только для того, чтобы снова потерять; две горячие слезы скатились на мертвенно-бледное лицо Гартмута.

Но отец не мог позволить себе долго оставаться около сы-

на – он был на службе. Через несколько минут он поднялся, еще раз попросил доктора сделать все возможное для спасения сына и ушел.

На площади штаб генерала и часть офицеров ждали командующего. Они знали, что он возле раненого, прибывшего с известием; никто не знал его, но распространились слухи, что он приехал через горы, занятые неприятелем, проявив чудеса храбрости. Поэтому, когда генерал наконец появился, его обступили и засыпали вопросами.

Фалькенрид был серьезен, но угрюмое выражение, которым всегда отличалось его лицо, исчезло. Его глаза еще влажно блестели, но он твердо и четко ответил:

– Да, господа, он тяжело ранен. Рискуя жизнью, он спас всех нас, и может случиться, что это последний его день, но он исполнил свой долг как человек и как солдат. Если же вы хотите знать его имя, то это мой, сын – Гартмут фон Фалькенрид.

Мирным и уютным казался господский дом в Бургсдорфе под лучами яркого солнца. Недавно приехал его хозяин, отсутствовавший почти год и теперь, по окончании войны, вернувшийся домой к молодой жене.

Большое поместье с его обширным хозяйством не пострадало от его долгого отсутствия, потому что оставалось под надежным присмотром. Мать владельца вступила в свои прежние права и, как всегда, занималась всеми делами до возвращения сына; теперь она торжественно передала их ему и, несмотря на все его просьбы и уговоры, решила покинуть Бургсдорф и переселиться в город.

Регина стояла на террасе и разговаривала со стоявшим рядом Виллибальдом.

– Так ты хочешь строиться? – спросила она. – Я так и думала. Разумеется, старый, некрасивый дом, в котором мы с твоим отцом прожили столько лет, недостаточно хорош для твоей маленькой принцессы, ее надо окружить блеском. Что ж! Деньги у тебя есть, ты можешь позволить себе такую затею. Меня это, слава Богу, больше не касается.

– Не притворяйся такой ворчуньей, мама! – смеясь сказал Виллибальд. – Послушать тебя, так подумаешь, что нет свежести хуже чем ты, а между тем ты очень балуешь ее.

– Ну да, иной раз и на старости лет приятно бывает поиг-

рать с хорошенькой куколкой, – сухо возразила Регина, – а твоя жена именно такая миленькая куколка, с которой только и можно что играть. Не воображай, что из нее когда-нибудь выйдет порядочная хозяйка; я с первой же минуты убедилась в этом, а потому и не подпускала ее к хозяйству.

– И прекрасно сделала, – заметил Виллибальд. – Работать и вести хозяйство – это мое дело; моей Мариетте это ни к чему. Поверь мне, мама, совсем иначе живется и работается, когда такая прелестная птичка своим щебетаньем вливает в душу бодрость и охоту трудиться.

– Мне кажется, что ты все еще не в своем уме, мой мальчик! – сказала Регина с прежней грубостью. – Слыханное ли дело, чтобы умный человек, мужчина и помещик, так говорил о жене? «Прелестная птичка»! Не позаимствовал ли ты это у своего закадычного друга Гартмута, которого вы все считаете таким великим поэтом? Ты и в детстве все перенимал у него.

– Нет, мама, это моя собственная поэзия. Я только раз в жизни сочинял стихи, именно в тот вечер, когда опять увидел Мариетту в драме Гартмута. На днях мне попало на глаза это стихотворение, когда я перебирал бумаги в ящиках письменного стола, я дал его Гартмуту с просьбой немножко подредактировать, потому что мне удивительно не везло с рифмами, и с размером я тоже никак не мог поладить. Знаешь, что он мне ответил? «Милый мой Вилли, твои, стихи превосходны по содержанию, Но лучше брось сочинитель-

ство, а то твоя жена потребует развода, если ты вздумаешь воспевать ее таким образом». Вот какого мнения мой закадычный друг о моем поэтическом таланте.

В это время дверь из столовой приоткрылась, в нее просунулась темная кудрявая головка, и шаловливый голосок спросил;

– Не будет ли мне позволено прервать чрезвычайно важное хозяйственное совещание серьезных людей?

– Иди, иди, шалунья! – сказала Регина.

Впрочем, позволение было совершенно лишнее, потому что молодая женщина уже вошла и подлетела к мужу, который поймал ее в объятия и, нежно наклонившись к ней, что-то прошептал на ухо.

– Опять начинаете? – заворчала мать. – Право, ваше общество становится невыносимо!

Мариетта только повернула головку и, даже не собираясь высвободиться из рук мужа, лукаво ответила:

– Ведь после долгой разлуки у нас, наконец, медовый месяц, а ты по собственному опыту должна знать, мама, как молодые люди ведут себя в это время.

Регина пожала плечами: ее медовый месяц с покойным Эшенгагеном был совершенно другим.

– Ты получила письмо от дедушки, Мариетта, – сказала она, чтобы изменить тему. – Хорошие известия?

– Прекрасные! Дедушка здоров и заранее радуется тому, что через месяц приедет в Бургсдорф. Он пишет, что нынеш-

ним летом в окрестностях Вальдгофена чрезвычайно тихо. После смерти молодого принца Родек опустел и стоит запертый. Оствальден тоже пуст, да и в Фюрстенштейне скоро будет тихо и пусто. Тони выходит замуж через две недели, и тогда дядя Шонау останется совсем один.

Последние слова были сказаны с некоторым ударением, и, говоря их, Мариетта бросила какой-то особенный взгляд на свекровь. Та не обратила на это внимания и лишь заметила:

– Да, какая странная фантазия пришла в голову Гартмуту и Адельгейде проводить первые недели после свадьбы на маленькой наемной вилле, тогда как в их распоряжении большой замок в Оствальдене и все поместья Штальбергов!

– Вероятно, им хочется быть поближе к отцу, – заметил Виллибальд.

– В таком случае Фалькенрид мог бы взять отпуск и съездить к ним. Слава Богу, он буквально ожил с тех пор, как снова нашел сына. Мне отлично известно, как убило его тогда бегство мальчика, которого он втайне обожал, хотя всегда относился к нему строго и требовал лишь послушания. По правде говоря, то, что сделал Гартмут для спасения отца и его отряда, могло заглазить что-нибудь и поважнее его мальчишеской выходки, в которой, собственно говоря, была виновата только мать.

– Но у нас в семье, кажется, все намерены обходиться без всяких свадебных торжеств, – с недовольством заметила Мариетта. – Мы с Вилли венчались тихо, потому что была объ-

явлена война; теперь война, слава Богу, закончилась, а между тем Гартмут с Адой последовали нашему примеру.

– После того, что испытал Гартмут, у всякого пропадет охота к увеселениям, дитя мое, – серьезно ответила Регина. – Кроме того, он не совсем еще поправился. Ты видела, как он был бледен во время венчания. Когда Адельгейда в первый раз выходила замуж, свадьба была действительно блестящая – «ее отец настоял на этом, несмотря на свое болезненное состояние. Невеста в своем атласном платье со шлейфом, в кружевах и бриллиантах выглядела настоящей царицей, хотя и казалась страшно холодной; теперь, стоя с Гартмутом перед алтарем в простом белом шелковом платье и воздушной вуали, она была совсем другой; я вообще еще не видела ее такой. Бедный Герберт! Она никогда не любила его.

– Да разве можно было любить такого импозантного старца в дипломатическом фраке? Этого и я не смогла бы! – воскликнула Мариетта, чем, конечно, заслужила немилость свекрови, высоко чтившей память брата.

– Тебе и не было бы в этом надобности, – рассерженно сказала она. – Такой человек, как Герберт, едва ли захотел бы жениться на тебе, маленькое своенравное создание!

Ей не удалось закончить свою мысль, так как «маленькое своенравное создание» уже повисло у нее на шее и ласкаясь говорило:

– Не сердись, мама! Что же я поделаю, если мой недипло-

матичный Вилли милее всех превосходительств на свете? Да ведь и тебе он милее! Правда, мама?

– Отвяжись ты, ласковый котенок! – сказала Регина, напрасно стараясь сохранить строгую мину. – Ты прекрасно знаешь, что на тебя нельзя сердиться. В Бургсдорфе теперь начнется такое тиранство жены, какого никогда еще здесь не бывало. Пока Вилли еще немножко стыдится меня, но как только я уеду, он безоговорочно сдастся твоей милости.

– Мама, неужели ты все еще на этом настаиваешь? – спросил Виллибальд. – Ты хочешь уехать теперь, когда между нами опять наступили мир и любовь?

– Теперь-то именно я и уеду для того, чтобы этот мир не нарушался. Не уговаривай меня! Я должна быть главой в доме, в котором живу; ты тоже хочешь быть хозяином, значит, вместе нам не ужиться, да и твоя маленькая принцесса не будет за это в претензии.

Регина повернулась и вошла в дом; сын посмотрел ей вслед подавленным вздохом.

– Может быть, она и права, – тихо сказал он, – но она будет чувствовать себя несчастной в одиночестве и без привычной деятельности. Я знаю, она не вынесет безделья. Тебе следовало бы тоже попросить ее остаться, Мариетта.

Молодая женщина положила свою кудрявую головку на плечо мужа и лукаво взглянула на него снизу вверх.

– Нет, я сделаю кое-что получше; я позабочусь о том, чтобы она не была несчастна, когда уедет от нас.

– Ты? Каким образом?

– Очень просто, я выдам ее замуж.

– Мариетта, что ты выдумываешь?

– О, мудрый Вилли, неужели ты ничего не заметил? Разве ты не догадываешься, почему дядя Шонау был так не в духе, когда мы встретили его в Берлине три дня тому назад, и почему он ни за что не хотел ехать в Бургсдорф, как мы его ни упрашивали? Мама не пригласила его, опасаясь нового предложения; он понял это, а потому и был так сердит. Я уже давно знаю, в чем дело. Еще тогда, когда мама приехала к нам в Вальдгофен и он с такой горечью упрекал ее в том, что по ее милости он будет играть на свадьбе лишь второстепенную роль, я заметила, что он к ней равнодушен. Ах, Вилли, какую ты вдруг сделал уморительную физиономию! Теперь ты смотришь точь-в-точь так, как в начале нашего знакомства.

Действительно, молодой помещик в своем безграничном изумлении имел не особенно умный вид. Ему никогда не приходило в голову, что его мать может вторично выйти замуж, да еще за своего зятя; но теперь у него мелькнула мысль, что это было бы прекрасным выходом из всех затруднений.

– Мариетта, ты необыкновенно умна! – воскликнул он, с восхищением глядя на жену, принявшую его восторг с величайшим самодовольством.

– Я еще умнее, чем ты думаешь, – сказала она с торже-

ствующим видом, – потому что я их свела. Я отправилась к дяде Шонау и дала ему понять, что если теперь он еще раз отважится на штурм, то крепость наверняка сдастся. Правда, он долго ворчал и сказал, что с него довольно и прежних попыток и он не хочет больше разыгрывать из себя дурака, но в конце концов все-таки передумал. Он приехал с четверть часа тому назад, но я не решилась сказать об этом маме и... да вот он сам! – и Мариетта указала на лесничего, только что вошедшего на террасу и слышавшего последние слова.

– Да, вот и я, – подтвердил он, – но помилуй, Боже, эту маленькую дамочку, если она подвела меня, потому что я приехал, полагаясь единственно на ее уверения. Конечно, она сказала тебе, Вилли, в чем у нас дело, то есть у меня, потому что твоя мамаша, разумеется, все так же безрассудна, своевольна и упряма, как всегда. Но я все-таки хочу жениться на ней, несмотря ни на что. Я так решил.

– В добрый час, дядя, если только она пожелает выйти за тебя, – воскликнул Виллибальд, хотя такая характеристика матери со стороны претендента на ее руку показалась ему довольно странной.

– Да, вот в том-то и вопрос! – с сомнением проговорил Шонау. – Твоя жена полагает...

– Я полагаю, что нам не следует терять ни минуты, – перебила его Мариетта. – Мама в своей комнате и не подозревает о том, что мы замыслием нападение на нее; мы с Вилли останемся в резерве и в случае нужды тоже возьмемся за

оружие. Вперед, дядя! Вперед, Вилли!

Мариетта принялась подталкивать своими маленькими ручками лесничего и своего исполина-мужа к двери; они отнесли к этому весьма терпеливо, и только Шонау проворчал:

– Удивительное дело! Все-то они умеют командовать – и большие, и маленькие, это у них врожденное.

Регина стояла у окна своей комнаты и смотрела на свой любимый Бургсдорф, который собиралась скоро покинуть. Как ни была она убеждена в необходимости этого шага, ей нелегко было решиться на него; сильная, неутомимо деятельная женщина, в продолжение тридцати лет стоявшая во главе большого хозяйства, приходила в ужас при мысли об ожидавшем ее покое и праздности. Она уже познакомилась с жизнью в городе во время своей первой разлуки с сыном и чувствовала себя тогда безгранично несчастной.

Дверь открылась, и вошел лесничий.

– Это ты, Мориц? – с удивлением воскликнула Регина. – Вот это умно, что ты все-таки приехал.

– Я всегда все делаю умно! – весьма язвительно возразил Шонау. – Хоть ты и не соблаговолила пригласить меня, но я явился сюда, желая лично получить от тебя обещание приехать на свадьбу Тони. Ты приедешь с детьми в Фюрстенштейн? Ответь мне.

– Разумеется, мы приедем. Однако всех нас удивляет такая поспешность, ведь ты собирался сначала купить имение

для молодых, а это не так-то скоро делается.

– Не так-то скоро, но свадьба будет сразу же. Наши воины стали немножко требовательны после своих геройских подвигов. Как только Вальдорф вернулся, сейчас же объявил коротко и ясно: «Папа, прощаясь, ты сказал мне, что сначала нужно победить, а потом жениться. Мы победили, а теперь я хочу жениться и ждать дольше не стану. Покупка имения подождет, а свадьба не ждет, потому что она – самое важное». А так как и Тони убеждена в ее важности, то мне оставалось только назначить день свадьбы.

Регина засмеялась.

– Да, молодежь торопится со свадьбой, а между тем, кажется, времени у нее впереди предостаточно.

– А у старости его уже немного! – поспешно подхватил Шонау, искавший, как начать разговор. – Обдумала ты наконец наше дело, Регина?

– Какое дело?

– Ну, нашу женитьбу. Может быть, теперь ты «расположена?»»

Регина демонстративно отвернулась с несколько оскорбленным видом.

– Мориц, как ты любишь неожиданно нападать на добрых людей! Что это тебе так вдруг пришло в голову?

– Как? Ты называешь это «неожиданно нападать»? – с негодованием воскликнул лесничий. – Пять лет тому назад я сделал тебе первое предложение, год тому назад – второе,

теперь прихожу в третий раз, а тебе все еще мало времени для размышления! Да или нет? Если ты и на этот раз оставишь меня ни с чем, я уже больше не вернусь, можешь быть в этом уверена!

Регина ничего не ответила, но колебалась, хотя не от недостатка решимости. В глубине души эта внешне грубоватая, сильная женщина Тоже любила человека, который когда-то должен был стать ее мужем, – Гартмана Фалькенрида. Правда, когда он женился на другой, она тоже вышла за другого, потому что не в ее характере было всю жизнь горевать; но та же острая боль, которую чувствовала в душе молодая девушка, подходя к алтарю, шевельнулась теперь в сердце пожилой женщины и лишила ее способности говорить. Однако это продолжалось всего несколько минут; она решительно отбросила воспоминания и протянула зятю руку.

– Ну, так да, Мориц! Я постараюсь быть тебе доброй женой.

– Слава Богу! – глубоко вздохнув, воскликнул Шонау, принявший было ее колебания за отказ в третий раз. – Собственно говоря, ты могла бы сказать это еще пять лет тому назад, но лучше поздно, чем никогда. Наконец-то мы сговорились! – и с этими словами жених, наделенный таким постоянством, с чувством обнял свою будущую подругу жизни.

Был жаркий летний день; зной донимал на полях и лугах и давал себя чувствовать даже в лесу. По лесной тропинке между высокими соснами шло несколько человек. Это был генерал Фалькенрид с сыном и его женой; он шел в Бургсдорф, и они провожали его. Фалькенрид, действительно, изменился до неузнаваемости. Война, которая, несмотря на победу, многих состарила раньше времени, для него была как будто источником возрождения. Конечно, его голова была седой, а лицо – морщинистым, но в его чертах снова появилась жизнь, а в глазах – блеск. С первого взгляда было видно, что это не старик, а человек, полный сил и энергии.

Фалькенрид-сын еще не совсем выздоровел. Он казался старше своего возраста, серьезнее, а все еще бледное лицо и широкий багровый рубец на лбу говорили о тяжелых страданиях.

Полученная им рана, не особенно серьезная сама по себе, стала опасной ввиду сильной потери крови, чрезмерного напряжения во время той ночной поездки и мороза, так что вначале доктора сомневались, что он выкарабкается, и понадобилось несколько месяцев лечения, чтобы вернуть Гартмута к жизни.

Но во время этих тяжелых страданий прежний Гартмут, сын Салики, с ее дикой кровью и необузданной жадной на-

слаждений, умер; казалось, будто вместе с именем Роянова, от которого он отказался навсегда, он похоронил и гибельное наследие своей порочной матери. Темные, густые локоны начинали понемногу отрастать, и тем резче бросался в глаза высокий, умный лоб, лоб отца.

Молодая женщина, шедшая рядом с ним, цвела красотой, молодостью и счастьем. Тот, кто раньше видел Адельгейду гордой, холодной и неприступной, едва ли узнал бы ее в этой стройной блондинке в простом светлом платье, с букетиком только что сорванных лесных цветов в руке; этого голоса и улыбки, с которой она обращалась к мужу и отцу, не знала Адельгейда фон Вальмоден; им научилась только Ада фон Фалькенрид.

– Ну, теперь ни шага дальше. – Генерал остановился. – Вы должны будете пройти еще весь обратный путь, а Гартмуту не следует утомляться; доктор настоятельно требует, чтобы он берегся.

– Если бы ты знал, отец, как унизительно все еще считаться больным, когда уже давно чувствуешь себя здоровым и сильным! – с недовольством заметил Гартмут. – Право, я уже достаточно поправился.

– Чтобы рисковать тем, что только что приобрел, – закончил отец. – Ты все еще не научился терпению, но, к счастью, я знаю, что ты под надзором Ады, она достаточно строга в этом отношении.

– Да, и если бы не Ада, некого было бы и беречь теперь, –

сказал Гартмут, с нежностью глядя на жену. – Кажется, я был в совершенно безнадежном состоянии, когда она приехала ко мне.

– По крайней мере, доктора не подавали мне ни малейшей надежды, тогда я послал Аде телеграмму, чтобы она приехала к тебе. Как только ты пришел в себя, то сразу же потребовал ее, безгранично удивив меня этим; я и не подозревал, что вы знакомы.

– Может быть, тебе это было неприятно, папа? – спросила молодая женщина, с улыбкой глядя на свекра.

Он притянул ее к себе и поцеловал в лоб.

– Ты прекрасно знаешь, что ты значишь для меня и для Гартмута, дитя мое! Я благодарил Бога за то, что мог оставить Гартмута на твоём попечении, когда должен был уходить с войсками. И ты была совершенно права, уговорив его остаться здесь, хотя доктор хотел отправить его на юг; пусть он сперва привыкнет к родине, от которой был так долго оторван, и научится любить ее, понимать ее.

– Научится? – с упреком переспросила Ада. – То, что он прочел нам с тобой сегодня, доказывает, что он уже давно научился этому, хотя его новые стихотворения написаны совсем иным языком, чем пылкая, страстная «Аривана».

– Да, Гартмут, твоё последнее произведение не лишено достоинств. – Фалькенрид протянул сыну руку. – Я надеюсь, что родина будет гордиться моим сыном и в мирное время.

Глаза Гартмута блеснули; он знал, что значит такая похва-

ла в устах его отца.

– Ну, прощайте, – сказал генерал, еще раз целуя Аду. – Я поеду в город прямо из Бургсдорфа, но мы увидимся через несколько дней. Прощайте, дети!

Когда он скрылся за деревьями, Гартмут и Ада повернули назад. Дорога вела мимо бургсдорфского пруда. Они невольно остановились, глядя на тихую гладь воды, блестящую на солнце в венке из тростника и водяных лилий.

– Как часто я играл здесь с Вилли в детстве, – тихо сказал Гартмут. – И здесь же решилась моя судьба в тот роковой вечер. Только теперь я вполне понимаю, какое горе причинил отцу в тот злополучный день.

– Но ты вполне искупил свою вину, – возразила Ада, прижимаясь головой к плечу мужа. – Она искуплена и в глазах света, доказательством чему служат выражения восторга и преклонения, которыми везде осыпали тебя и твоего отца, когда стал известен твой героический подвиг.

Гартмут серьезно и печально покачал головой.

– Это был вовсе не героический подвиг, а шаг, подсказанный отчаянием. Я не верил, что мне удастся проехать, да и никто не верил этому. Но если бы я был убит, то желание проехать через вражескую территорию вернуло бы мне утраченную честь; Эгон знал это и потому отдал в мои руки спасение отца. Когда мы прощались в морозную ночь в пробитых ядрами стенах полуразрушенного храма, то чувствовали, что прощаемся навсегда, но оба думали, что убит буду я,

так как я шел на верную смерть. Судьба распорядилась иначе. Невидимая рука охраняла меня среди опасностей, жертвой которых я должен был пасть по человеческим расчетам, и привела к цели. Почти в тот же самый час погиб Эгон! Тебе незачем скрывать от меня свои слезы, Ада; я не ревную к мертвому. Я ведь любил его так же, как он любил тебя.

– Евгений передал мне его последний привет, – сказала молодая женщина. На ее глазах блестели крупные слезы, которые она сначала старалась скрыть от мужа. – И Штадингер написал мне, исполняя волю своего умирающего господина. Боюсь, что старик недолго переживет его; судя по тону его письма, он совершенно убит горем.

– Бедный мой Эгон! – по голосу Гартмута было слышно, как глубоко и болезненно волновало его воспоминание о друге. – Он был так полон радости и солнечного света и создан для того, чтобы быть счастливым и давать счастье другим! Может быть, с ним ты была бы счастливее, Ада, чем с твоим диким, беспокойным Гартмутом, который еще не раз будет мучить тебя своими выходками.

Ада взглянула на него снизу вверх еще со слезами на глазах, но уже с улыбкой на устах.

– Но я люблю этого дикого, беспокойного Гартмута и не хочу другого счастья, кроме счастья быть его женой.

Лес и пруд покоились в мечтательной полуденной тишине. О чем-то думали старые сосны, тихонько шептался тростник над водой, и тысячи сверкающих искр дрожали на ее

зеркальной поверхности, а над всем этим широким шатром раскинулось лучезарное синее небо. Когда-то в детстве Гартмут мечтал о том, как полетит к этому небу, как будет подниматься все выше и выше, навстречу солнцу, подобно соколу, от которого произошла его фамилия. То же небо сияло над ним и теперь в своем ослепительном великолепии – могучее, вечное небо.